

ЮНОСТЬ

7

1963

ИМ РУКОПЛЕЩЕТ



Игорь ВОЛГИН

РОССИЯ, РВУЩАЯСЯ В НЕБО

О как, по-твоему, Россия,
Под смертный гул
колоколов
Взлететь,
ломая в щепки крылья,
С замоскворецких куполов!
О как, по-твоему, законно,
Когда дыхание в обрез,
Зажечь на шлемах Первой
Конной
Звезду, добытую с небес!
Еще цветет на старых дотах,
Как память, горький
бересклет,
Но вижу я
в ревущих домнах
Стальные контуры ракет.
Россия,
рвущаяся
в небо,
Тебе неведом потолок.
И от разбега до разбега
Все круче яростный рывок.
Все чаще вздрагивают
травы,
Когда, садясь на корабли,
Ступают
медленно
по трапу
Колумбы юные твои.
И за детей своих в ответе,
Кладя им руку на плечо,
Россия —
Главный Теоретик —
Их обнимает горячо.

ВЕСЬ МИР!

Фазиль ИСКАНДЕР

ЗВЕЗДНАЯ СЕСТРА

Мир, новой вестью потрясенный,
Услышал вдруг над головой,
Как юный ангел в шлемофоне
Летит над грешною землей.

И с просветленностью во взорах —
Вы, суета сует, замри! —
Мы ловим крыльев мягкий шорох
Во всех приемниках Земли.

И примиряется завистник,
Поверив в новую звезду,
И даже женоненавистник
Меняет взгляды на ходу.

За нами космоса открытье.
Мужчинам слава! Но притом,
Как в холостяцком общежитье,
Уюта не хватало в нем.
Подобьем огненного клина
На тысячи вселенских миль
Взлетела наша Валентина,
Смахнув космическую пыль.

Летит у космоса в объятьях
И с нами говорит порой
Среди пяти небесных братьев
Как бы единственной сестрой.

А мы, страны твоей поэты,
Прозрев грядущий ореол,
Гораздо раньше, чем ракета,
Мы возносили женский пол.

И улыбкою из дали дальней,
Сквозь годы бед и нищеты
Сам Пушкин пел первоначально
Свои небесные черты...



Алексей СУРКОВ

ЗА ДЕЛО!

Недавно закончил свою работу июньский Пленум Центрального Комитета КПСС, впервые за все годы существования партии посвященный целиком обсуждению очередных задач идеологической работы. Вопросы, поставленные в докладе Л. Ф. Ильичева, в выступлениях по этому докладу, в речи Н. С. Хрущева и записанные в постановлении Пленума Центрального Комитета, обнимают широчайший круг задач, которые нашей партии предстоит решать в обеспечение Программы, принятой XXII съездом КПСС.

Годами борьбы народов Советского Союза за утверждение нового общественного строя подготовлены все возможности всестороннего развития человеческой личности, воспитания нового человека, гармонически сочетающего в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство.

Пленум записал в своем постановлении: «Главная задача идейно-воспитательной работы партии в современных условиях — идеологически обеспечить претворение в жизнь Программы КПСС, создание материально-технической базы коммунизма, формирование коммунистических общественных отношений, воспитание нового человека; повышать политическую бдительность, вести развернутое наступление против империалистической идеологии, против пережитков прошлого в сознании людей».

Решения июньского Пленума адресованы всему широкому фронту идеологической работы в нашей стране, в том числе и ленинскому комсомолу. От взаимодействия и слаженности усилий всех участников великого идеологического наступления будет зависеть общий успех.

Среди видов идейного оружия, которым располагает партия в этом наступлении, художественная литература и искусство занимают далеко не последнее место. Они вступают в жизнь человека с первых его шагов на земле и сопровождают его на всем протяжении жизни. Они неизмеримо увеличивают его возможности чувственного познания мира и оказывают незримое, но неотвратимое и последовательное влияние на весь строй личности человека.

Любая форма идеологической работы в той или иной мере обязательно соприкасается с литературой и искусством.

Вот почему наша партия еще со времен работы в глубоком подполье придавала особое значение деятельности писателей и работников искусств. Еще в далеком 1905 году она впервые сформулировала в знаменитой статье своего основателя В. И. Ленина тезис: «Литературное дело должно стать частью общепролетарского дела...»,— ясно и глубоко обосновав положение о партийности литературы. На разных этапах развития революционной борьбы партия последовательно проводила в жизнь это ленинское положение. Ленинский стиль партийного руководства литературой сочетает непримиримую идейную принципиальность с тонким и чутким учетом особенностей литературы и личности художника. Следуя ленинским заветам, партия всегда считала руководство литературой и искусством своей непременной обязанностью.

Я остановился на этой важнейшей стороне отношения партии к литературе и искусству потому, что именно по этому пункту реакционные буржуазные идеологи и их ревизионистские подголоски проявляют — особенно после недавних встреч руководителей партии и правительства с активом художественной интеллигенции — особую нервную чувствительность и поднимают наиболее пронзительный демагогический визг.

Живым примером идейной бескомпромиссности писателя является для нас Маяковский. Маяковский тем и велик, что никогда не подлаживался к отсталым настроениям, не потакал пережиткам прошлого. Он ненавидел их всей страстью своего большого сердца и не скрывал этой ненависти. Как художник, как идеолог, он всем содержанием и формой своих стихов звал читателя вперед, был непримиримым врагом мещанства, обывательской аполитичности, мелкотравчатого фрондерства. Он писал:

И песня,
и стих —
это бомба и знамя,
и голос певца
подымает класс,
и тот,
кто сегодня
поет не с нами,
тот
против нас.

Установление ясности в вопросе о партийности советской литературы и искусства в современных условиях особенно важно потому, что, как сказано в постановлении Пленума Центрального Комитета, враги социализма, империалистические вдохновители «холодной войны» «под прикрытием лозунга мирного сосуществования идеологий... пытаются протащить в наше общество лживые концепции «беспартийности» искусства, «абсолютной свободы творчества», безы-

дейности и аполитичности, «конфликта поколений», разложить идейно неустойчивых людей».

Пленум снова напомнил, что перед лицом идеологической диверсии противников социализма «проповедь мирного сосуществования идеологий есть измена марксизму-ленинизму, предательство дела рабочих и крестьян».

Люди нашей литературы и искусства — это советские патриоты, горячо и самозабвенно преданные делу Ленина. Марксизм-ленинизм составляет идейную основу их творчества, их отношения к явлениям жизни. Тем важнее задача возвращения в общий боевой строй тех, кто в час обострения идейной борьбы споткнулся, проявил идеологическую неразборчивость, всеядность, ложно понял новые задачи литературы и искусства в свете работы, которую ведет партия по ликвидации последствий культа личности Сталина.

Выступая на недавнем совещании молодых писателей с докладом о поэзии, Николай Рыленков сказал, что тем молодым, чье творчество и поведение были подвергнуты справедливой общественной критике, надо дать возможность остаться самим с собой и в тишине понять и осознать свои ошибки. Этот правильный совет можно отнести не только к молодым писателям. Но нельзя до бесконечности затягивать этот процесс «самопереоценок». Время идет. Литература и искусство живут, развиваются. От каждого мастера культуры требуется сейчас дело, дело и дело.

На июньском Пленуме прозвучала высокая, ко многому обязывающая оценка деятельности творческой интеллигенции нашей страны, говорилось о великой литературе и великом искусстве социализма. Подлинно великими литература и искусство могут быть только тогда, когда они партийны и народны, когда марксизм-ленинизм является их идейной основой, когда социалистический реализм является их основным творческим методом. Именно на этой основе и развивались литература и искусство нашей страны в лучших своих достижениях. Именно это дало им возможность завоевать широчайшее народное признание. Именно этими своими чертами они противостоят проповеди мирного сосуществования идеологий.

Сколько бы ни тщились наши идейные противники очернять социалистический реализм и представлять его как источник серости и однообразия, сорокапятилетний опыт советской литературы и искусства решительно опровергает эти наветы. Достаточно поставить в ряд имена Горького, Фадеева, Шолохова, Алексея Толстого, Макаренко, Бажова, Демьяна Бедного, Маяковского, Эйзенштейна, Пудовкина, Довженко, Сарьяна, Сергея Герасимова, Корина, Дейнеки, Охлопкова, Завадского, Прокофьева, Шостаковича, Хачатуряна и других признанных всем культурным миром деятелей советской литературы, кино, живописи, театра, музыки, чтобы начисто опровергнуть ложь о нивелировке, якобы присущей методу социалистического реализма. Нет ни одной литературы в мире, в которой богатство разнообразия стилей, жанров и индивидуальных почерков было бы выражено так, как в советской литературе.

На исторической эстафете верности социалистическому реализму на протяжении всего пути нашей литературы лучше всего видна взаимосвязь поколений наших писателей, разоблачается легенда о противостоянии литературных поколений. Ни Р. Рождественского, ни Е. Исаева, ни Р. Казакову, ни любого другого талантливого молодого поэта, выступившего в литературе в последнее десятилетие, нельзя без насилия над исторической правдой противопоставить зачинателям советской поэзии, поколению поэтов тридцатых или сороковых годов. Острое лирико-публицистическое начало, характерное для творчества упомянутых и некоторых других молодых поэтов, роднит их и с Демьяном Бедным, и с Николаем Тихоновым, и с Константином Симоновым или Маргаритой Алигер.

Только реакционные клеветники могли выдумать легенду о противоборстве поколений, чтобы под эту легенду подвести противопоставление современной советской молодежи поколениям отцов и дедов, то есть поколениям первостроителей социализма. У лжи короткие ноги. Она рассыпается в прах при малейшем приложении ее к нашей действительности, развивающейся под знаком молодого поколения покорителей целины, строителей промышленных форпостов в Сибири и на Дальнем Востоке, славных первенцев космоплавания, людей, на лицах которых уже лежат отсветы будущего — коммунизма.

Союзы творческой интеллигенции должны сделать все для того, чтобы решения Пленума были как можно быстрее и лучше претворены в жизнь. Не малую роль в организации творческой энергии литераторов должны сыграть редакции журналов. Это относится и к такому журналу, как «Юность». Страницы этого журнала рассчитаны на молодую читательскую аудиторию. За годы своего существования «Юность» сыграла немаловажную роль в собирании молодых талантов. За эти же годы журнал приобрел такой тираж, который свидетельствует о большом читательском интересе. Но в «Юности» были и существенные просчеты, подвергшиеся общественной критике. Не всегда редакция относилась с должной требовательностью к приносимым материалам молодых писателей. Журнал может и должен стать важным звеном объединения творческой энергии молодых литераторов вокруг главной задачи — превращения их в действительных помощников партии в воспитании человека будущего коммунистического общества.

И наша литературная молодежь и представители старших поколений яркими, талантливыми книгами ответят партии на ее материнскую заботу о литературе.

В завершение своей речи перед работниками литературы и искусства 8 марта этого года Никита Сергеевич Хрущев говорил: «Народ и партия глубоко заинтересованы в том, чтобы художественное творчество развивалось у нас в правильном направлении. Линия развития литературы и искусства определена Программой партии, которая обсуждалась всенародно и получила всеобщую поддержку и одобрение рабочих, колхозников, интеллигенции.

А как лучше и правильнее претворить эту линию в художественном творчестве, решает каждый из вас в соответствии с пониманием своего долга перед народом и особенностями своего таланта, своей художественной индивидуальности».

За дело! Вперед, выше!— вот единственный ответ на полные большого доверия слова Никиты Сергеевича, ответ, который может дать каждый честный советский литератор, будь то ветеран советской литературы или юноша, делающий первые шаги на трудном литературном поприще.

К 60-ЛЕТИЮ II-СЪЕЗДА РСДРП



В. И. ЛЕНИН.



Г. В. ПЛЕХАНОВ.



Н. Э. БАУМАН.

30 июля 1963 года вся страна отмечает 60-летие со дня открытия II съезда РСДРП.

Главная задача съезда состояла, как отмечал В. И. Ленин, «в создании действительной партии на тех принципиальных и организационных началах, которые были выдвинуты и разработаны «Искрой».

Съезд создал в России действительную марксистскую партию нового типа. В этом его историческое значение.

Впервые в истории международного рабочего движения после смерти Маркса и Энгельса была принята революционная программа, в которой выдвигалась как основная задача партии рабочего класса — борьба за диктатуру пролетариата.

В. И. Ленин и его сторонники — твердые искровцы — добились на съезде закрепления всего организационного плана построения партии, разработанного Лениным, и лишь первый параграф устава — о членстве в партии — был принят в формулировке Мартова.

Статья о II съезде партии, которую мы здесь печатаем, является одной из глав книги Надежды Константиновны Крупской «Воспоминания о Ленине».

Целью воспоминаний было, как говорит сама Н. К. Крупская во введении к своей книге, дать картину той обстановки, в которой приходилось жить и работать Владимиру Ильичу. Второму съезду партии, партийной жизни до съезда и после съезда Надежда Константиновна уделила значительное место в своей книге. «По существу дела,— писала она,— II съезд был учредительным. На нем ставились коренные вопросы теории, закладывался фундамент партийной идеологии».

Воспоминания Н. К. Крупской, написанные ею по памяти, в первые годы после смерти Владимира Ильича, дают ясное представление о той идейной борьбе, в которой выковывалась могучая партия большевиков.

Редакция считает полезным познакомить читателей «Юности» с главой «Второй съезд» из «Воспоминаний о Ленине» Н. К. Крупской.

Н. К. КРУПСКАЯ

ВТОРОЙ

Июль—август 1903 г.

Первоначально съезд предполагалось устроить в Брюсселе, там и происходили первые заседания. В Брюсселе жил в то время Кольцов — старый плехановец. Он взял на себя устройство всего дела. Однако устроить съезд в Брюсселе оказалось не так-то легко. Явка была назначена у Кольцова. Но после того, как к нему пришло штуки четыре россиян, квартирная хозяйка заявила Кольцовым, что больше она этих хождений не потерпит и, если придет еще хоть один человек, пусть они немедленно же съезжают с квартиры. И жена Кольцова стояла целый день на углу, перехватывала делегатов и направляла их в социалистическую гостиницу «Золотой петух» (так она, кажись, называлась).

Делегаты шумным лагерем расположились в этом «Золотом петухе», а Гусев, хватив рюмочку коньяку, таким могучим голосом пел по вечерам оперные арии и романсы, что под окнами отеля собиралась толпа (Владимир Ильич очень любил пение Гусева, особенно «Нас венчали не в церкви»).

Со съездом переконспирировали. Бельгийская партия придумала для ради конспирации устроить съезд в громадном мучном складе. Своим вторжением мы поразили не только крыс, но и полисменов. Заговорили о русских революционерах, собирающихся на какие-то тайные совещания.

На съезде было 43 делегата с решающим голосом и 14 с совещательным. Если сравнить этот съезд с теперешними, где представлены в лице многочисленных делегатов сотни тысяч членов партии, он кажется маленьким, но тогда он казался большим: на I съезде в 1898 г. было всего ведь 9 человек... Чувствовалось, что за пять лет порядочно ушли вперед. Главное, организации, от которых приехали де-



Н. К. КРУПСКАЯ. С. И. ГУСЕВ. Р. С. ЗЕМЛЯЧКА. Д. И. УЛЬЯНОВ.

СЪЕЗД

легаты, не были уже полумифическими, они были уже оформлены, они были связаны с начинавшим широко развертываться рабочим движением.

Как мечтал об этом съезде Владимир Ильич! Всю жизнь — до самого конца — он придавал партийным съездам исключительно большое значение; он считал, что партийный съезд — это высшая инстанция, на съезде должно быть отброшено все личное, ничто не должно быть затушевано, все сказано открыто. К партийным съездам Ильич всегда особенно тщательно готовился, особенно заботливо обдумывал к ним свои речи. Теперешняя молодежь, которая не знает, что значит годами ждать возможности обсудить сообща, со всей партией в целом, самые основные вопросы партийной программы и тактики, которая не представляет себе, с какими трудностями связан был созыв нелегального съезда в те времена,— вряд ли поймет до конца это отношение Ильича к партийным съездам.

Так же страстно, как Ильич, ждал съезда и Плеханов. Он открывал съезд. Большое окно мучного склада около импровизированной трибуны было завешено красной материей. Все были взволнованы. Торжественно звучала речь Плеханова, в ней слышался неподдельный пафос. И как могло быть иначе! Казалось, долгие годы эмиграции уходили в прошлое, он присутствовал, он открывал съезд Российской социал-демократической рабочей партии.

По существу дела II съезд был учредительным. На нем ставились коренные вопросы теории, закладывался фундамент партийной идеологии. На I съезде было принято только название партии и манифест об ее образовании. Вплоть до II съезда программы у партии не было. Редакция «Искры» эту программу подготовила. Долго обсуждалась она в редакции. Обосновывалось, взвешивалось каждое слово, каждая фраза, шли горячие споры.

Между мюнхенской и швейцарской частью редакции[1] месяцами велась переписка о программе. Многим практикам казалось, что эти споры носят чисто кабинетный характер и что совсем не важно, будет стоять в программе какое-нибудь «более или менее» или оно стоять не будет.

Мы вспоминали однажды с Владимиром Ильичем одно сравнение, приведенное где-то Л. Толстым: идет он и видит издали — сидит человек на корточках и машет как-то нелепо руками; он подумал — сумасшедший, подошел ближе, видит — человек нож о тротуар точит. Так бывает и с теоретическими спорами. Слушать со стороны: зря люди препираются, вникнуть в суть — дело касается самого существенного. Так и с программой было.

Когда в Женеву стали съезжаться депутаты, больше всего, детальнее всего с ними обсуждался вопрос о программе. На съезде этот вопрос прошел наиболее гладко.

Другой вопрос громадной важности, обсуждавшийся на II съезде, был вопрос о Бунде.[2] На I съезде было постановлено, что Бунд составляет часть партии, хотя и автономную. В течение пяти лет, которые прошли со времени I съезда, партии, как единого целого, в сущности не было, и Бунд вел обособленное существование. Теперь Бунд хотел закрепить эту обособленность, установив с РСДРП лишь федеративные отношения. Подкладка этого заключалась в том, что Бунд, отражая настроение ремесленников еврейских местечек, гораздо больше интересовался борьбой экономической, чем политической, и потому гораздо больше симпатизировал экономистам, чем «Искре». Вопрос шел о том, быть ли в стране единой сильной рабочей партии, тесно сплачивающей вокруг себя рабочих всех национальностей, проживающих на территории России, или же быть в стране нескольким обособленным по национальности

---

[1] В период выработки проекта программы партии в редакцию «Искры» входили: В. И. Ленин, Л. Мартов, А. Н. Потресов и В. И. Засулич, проживавшие в то время в Мюнхене, и Г. В. Плеханов и П. Б. Аксельрод, проживавшие в Швейцарии.

[2] Бунд — «Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России», организован в 1897 году на учредительном съезде еврейских социал-демократических групп в Вильно.

рабочим партиям. Вопрос шел об интернациональном сплочении внутри страны. Редакция «Искры» стояла за интернациональное сплочение рабочего класса, Бунд — за национальную обособленность и лишь за дружественные договорные отношения между национальными рабочими партиями России.

Вопрос о Бунде так же детально обсуждался с приехавшими делегатами и так же решен был в духе «Искры» громадным большинством.

Позднее факт раскола заслонил перед многими те громадной важности принципиальные вопросы, которые были поставлены и разрешены на II съезде. Владимир Ильич во время обсуждения этих вопросов чувствовал особую близость к Плеханову. Речь Плеханова о том, что основным демократическим принципом должно являться положение «высший закон — благо революции» и что даже на принцип всеобщего избирательного права надо смотреть с точки зрения этого основного принципа, произвела на Владимира Ильича глубокое впечатление. Он вспоминал о ней, когда 14 лет спустя перед большевиками встал во весь рост вопрос о роспуске Учредительного собрания.

И другая речь Плеханова — о значении народного образования, о том, что оно есть «гарантия прав пролетариата», была созвучна с мыслями Владимира Ильича.

Плеханов на съезде тоже чувствовал близость к Ленину.

Отвечая Акимову, ярому рабочедельцу [1], жаждавшему посеять рознь между Плехановым и Лениным, Плеханов шутя говорил: «У Наполеона была страстишка разводить своих маршалов с их женами; иные маршалы уступали ему, хотя и любили своих жен. Тов. Акимов в этом отношении похож на Наполеона,— он во что бы то ни стало хочет развести меня с Лениным. Но я проявлю больше характера, чем наполеоновские маршалы; я не стану разводиться с Лениным и надеюсь — и он не намерен разводиться со мной». Владимир Ильич смеялся и отрицательно качал головой.

При обсуждении первого пункта порядка дня (о конституировании съезда), по вопросу о приглашении представителя группы «Борьба» [2] (Рязанов, Невзоров, Гуревич) неожиданно разыгрался инцидент. ОК [3] пожелал выступить на съезде с особым мнением. Дело было вовсе не в группе «Борьба», а в том, что ОК попытался связать своих членов особой дисциплиной, перед лицом съезда. ОК захотел выступить как группа, предварительно решающая в своей среде, как надо голосовать, и выступающая на съезде как группа. Таким образом, высшей инстанцией для члена съезда являлась бы группа, а не самый съезд. Владимир Ильич вскипел прямо от возмущения. Но не только он поддержал Павловича (Красикова), восставшего против такой попытки, поддержали его и Мартов и другие. Хотя ОК был съездом распущен, однако инцидент был знаменателен и предвещал всяческие осложнения. Впрочем, временно инцидент отодвинулся на задний план, поскольку на первый план выдвинулись вопросы колоссальной принципиальной важности — вопрос о месте Бунда в партии и вопрос о программе. По вопросу о Бунде и редакции «Искры», и ОК, и делегаты с мест выступили очень дружно. Представитель «Южного рабочего» [4], член ОК Егоров (Левин), также со всей решительностью выступал против Бунда. Плеханов во время перерыва говорил ему всяческие комплименты, говорил, что его речь надо-де «распубликовать по всем коммунам».

Бунд клали на обе лопатки. Прочно устанавливалось положение, что национальные особенности не должны мешать единству партийной работы, монолитности социал-демократического движения.

Тем временем пришлось перебираться в Лондон. Брюссельская полиция стала придираться к делегатам и выслала даже Землячку и еще кого-то. Тогда снялись все. В Лондоне устройству съезда всячески помогли Тахтаревы. Полиция лондонская не чинила препятствий.

Продолжал обсуждаться вопрос о Бунде. Затем, пока подрабатывался в комиссии вопрос о программе, перешли к 4-му пункту порядка дня, к вопросу об утверждении центрального органа. Таковым — при возражениях со стороны рабочедельцев — единодушно признана была «Искра». «Искру» горячо приветствовали. Даже представитель ОК Попов (Розанов) говорил о том, что «вот здесь, на съезде, мы видим единую партию, созданную в значительной степени деятельностью «Искры». Это было десятое заседание, а их было 37. Над съездом начинали понемногу скопляться тучи. Предстоял выбор тройки в ЦК. Основного ядра ЦК не было еще налицо. Несомненной была кандидатура Глебова (Носкова), зарекомендовавшего себя как неутомимого организатора. Другой несомненной кандидатурой была бы кандидатура Клэра (Кржижановского), если бы он был на съезде. Но на съезде его не было. За него и за Курца (Ленгника) приходилось голосовать заглазно, «по доверию», что было весьма даже неудобно. Между тем на съезде было слишком много «генералов», кандидатов в ЦК. Таковыми были Жак (Штейн — Александрова), Фомин (Крохмаль), Штерн (Костя — Роза Гальберштадт), Попов (Розанов), Егоров (Левин). Все это — кандидаты на два места в цекистскую тройку. Кроме того, все знали друг друга не только как партийных работников, но знали и личную жизнь друг друга. Тут была целая сеть личных симпатий и антипатий. Чем ближе подходили выборы, тем напряженнее становилась атмосфера. Обвинения, бросавшиеся Бундом и «Рабочим делом», в желании командовать, диктовать свою волю из заграничного центра и пр., хотя и встречали дружный отпор вначале, делали свое дело, влияя на «центр», на колеблющихся,— может быть, даже помимо их сознания. Боялись командования, чьего?

---

[1] Рабочедельцы — сторонники «экономизма» (оппортунистическое течение в русской социал-демократии конца XIX — начала XX века), группировавшиеся вокруг журнала «Рабочее дело» (издавался в Женеве в 1899—1902 гг.). Критика взглядов рабочедельцев дана В. И. Лениным в ряде работ, в том числе в книге «Что делать?».

[2] «Борьба» — заграничная социал-демократическая группа, образовавшаяся в Париже летом 1900 года. Ввиду отступлений от социал-демократических воззрений и тактики, дезорганизаторских действий и отсутствия связи с социал-демократическими организациями в России группа не была допущена на II съезд партии. Решением II съезда группа «Борьба» была распущена.

[3] ОК — Организационный комитет по созыву II съезда партии.

[4] «Южный рабочий» — нелегальная социал-демократическая газета, издававшаяся в Екатеринославе в 1900—1903 гг. Вокруг газеты на юге России сформировалась группа, носившая то же название. Группа «Южный рабочий» признавала «Искру» руководящим органом на словах, на деле же отличалась неустойчивостью в принципиальном отношении. II съезд РСДРП постановил распустить группу «Южный рабочий».

Конечно, не Мартова, Засулич, Старовера и Аксельрода. Боялись командования Ленина и Плеханова. Но знали, что в вопросе о составе, о русской работе будет определять Ленин, а не Плеханов, стоявший в стороне от практической работы.

Съезд утвердил направление «Искры», но предстояло еще утверждать редакцию «Искры».

Владимир Ильич выдвинул проект о том, чтобы редакцию «Искры» составить из трех лиц. Об этом проекте Владимир Ильич ранее сообщил Мартову и Потресову. Мартов отстаивал перед съезжавшимися делегатами редакционную тройку, как наиболее деловую. Тогда он понимал, что тройка направлена была, главным образом, против Плеханова. Когда Владимир Ильич передал Плеханову записку с проектом редакционной тройки, Плеханов не сказал ни слова и, прочитав записку, молча положил ее в карман. Он понял, в чем дело, но шел на это. Раз партия — нужна деловая работа.

Мартов больше всех членов редакции вращался среди членов ОК. Очень скоро его уверили, что тройка направлена против него и что, если он войдет в тройку, он предаст Засулич, Потресова, Аксельрода. Аксельрод и Засулич волновались до крайности.

В такой атмосфере споры о § 1 устава приняли особо острый характер. Ленин и Мартов политически и организационно разошлись по вопросу о § 1 партийного устава. Они нередко расходились и раньше, но раньше эти расхождения происходили в рамках тесного кружка и быстро изживались, теперь разногласия выступили на съезде, и все те, кто имел зуб против «Искры», против Плеханова и Ленина, постарались раздуть расхождение в крупный принципиальный вопрос. На Ленина стали нападать за статью «С чего начать?», за книжку «Что делать?», изображать честолюбцем и пр. Владимир Ильич выступал на съезде. В своей брошюре «Шаг вперед, два шага назад» он писал: «Не могу не вспомнить по этому поводу одного разговора моего на съезде с кем-то из делегатов «центра». «Какая тяжелая атмосфера царит у нас на съезде!— жаловался он мне.— Эта ожесточенная борьба, эта агитация друг против друга, эта резкая полемика, это нетоварищеское отношение!»—«Какая прекрасная вещь наш съезд!— отвечал я ему.— Открытая, свободная борьба. Мнения высказаны. Оттенки обрисовались. Группы наметились. Руки подняты. Решение принято. Этап пройден. Вперед! — вот это я понимаю. Это — жизнь. Это — не то, что бесконечные, нудные интеллигентские словопрения, которые кончаются не потому, что люди решили вопрос, а просто потому, что устали говорить...» Товарищ из «центра» смотрел на меня недоумевающими глазами и пожимал плечами. Мы говорили на разных языках».

В этой цитате весь Ильич.

С самого начала съезда нервы его были напряжены до крайности. Бельгийская работница, у которой мы поселились в Брюсселе, очень огорчалась, что Владимир Ильич не ест той чудесной редиски и голландского сыру, которые она подавала ему по утрам, а ему было и тогда уже не до еды. В Лондоне же он дошел до точки: совершенно перестал спать, волновался ужасно.

Как ни бешено выступал Владимир Ильич в прениях,— как председатель он был в высшей степени беспристрастен, не позволял себе ни малейшей несправедливости по отношению к противнику. Другое дело — Плеханов. Он, председательствуя, особенно любил блистать остроумием и дразнить противника.

Хотя громадное большинство делегатов не разошлось по вопросу о месте Бунда в партии, по вопросу о программе, о признании направления «Искры» своим знаменем, но уже к середине съезда почувствовалась определенная трещина, углубившаяся к концу его. Собственно говоря, серьезных разногласий, мешавших совместной работе, делавших ее невозможной, на II съезде еще не выявилось, они были еще в скрытом состоянии, в потенции, так сказать. А между тем съезд распадался явным образом на две части. Многим казалось, что во всем виноваты нетактичность Плеханова, «бешенство» и «честолюбие» Ленина, шпильки Павловича, несправедливое отношение к Засулич и Аксельроду,— и они примыкали к обиженным, из-за лиц не замечали сути. В их числе был и Троцкий, превратившийся в ярого противника Ленина. А суть была в том, что товарищи, группировавшиеся около Ленина, гораздо серьезнее относились к принципам, хотели во что бы то ни стало осуществить их, пропитать ими всю практическую работу; другая же группа была более обывательски настроена, склонна была к компромиссам, к принципиальным уступкам, более взирала на лица.

Борьба во время выборов носила крайне острый характер. Осталась в памяти пара предвыборных сценок. Аксельрод корит Баумана (Сорокина) за недостаток якобы нравственного чутья, поминает какую-то ссыльную историю, сплетню. Бауман молчит, и слезы у него на глазах.

И другая сценка. Дейч что-то сердито выговаривает Глебову (Носкову), тот поднимает голову и, блеснув загоревшимися глазами, с досадой говорит: «Помолчали бы вы уж в тряпочку, папаша!»

Съезд кончился. В ЦК выбрали Глебова, Клэра и Курца, причем из 44 решающих голосов — 20 воздержалось от голосования; в ЦО [1] выбрали Плеханова, Ленина и Мартова. Мартов от участия в редакции отказался. Раскол был налицо.

(Партийное издательство, 1933 год).

---

[1] ЦО — Центральный орган партии газета «Искра».













К 70-летию со дня рождения В. В. Маяковского

Читатель «Юности»... Человек, которому восемнадцать лет...

Я хочу рассказать тебе о Маяковском — но не потому, что считаю себя вправе поучать тебя. Просто я хочу поделиться с тобой любовью.

Я помню твои неизбежные вопросы:

«Расскажите, как жил Маяковский...» «Скажите, а правда ли, что Маяковский...» «А почему Маяковский...» «Как точнее всего определить — кто Маяковский?»

Недавно ученик экскаваторщика в Костроме сказал мне, что, окончив училище, поедет на Енисей строить новую ГЭС и новый город, который, как он слышал, назовут «Маяковский». Так вот, правда ли, спрашивал он, что будет такой город?

Станислав ЛЕСНЕВСКИЙ

НАШ

Но тебе и ему уже ответил Маяковский:

Я знаю —
город
будет.
я знаю —
саду
цвесть,
когда
такие люди
в стране
в советской
есть!

Тебя еще не было на свете, когда пришло утро 22 июня 1941 года. Твое утро было впереди. Отец твой погиб, освобождая Прагу, а через несколько месяцев родился ты, и ты никогда не видел слез, текших по нашим лицам в день Победы. Тебя ждала встреча с мирным небом, солнцем, морем, звездами, отвоеванными для тебя.

Тебя ждал Маяковский...

СМОТРИМ В НЕБО

«Принимать или не принимать? Такого вопроса для меня не было. Моя революция. Пошел в Смольный. Работал. Все, что приходилось». Так сказал Маяковский. Владимир Николаевич Яхонтов, великий мастер художественного слова, лучший исполнитель стихов Маяковского, говорил, что лично для него не было вопроса — принимать или не принимать Маяковского. **Мой** Маяковский, **наш** Маяковский!

Я повторяю про себя: моя революция, мое отечество, мой Маяковский. А как же иначе?

Голос Яхонтова отлился в танковую броню и грозную башню; танк «Владимир Маяковский», построенный на средства артиста, дошел до Бранденбургских ворот. Николай Асеев, друг поэта, мечтал о звездной судьбе Маяковского: «Им будет — я знаю! —земли новоселы, какая-то названа вами звезда».

Быть городу и быть звезде.

...Мой город, моя звезда, мой Маяковский, скажут строители, космонавты, мечтатели. Если каждый говорит о чем-то большом — о Родине, о народе, о поэте: «мой» — это значит «наш».

Пойдем с тобой через всю Москву на Таганку, к бывшему Гендрикову, ныне переулку Маяковского. Вот дом, в котором жил последние четыре года своей жизни Маяковский. По этой крутой лестнице он поднимался в квартиру, где обитал со своими друзьями, и входил в маленькую «комнатенку-лодочку», в свой рабочий кабинет. Острили: комната надета на Маяковского. В ней тесно и просто. «Мне и рубля не накопили строчки, краснодеревщики не слали мебель на́ дом. И кроме свежевымытой сорочки, скажу по совести, мне ничего не надо». Видишь: письменный стол, на нем карандаши, тушь, записная книжка, авторучка — все в готовности, как у хорошего рабочего на заводе.

Видишь: над столом, сбоку, фотография Ленина, переснятая для Маяковского его товарищем по работе, художником и фотографом Родченко. Ленин выступает на митинге:

Рот открыт
в напряженной речи,
усов
щетинка
вздернулась ввысь.
в складках лба
зажата
человечья,
в огромный лоб
огромная мысль.

...Потом мы вышли бы в вечернюю Москву, над нами было бы огромное небо — все в звездах, небо Маяковского. Вот эти звезды, только еще ярче, сияли там, на юге, в Багдади, где родился Маяковский; перед ними, которые он не успел воспеть, Маяковский считал себя навсегда в долгу. На эти звезды среди гор, запрокинув глаза, смотрел мальчик.

Когда времени нужен поэт, вся земля растит поэта. Волны океана и плеск краснофлагих демонстраций пробуждают в нем песню, горы и звезды приучают высоко держать голову. Будем благодарны ветру перевалов — хорошо сказал один из друзей поэта, Виктор Шкловский, о Кавказе — стране детства Маяковского. Будем благодарны улицам Москвы и строителям Кузнецкстроя, вечерним огням Парижа и бесконечным советским просторам, звездам юга и севера. Будем благодарны Революции.

«Если б я поэтом не был, я бы, стал бы звездочетом». Глядя на эти звезды, молодой поэт в предрассветных сумерках старой России размышлял о цели человеческой жизни: «Послушайте! Ведь, если звезды зажигают — значит это кому-нибудь нужно?» Потом он будет радостно славить новое небо и новые звезды: «Поэтом не быть мне бы, если б не это пел— в звездах пятиконечных небо безмерного свода РКП». И, протягивая руку в «коммунистическое далеко», снова увидит «в ночи Млечпуть серебряной Окою».

Ты посмотри — какая в мире тишь
ночь обложила небо звездной данью!
в такие вот часы встаешь и говоришь
векам истории и мирозданию

Так, без точек и запятых, внесены эти строки в записную книжку 1930 года. Одна из «заготовок» к поэме о пятилетке, написанной уже после Маяковского — тракторными плугами и отбойными молотками.

Давай поговорим напрямик с самим поэтом, как говорил он с Пушкиным:

МАЯКОВСКИЙ



В. МАЯКОВСКИЙ.

Дружеский шарж Д. Моора.

Я люблю вас,
но живого,
а не мумию.
Навели
хрестоматийный глянец.
Вы,
по-моему,
при жизни
— думаю —
тоже бушевали.
Африканец!

«Политическая лексика»... Сколько за эту самую «лексику» положено светлых голов! Вот и сегодня «мы идем сквозь револьверный лай», и за слово в защиту коммунизма (тоже политическая лексика!) где-то бросают в темницы и убивают лучших людей нашего века. «Целят — в сердце. В самую точку». Это целят в тебя и в меня. И вместе с Хулианом Гримау мы падаем в крови на тюремные плиты. «Я был и останусь коммунистом»,— говорим мы, живые и мертвые, по-испански, по-русски...

«А Маяковский писал... про это?» — спрашиваешь ты меня. «Про что — про это?» «Про это... про любовь...»

Только про это он и писал.

Если
я
чего написал,
если
чего
сказал,—
тому виной
глаза-небеса,
любимой
моей
глаза.

«Надо мною небо — синий шелк...» — небо Родины. Оно отражается в глазах любимой, а небеса любви Маяковского велики, как синева над землей. Он видит над собой в «звездах пятиконечных небо безмерного свода РКП». Это — небо его поэзии, потому что ему не быть поэтом под другим небом. И не быть любви под другими звездами. И вот небеса любви, поэзии и революции сливаются в одно:

Пролетарии
приходят к коммунизму
низом —
низом шахт,
серпов
и вил,—
я ж
с небес поэзии
бросаюсь в коммунизм,
потому что
нет мне
без него любви.

СЛУШАЕМ МОРЕ

Вот он, живой, сильный, солнечный Владимир Маяковский, поэт и гражданин Советского Союза, отбрасывая наветы врагов и похвалы начетчиков, рвется сквозь время — «через хребты веков и через головы поэтов и правительств». Он приходит сегодня к тебе. У него день рождения: семьдесят лет — не шутка! Живы многие сверстники и товарищи, и годы посеребрили их головы, а Маяковский всегда ровесник Пушкина. Заря века девятнадцатого и заря века двадцатого: 1799—1837 и 1893—1930. «Здравствуй, племя младое, незнакомое!» — это к тебе обращается Пушкин. «Уважаемые товарищи потомки!» — вглядывается Маяковский в наши лица. Он никогда не видел нас с тобой: я родился в год его смерти, а тебе всего восемнадцать. Семидесятилетний Маяковский молод, у него «в душе ни одного седого волоса». Он пришел повторить свою молодость в твоей.

Скажи мне: ты знаешь море? Ты помнишь свою первую встречу с ним? Когда идешь по обычной одесской улице — улица как улица и дома как дома, только влажно поблескивает асфальт и все ближе и все свежее соленое дыхание огромного существа.

Идешь и спрашиваешь у прохожих: «А где здесь море?» Тебе восемнадцать, прохожие улыбаются наивному вопросу, они понимают, что это — первое море в твоей жизни. И вот: была улица как улица, и дома как дома, а перед тобой без всякого предупреждения, сразу — и отвесно и горизонтально — встало и легло море. Вширь — море, вдаль — море, вплоть до неба, сливаясь с ним,— море, уходящее в океан. Никому не покорное, верное только верным и мужественным, не вмещающееся ни в какие глаза, ни в какое простейшее объяснение. Море, открытое миру — ветру, солнцу, человеку.

Вовек
твой грохот
удержит ухо.
В глаза
тебя
опрокинуть рад.
По ширп,
по делу,
по крови,
по духу —
моей революции
старший брат.



Окно сатиры РОСТА работы
В. В. МАЯКОВСКОГО.



Так встречаешься и с Маяковским.

Открываешь книгу — и слышишь и видишь, как «строит, рушит, кроит и рвет, тихнет, кипит и пенится, гудит, говорит, молчит и ревет» стихия маяковского моря.

Послушай раковину, которая стоит у тебя безделушкой на столе. Слышишь, как она шумит: «Я не украшение... Во мне океан... Я привезла вам его грохот. Слушайте... Слушайте...»

Сними с полки любой из красных томов Маяковского. Том шестой, поэма «Владимир Ильич Ленин»: «Российской Коммунистической Партии посвящаю». И ты услышишь...

Вовек
такого
бесценного груза
еще
не несли
океаны наши,
как гроб этот красный,
к Дому союзов
плывущий
на спинах рыданий и маршей.

В озарении знамен встает темный, земной неподвижный шар. Безмолвие. Окончен величайший путь. Замерла земля, и застыли люди. Как будто один на один остался каждый с огромной единственной правдой. «До боли раскрыв убогое зрение», глазами, которые еще застланы слезами, поэт пытается увидеть

в этом океане горя черты Истории. Еще звучит в душе траурная мелодия, а поэт спрашивает себя: что он сделал, кто он и откуда? Почему ему такая почесть? Ведь

Если б
был он
царствен и божествен,
я б
от ярости
себя не поберег,
я бы
стал бы
в перекоре шествий,
поклонениям
и толпам поперек.

Но сегодня сердце холодеет настоящей болью, и черные волны траурных толп хоронят «самого земного изо всех прошедших по земле людей».

Что он сделал, кто он и откуда?

Перед потрясенным взором поэта проходят картины ленинской жизни, первые вести о которой восходят «далеко давным, годов за двести». И возникает в поэме океан революции, громадами катятся перед нами валы революции. Словно рокочущий бас самого Маяковского, доносится из вековой давности железный и луженый голос первого паровика, и, как на плакатах Маяковского, аж за небо взвивает трубы рабочий класс. Казалось, «в коммунизмовы затоны только волны случая закинут нас юля». Но Маркс «пролетариат поставил у руля». И уже «капиталовы отвесные твердыни валом размывают и дробят».

Здесь не просто отлично зарифмованные исторические события — это История, ставшая Поэзией. В железной поступи истории, в ее неумолимом движении поэт видит торжество того, ради чего существует на земле поэзия. И рождение в захолустном Симбирске мальчика Володи Ульянова оказывается уже не случайностью, а неизбежностью. Так и должно было быть, чтобы восторжествовали на Земле справедливость и человечность.

Как океан, тот самый океан, что понесет Ленина на спинах рыданий и маршей, «бился об Ленина темный класс, тек от него в просветленьи, и, обданный силой и мыслями масс, с классом рос Ленин».

Возникает партия — «единый ураган, из голосов спрессованный тихих и тонких», и уже «горение рабочей лавы по кратеру партии рвется из-под земель». Вот она, буря:

И снова
ветер
свежий, крепкий
валы
революции
поднял в пене.
Литейный
залили
блузы и кепки:
«Ленин с нами!
Да здравствует Ленин!»

...О самом личном, о самом дорогом поэма Маяковского. О самом дорогом для поэта и для всех людей.

Я
себя
под Лениным чищу,
чтобы плыть
в революцию дальше.

Революция не кончается, как не умирает океан...

Историки
с гидрой плакаты выдерут
— чи эта гидра была,
чи нет? —
А мы
знавали
вот эту гидру
в ее
натуральной величине.

ЗА СОЛНЦЕМ

Голодной зимой 1921 года, в конце февраля, Владимир Ильич Ленин и Надежда Константиновна Крупская пришли в гости в общежитие студентов Вхутемаса (Высших художественно-технических мастерских). Студенты жили коммуной. Спали они в коммуне чуть ли не на голых досках, хлеба у них не было. «Зато у нас есть крупа»,— с сияющим лицом заявил дежурный. Для Ильича и Надежды Константиновны сварили они из этой крупы важнецкую кашу, хотя и была она без соли. Ильич смотрел на молодежь, на сияющие лица обступивших его молодых художников и художниц,— их радость отражалась и у него на лице. Студенты заметили, как несвободно раздевался Владимир Ильич, и спросили у него о его здоровье после ранения. Он шутливо ответил, что ничего.

— Теперь делаю рукой гимнастику,— и перевел разговор на другую тему.

Ильич говорил со студентами о путях развития нового искусства, высмеивал формалистические выкрутасы в искусстве, разъяснял студентам важность реалистических традиций. Они показывали ему свои наивные рисунки, объясняли их смысл, засыпали его вопросами. Он смеялся, на вопросы отвечал вопросами: «Что вы читаете? Пушкина читаете?» «О, нет,— выпалил кто-то,— он ведь был буржуй. Мы — Маяковского». Ильич улыбнулся. «По-моему, Пушкин лучше».

Ленину не нравилась усложненность некоторых произведений Маяковского, но он знал, что поэт работает для революции и все силы отдает этой работе. «Маяковский уже около года работает в РОСТА»,— сказал Ильич в беседе со студентами. Огненные плакаты РОСТА (Российское телеграфное агентство), на которых красноармеец штыком пропарывал «гидру контрреволюции», вывешивались в витринах пустующих магазинов, на стенах теплушек, отправлявшихся к фронту.

Владимиру Ильичу явно нравилось, с каким увлечением молодежь говорила о своем любимом поэте, о революционности его стихов. После этого, по словам Н. К. Крупской, Ильич «подобрел к Маяковскому». Через год вождь революции даст высокую оценку сатирическим стихам Маяковского «Прозаседавшиеся»: «...давно я не испытывал такого удовольствия, с точки зрения политической и административной...»

Первый советский нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский вспоминает, что это стихотворение, в котором Маяковский, по выражению Ленина, «вдрызг высмеивает» бюрократов, «очень насмешило Владимира Ильича, и некоторые строки он даже повторял».

Надежда Константиновна говорила, что при имени Маяковского Ленину вспоминалась молодежь, полная жизни и радости, готовая умереть за Советскую власть и находящая выражение своих чувств в стихах Маяковского...

«Мы смело в бой пойдем
За власть Советов
и, как один, умрем
в борьбе за это!»

Над боевыми колоннами плыла раздольная асеевская песня:

Никто пути пройденного
назад не отберет.
Конная Буденного,
армия — вперед!

Ее сменяла насмешливая мелодия демьяновских «Проводов»:

Будь такие все, как вы, ротозеи,
Что б осталось от Москвы,
от Расеи?

И, «приспособив к маршу такт ноги», вбивали в мостовую свой шаг балтийские матросы, для которых Маяковский написал «Левый марш»:

Там
За горами горя
солнечный край непочатый.
За голод,
за мора море
шаг миллионный печатай!
. . . . . .
Грудью вперед бравой!
Флагами небо окленвай!
Кто там шагает правой?
Левой!
Левой!
Левой!

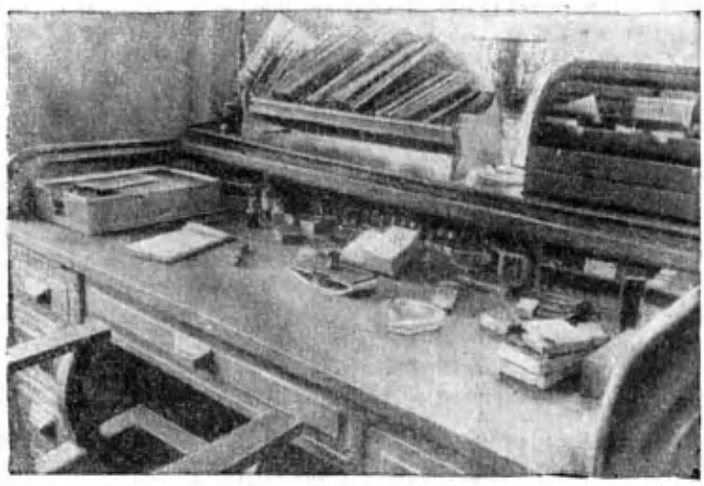
Маяковский хотел, чтобы девчата и парни космического, коммунистического века никогда не сняли со своего вооружения песни революции.

В 1905 году — мальчишка, сбегавший с уроков на демонстрации в Кутаиси; в 1907—1910 годах — юноша-подпольщик, трижды отсидевший в тюрьмах за участие в работе большевистской партии; в 1912—1917 годах — молодой, но уже огромный поэт, «ранний Маяковский» (как говорят о нем исследователи), в судорожных и гневных строках звавший океан революции; 25 октября 1917 года — революционный поэт, пришедший в Смольный и увидевший впервые «в этой желанной железной буре» самого человечного человека земли...

«Мы разливом второго потопа перемоем миров города». Этот потоп заливает мир в «Мистерии-Буфф», открывшей театральный Октябрь и впервые поставленной 7 ноября 1918 года...

С этого времени весь поразительный размах неутомимой деятельности Маяковского —

— от фронтовых агиток до эпопеи «Владимир Ильич Ленин»; от десятков и сотен рекламных стихов в защиту молодой советской торговли до проникновенной лирики «Про это»; от постоянных боевых выступлений в газете на темы, которыми живет страна, до поэмы «Хорошо!», о которой Луначарский скажет, что это «Октябрьская революция, отлитая в бронзу»; от стихов и поэм, славящих советское «Хорошо!», до сатирических стихотворений и сатирических пьес «Клоп» и «Баня», высмеивающих то, что «плохо»; от поездок по новорожденной советской Отчизне до гордых путешествий полпреда революционного стиха «по заграницам» («У советских собственная гордость: на буржуев смотрим свысока») —



Рабочий стол В. В. МАЯКОВСКОГО.

— весь этот размах деятельности становится как бы частью океана революции, того самого океана, который за тринадцать лет жизни Маяковского в советские годы, а потом за тридцать три года, прошедшие после смерти поэта, неузнаваемо изменил лицо мира.

Необычайно было событие, породившее Маяковского. Необычаен Маяковский.

Ленин говорил 18 марта 1919 года в речи, посвященной памяти Якова Михайловича Свердлова: «...великие революции в ходе своей борьбы выдвигают великих людей и развертывают такие таланты, которые раньше казались невозможными».

Свою неотторжимость от океана революции, «где с пулей встань, с винтовкой ложись, где каплей льешься с массами», свою партийность поэта Октября Маяковский ощущал, как счастье: «Я счастлив, что я этой силы частица, что общие даже слезы из глаз».

Сражаясь с теми, кто хотел иного, Маяковский резко заявлял: «Говорят, что вот Маяковский, видите ли, поэт, так пусть он сидит на своей поэтической лавочке... Мне наплевать на то, что я поэт. Я не поэт, а прежде всего, поставивший свое перо в услужение, заметьте — в услужение сегодняшнему часу, настоящей действительности и проводнику ее — Советскому правительству и партии».

Конечно, это полемическое утверждение: «Мне наплевать на то, что я поэт. Я не поэт...» — Маяковский хотел сказать, что он не поэт в том смысле, какой вкладывали в это слово эстеты. Ему было не наплевать на то, что он поэт. И поэтом он был замечательным. Только он не мог бы стать им, если бы всю свою звонкую поэтическую силу не отдавал партии и народу, «если б не это пел...».

«Надо вырвать радость у грядущих дней!» — лозунг Маяковского. Кто-то сказал о Маяковском: он был поражен будущим. «Недуг» счастливый и трудный, потому что в нем соединяются вера в сегодняшний день, сегодняшняя радость и святое недо-

вольство сделанным: «Отечество славлю, которое есть, но трижды — которое будет».

Он приближал будущее своим стихом и нетерпеливо вызывал его на прямой разговор. В «Мистерии-Буфф» люди труда — «нечистые» прорываются в обетованное завтра. В «Про это» поэтический «ковчег» подплывает к берегам XXX века, который «обгонит стаи сердце раздиравших мелочей». В «Хорошо!» Маяковский видит: «где сор сегодня гниет, где только земля простая,— на сажень... коммунны дома прорастают». В «Клопе» действие завершается в будущем, в «Бане» само будущее является в виде делегата — Фосфорической женщины и забирает с собой достойных: «Во весь голос» — обращение к нам: «Слушайте, товарищи потомки...».

Какой синоним подобрать к сделанному Маяковским? Как одним словом определить смысл его жизни? Что завещано нам с тобой Маяковским?

И можно трижды повторить: революция, революция, революция.

Творчество новых общественных отношений — революция. Творчество новых поэтических форм — революция. Творчество новых отношений между близкими людьми и между всеми людьми — революция.

О революции он говорит: «...дать бы революции такие же названия, как любимым в первый день дают!»

Любимой он признается: «В поцелуе рук ли, губ ли, в дрожи тела близких мне красный цвет моих республик тоже должен пламенеть».

И тот, кто приветствовал зарю новой жизни — «Да здравствует солнце, да скроется тьма!»,— и тот, кто «за горами горя» увидел «солнечный край непочатый», стоят ныне рядом друг с другом и рядом с нами. Они наши современники.

Радостная и суровая, победная и трагическая, счастливая и героическая музыка нашего времени, которое в борениях рождает достойное человечества будущее,— эта музыка нашла в Маяковском своего чуткого и мощного выразителя.

Слова Александра Блока о Пушкине могут быть отнесены и к Маяковскому: «Пушкин так легко и весело умел нести свое творческое бремя, несмотря на то, что роль поэта — не легкая и не веселая; она трагическая...»

И не задавай мне, пожалуйста, наивно-школьного вопроса: «А почему застрелился Маяковский?» Почему перегорают провода при высоком напряжении? Почему от брошенного камня рушится горная лавина? «А Маяковский от любви застрелился?» Да, от любви: не щадил он себя, не берег, не искал тихой жизни, «делами, кровью, строкою вот этою, нигде не бывшею в найме», дрался вместе с народом против многочисленных врагов Октября, всего себя отдавал своей любимой — Революции, и вот в трудную минуту, когда сошлись в одно и усталость, и болезнь, и личные неприятности, и то, что близких друзей не было в тот момент рядом, пал боец в разгар боя, в час великого перелома времени, когда «встаешь и говоришь векам, истории и мирозданию». Так пришло 14 апреля 1930 года. Но едва поникшее в его руках знамя советской поэзии подхватили руки новых бойцов, и вот оно, реет сегодня над нами...

Повторим то, что сказал Луначарский о Маяковском:

«Сейчас, когда я раскрываю в любом месте любую книжку Маяковского, жизнь каждый раз устремляется и омывает меня бурным потоком: свет яркий, беспощадный для любителей тьмы, снопом лучей прожектора бьет оттуда...»

Кто же он был, Маяковский? Каким именем определить ту фигуру, которая вырисовывается из этой необычайной жизни?

Человек. Советский человек. Советский — в своем нестесненном и вольном чувстве хозяина страны, яростно обрушивавшегося на не выведенные еще мерзости и непорядки в родном доме и любовно украшавшего этот дом; советский — в остром чувстве нового, рождающегося будущего; советский — в той великолепной гордости патриота, которая равно чужда и провинциальному чванству и жалкому раболепию перед иностранным. «...главное в нас,— утверждал он,— и это ничем не заслонится,— главное в нас, это — наша Страна советов, советская стройка, советское знамя, советское солнце».

В годы, когда приход трактора в советскую деревню был событием, он, повидавший аэродром Парижа и небоскребы Нью-Йорка, но не сдернувший перед ними почтительно кепку, говорил с буржуазным Западом так, что в его стихах мы слышим голос сегодняшних советских успехов:

Мистеры,
у вас
практикуется исстари
деньгой
окупать
строительный норов.
Вы
не поймете,
пухлые мистеры,
корни
рвения
наших коммунаров.
Буржуи,
дивитесь
коммунистическому берегу —
на работе,
в аэроплане,
в вагоне
вашу
быстроногую
знаменитую Америку
мы
и догоним
и перегоним.

Я читал эти строки костромским рабочим и сусанинским колхозникам, они знают, что слово поэта уже сбывается. Дело не только в том, что Маяковский предрек нашу экономическую и социальную победу; он видел и славил новые стимулы поведения людей, «корни рвения наших коммунаров». Он был поэтом нашей победы.

Ты спрашиваешь: кто Маяковский?

Я отвечу тебе словами французского писателя-коммуниста Луи Арагона:

«— Он Шекспир?

— Так скажут завтра; сегодня уже говорят: он Маяковский».

Степан ЩИПАЧЕВ



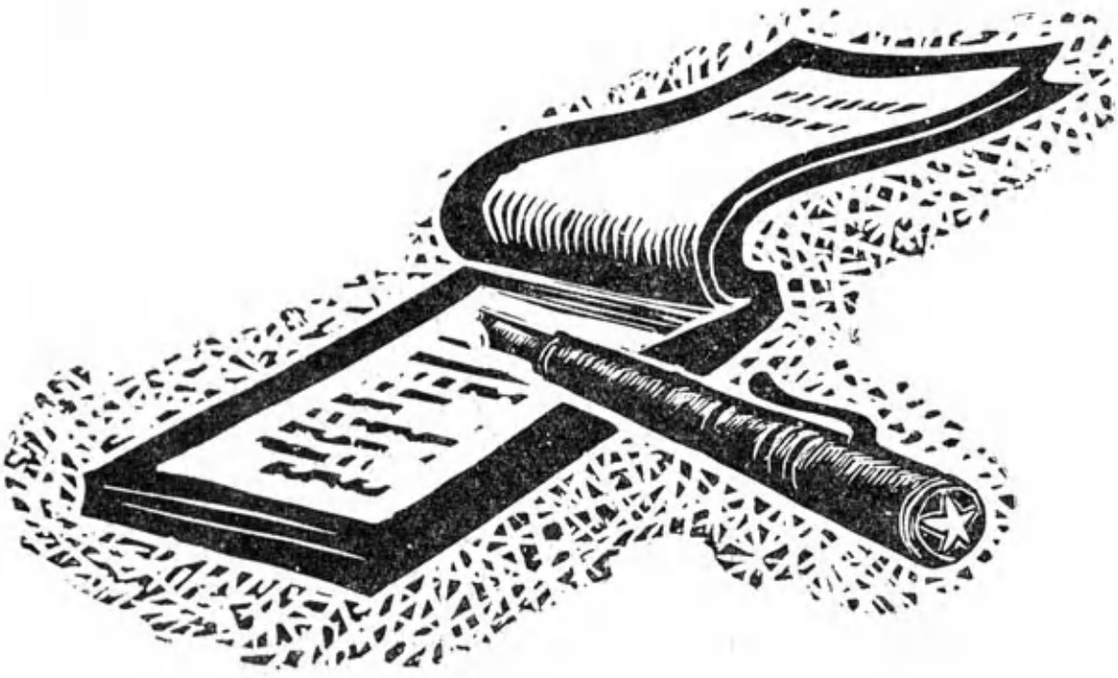
14 апреля 1930 года

Бежали ручьи молодые, быстрые.
Апрель звенел и сиял синевой.
Когда бы не Маяковского выстрел,
весна ликовала бы над Москвой.

Она бы врывалась лучами всеми
к его столу, к тяжелым рукам,
но он из сияния рухнул в темень
стриженою головою к векам.

Сжав судорожно холодок металла,
быть может, немного дрожала рука.
О как в то мгновенье ему не хватало
чьей-то улыбки или звонка!

Бессильными стали б смертельные нити,
и боль отлилась бы в железный ямб...
Почаще друзьям звоните,
почаще руку жмите друзьям!



Гравюра
А. Брусиловского.



Георгий ТОКАРЕВ

ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ ШАГОВ

Генка совершенно не понимал, почему это так, да и вообще этого нельзя было понять, но именно сегодня с самого раннего утра у него было совершенно определенное предчувствие чего-то неизвестного, таинственного, важного и обязательно хорошего. То ли молодость в его душе была слишком неугомонной, то ли утро было каким-то уж очень ясным и светлым, а скорей всего обе эти причины вместе подняли Генку на целый час раньше обычного.

Над пустыней всходило солнце. Сначала по безоблачному небу цвета полинявшего голубенького ситчика позолоченным веером брызнули гонцы солнца — его лучи, потом оно само глянуло из-за далеких холмов ослепительным царственным оком своим, и вот низко над горизонтом повисло уже все великое светило, чуть волнуясь и подрагивая в теплых воздушных струях. Словно листок фотобумаги в руках фотографа, в одну минуту переменилось однообразное лицо пустыни. В каждой лощинке, за каждым холмиком попрятались темные резкие тени; невесть откуда и невесть куда побежали по песку следы, такие свежие и четкие, словно их только что нарисовали черной краской. Это было удивительно. Генка каждый день видел пустыню, но никогда не замечал всего этого. День начинался по-новому, необычно, и предчувствие пока что не обманывало.

Было еще очень рано, не больше семи часов, а пустыня уже напоминала о себе, дохнув в лицо Генке сухим, горячим ветерком, будто и не было совсем ни ночи, ни темноты, ни прохлады. Генка послонялся по гаражу, потом взял кое-какие ключи и полез под свою полуторку; не то, чтобы ему захотелось вдруг работать, нет: просто под брюхом машины была тень, а делать было нечего. Он улегся на спину на жестком брезенте, привольно раскинув ноги, и уже



Рисунки Б. Косульникова.

принялся было подтягивать гайку, как вдруг у колеса в двух шагах от его головы остановились чьи-то ноги. Генка не видел их хозяина, но знал, что это был Клевцов. Он один во всем гараже носил даже в самую жару свои неизменные солдатские галифе и сапоги: здоровенные кирзовые сапожищи примерно сорок четвертого размера, порыжевшие и растрескавшиеся от зноя. Генка принялся старательно отдуваться, пыхтеть, колотить ключами друг о друга и вообще изо всех сил изображать кипучий трудовой процесс. Клевцов молчал.

«Ничего, начальничек, подождешь! — довольно подумал Генка.— Наплевать мне на всех, когда я занят ремонтом. И на тебя наплевать!»

Впрочем, если говорить честно, то Генка побаивался Клевцова. И совсем не из-за его жесткой нижней челюсти и тяжелых кулаков, дело было совсем не в них. На своем коротком веку много успел Генка перевидать начальников: строгих и добродушных, молчаливых и крикливых, трезвенников и пьяниц. Но такого, который, как ни крути, всегда оказывается прав,— такого ему еще не попадалось. Этого стоило уважать и, пожалуй, слегка побаиваться.

Генка вытер со лба пот, вздохнул и с неохотой полез из-под машины. Интересно, чего Клевцов от него хочет? Стоит и ждет. За последнее время Генка вроде бы здорово не выпивал, драк не устраивал. В аварии тоже не попадал, если не считать смятой фары, за которую нагоняй уже получен. Странно.

Генка вздохнул, перевернулся на живот и, пыхтя, выбрался наружу.

— Что это ты сегодня, брат, ранней птичкой, а?— как всегда угрюмовато, поинтересовался Клевцов, удивив Генку теми нотками доброжелательности в голосе, которые были для него необычны и не подходили к его суровому, мрачноватому облику.



— Да сам же говорил, что машина — она глаз да уход любит! — копируя Клевцова, пробасил Генка.

— Это точно! Рассуждаешь как положено! — не замечая иронии, удовлетворенно сказал Клевцов.— И вообще хоть и много в тебе дури, а все же боёк в голове имеешь. Понял?

— Так точно, товарищ начальник!

От души радуясь и немножко забавляясь совершенно необычайным явлением (Клевцов похвалил его, Генку!), Генка тут же отыскал ему объяснение: все дело в том, что день с самого начала оказался необычным, предчувствие сбывалось.

— Да-а...— неожиданно протянул Клевцов, как-то потускнев лицом и внимательно разглядывая грязные носки своих сапог.— А обстановка, парень, вот какая.

Генка насторожился. «Парнем» начальник называл его, если хотел отчитать за что-нибудь. Но за что?

— Ночью, сам знаешь, какой ветер был,— продолжал Клевцов.— Дороги опять позаносило. А на четвертую буровую еще вчера надо было воду отвезти. Дрянь дело. Понимаешь, что к чему?

Генка не понимал. Дороги заносило довольно регулярно, и не менее регулярно надо было возить воду. Правда, ночью была, кажется, самая настоящая буря, но ведь она кончилась!

— Темнишь, начальник! — насторожился Генка, подозрительно покачав головой.

— Да чего тут темнить,— проговорил Клевцов, твердо уставив на Генку свой темный, тяжеловатый, с легким прищуром взгляд бывшего артиллериста.— В гараже только твоя полуторка, сдай ее Азнакаеву. Принимай дежурство. Ясно?

Тяжелая рука легла Генке на плечо. Генка нахохлился, как воробей в сильный мороз, отвел плечо и сердито засопел. Предчувствие обмануло его, день начинался совсем не чудесно, а просто паршиво. Генка обещал быть сегодня на буровой, а тут на тебе: принимай дежурство!

— А я что, маленький, да? — продолжая сопеть, спросил Генка.

— Да ты погоди,— поморщился Клевцов,— ты пойми. Азнакаев — водитель бывалый, опытный, да и то, черт его знает, как он туда доберется на твоей старухе! Вон как скаты обшарпаны. А ведь песок! Ну, давай ключ.

— Не дам! — твердо сказал Генка, зло разглядывая прокуренные усы Клевцова.— Не доедет твой Азнакай, старик он. А я на моей «Маруське» доеду!

— Слушай, парень, ты мне тут махновщину не разводи! — разозлился Клевцов.— Люди воду ждут, сутки не пивши, работают, а мы прения разводим! Давай сюда ключ!

— Я сам повезу воду! — угрюмо и упрямо заявил Генка.

Начальство окончательно вышло из себя. Клевцов орал сиплым басом и даже махал перед его носом измазанными солидолом кулаками. Генка был назван молокососом (за свои 20 лет) и стилягой (за узкие брюки и прическу ежиком). Молокосос и стиляга испуганно пятился, пряча за спиной зажатый в кулаке ключ и упрямо косясь на Клевцова. И вдруг в темных глазах начальника, где-то в самой их непроглядной глубине, Генка увидел одобрение. Да, да, это было именно одобрение, тщательно маскируемое гневом, но все же несомненное и даже немного озорное одобрение!

— Как будто сам не был молокососом! — осмелев, пробурчал Генка себе под нос.

Клевцов осекся на полуслове и задумался, выпучив глаза.

— Хм! Ну, шут с тобой, Дубинский! — неожиданно легко сдался он.— Только ты учти: сядешь на Барханном — пальцем не шевельну. А вода чтоб на буровой была. Ясно?

— Ха! Не волнуйся. Будет полный порядочек! — обрадовался Генка.

— Он мне говорит! Не гараж, это ж детский садик какой-то, ей-богу! — ворчал Клевцов, но уже больше так, для порядка.

Генка влетел в кабину, включил зажигание и привычно ткнул носком ботинка в блестящий пятачок стартера. «Маруська» сонно фыркнула, недовольно зачихала, лениво затарахтела стареньким, изношенным мотором. Выезжая из гаража, он увидел в воротах Клевцова и Азнакаева. Первый сурово кивнул Генке, а второй недовольно покачал головой: он-то хорошо знал, что такое живые пески в Каракумах! Генка беззаботно помахал им из кабины кепкой и лихо крутанул баранку. Победно трубя, «Маруська» проворно побежала за своей пока еще длинной и прохладной тенью. Казалось даже, машина рада, что ей не делают бесконечный «текущий ремонт». Генка беспечно улыбнулся. Предчувствие все-таки не обманывало.

Впереди сто сорок километров дороги по безлюдной песчаной пустыне до затерянной где-то среди барханов буровой **номер четыре.**

Первые восемьдесят километров промчались незаметно и даже весело. За боковыми стеклами, подрагивая, величаво поворачивалась однообразная, манящая своей бесконечностью пустыня. Дорога шла настолько прямо, что напоминала Генке туго натянутый шнурок. Она выползала из-за горизонта едва различимой ниточкой, затем недвижно выжидала некоторое время, постепенно толстея и раздваиваясь, и вдруг стремительно кидалась под колеса двумя пыльными лентами-колеями. Красный кончик стрелки спидометра весело выплясывал где-то между цифрами шестьдесят и семьдесят. Это был предел для «Маруськи».

Генка уверенно жал на акцелератор, небрежно держа баранку одной рукой и папиросу другой. Длинноносый пластмассовый Буратино, болтавшийся на красной ленточке перед ветровым стеклом, улыбался до ушей и с удовольствием слушал Генкин художественный свист.

Но вот плоские солончаки кончились. Равнина постепенно посветлела, пожелтела и пошла пологими волнами. Горячий, сухой ветерок гнал по лощинам желтую песчаную поземку. Кое-где стали попадаться корявые, бурые и с виду безжизненные деревца саксаула. «Маруська» как живая подвывала на подъемах и тихонько скулила на спусках.

«Вот дает газу!» — подумал Генка про солнце, чувствуя, как от железной крыши кабины пышет печным жаром. Он немного опустил левое стекло. На зубах сразу же заскрипел песок.

Где-то около девяностого километра ему попался первый занос. Маленький низкий барханчик лизнул дорогу нешироким желтоватым языком. «Маруська» проскочила его, не сбавив скорости. Теперь недалеко уже был Барханный перевал.

Генка нахмурился, остановил машину, давая мотору поостыть. Замотал ленточкой некстати ухмыляющегося, надоедливого Буратино. Заглянул в кузов. Так, бочка на месте. Можно ехать. Оксана ждет его сегодня. Стал бы Генка каждую неделю гонять на самую далекую буровую, если б не веселая черноокая повариха и по совместительству медсестра Оксана Величко! Иначе какой расчет делать такие дальние рейсы? И все же Клевцов штучка! Азнакай, видите ли, водитель опытный, а он, Генка, значит, так себе, барахло. Подумаешь, песок! А ну, трогай, «Марусенька»!

Дорога была знакома. Сначала она идет на подъем, потом будет сравнительно ровное плато, засыпанное целыми стадами крутолобых хвостатых барханов. Это и есть Барханный перевал. Все водители базы боятся этого гиблого места. Все, кроме него, Генки. Уж кто-кто, а он умеет чувствовать пески! Вернее, он и его «Маруська». Главное, не слезать с дороги, даже если она засыпана песком. А если уж слез, так держи руль жестко, изо всех сил. Иначе все, каюк, как говорит Азнакаев.

Дорогу перехватил второй занос. По тому, как тупо-тупо ткнулась в песок машина, Генка понял, что дело плохо. Он уцепился за крутнувшуюся баранку и дал полный газ. Медленно, с трудом раздвигая песок передними колесами, «Маруська» выбралась на дорогу. Но через пять минут за поворотом показалась песчаная коса метров в десять шириной. Генка вылез из кабины, ткнул ногой скат. «Маруська» взревела и с разгону врезалась в косу. Грохотнула бочка в кузове, от удара старенький грузовичок задребезжал всеми своими частями. Пески выпустили его и на этот раз. Повеселевший Генка хотел таким же манером проскочить и следующий занос, но песок здесь был слишком глубок и вязок. Полуторка надсадно выла, крупно дрожала, но с места не двигалась.

Он включил задний ход, но только загнал колеса в песок до самых осей.

— Вот чертовщина! — с досадой на себя, на «Маруську» и на барханы выругался Генка.— Ну ничего, ничего... Бывало...

Он выкинул из кузова старый брезент, натаскал узловатых саксауловых сучьев и все это швырнул под задние колеса. Потом стал терпеливо и методично гонять мотор на первой скорости, поминутно выскакивая из кабины и подкидывая изжеванный и выплюнутый назад брезент снова под колеса. За полчаса две глубоких канавы в песке удлинились метров на двадцать. Не более.

— Э, так не годится,— расстроился Генка,— не выдержит «Маруся». Чует мое сердце, не выдержит.

Пришлось взяться за лопату. Взбесившееся солнце, должно быть, решило самым натуральным образом приготовить из голых Генкиных рук, шеи и лица шашлык. Соленый пот противно капал с носа. Горячий, шершавый, как рашпиль, песок, набившийся в ботинки, был ненамного приятнее пота. Но Генка не унывал: он верил, что теперь вылезет. Правда, он никак не думал, что на это уйдет еще час. Но час прошел, солнце стояло уже прямо в зените. Мотор задыхался. Генка хорошо чувствовал это по тому, как ослабела тяга, как быстро падали обороты, стоило лишь чуть-чуть убавить газ. Он вложил весь свой шоферский опыт в эти педали, рычаги и баранку, он старался как бы превратить старую машину в продолжение своих нервов и мускулов.

Подлизываясь к «Маруське», выводил ее на горки и холмы на таком малом газу, на каком непременно заглохла бы даже легкая «Победа». Тормозами он вообще перестал пользоваться, всячески экономя силы полуторки.

— Ну, Машенька, не обижайся, поднажми. Надо ж, видишь. Вот так! Не подведи, милая. Самую малость, а там поедем под горку. Отдохнешь,— ласково говорил он ей.

Но «милая» явно сдавала. В гудении мотора проскальзывали какие-то тревожно жужжащие и шипящие нотки, затем грозным предупреждением больно отдались в ушах частые резкие выхлопы. А когда машина все же выбралась из барханов, из радиатора повалил пар.

— Эх, «Маруська», «Маруська»! Не совестно тебе... каких-нибудь двадцать километров не дотянула! — плаксиво сморщившись, констатировал Генка.— Ну ты подумай! Разве так можно...

Он резко тормознул, вспрыгнул на буфер и кепкой открутил горячую пробку. Воды в радиаторе было меньше половины. Иссушенный, жаркий воздух жадно пожирал пары. Раскалившийся от непосильной работы мотор и свирепое полуденное солнце прямо высасывали воду.

— А что, если... взять воды из бочки? — как-то украдкой проскользнула в его сознании мысль. Но он, даже напугавшись, тут же отогнал ее.

— Воды и так литров пятьдесят, а их там семь человек. И все пить хотят,— сказал он вслух виновато.— Обойдешься, «Маруська», дотянешь и так!



Неровными толчками, с долгими и частыми остановками «Маруська» протянула еще километров двенадцать и стала. Через полчаса мотор снова заработал, но всего на несколько минут. После этого он заглох прочно. Напрасно Генка бился над мотором, обжигая руки о раскаленный металл. Солнце торжествовало победу. Мотор был мертв и безмолвен. В отчаянии плюнув на горячие трубы, Генка в сердцах ругнулся и захлопнул капот. Совсем рядом, вон в той лощинке, буровая вышка; если подняться на холм, она даже будет видна. Семь-восемь километров. Да и ехать теперь пришлось бы под горку. Сволочь ты, «Маруська»! Ну что же мне теперь делать? Идти на буровую, звать на помощь? Клевцов, когда узнает, только хмыкнет и ничего не скажет. Хуже всего, когда он молчит, как, например, весной, когда у Митьки Воронцова по пьяной лавочке полетел промежуточный вал и из-за него вся коробка передач. А Азнакаев сощурит свои и без того вечно сонные глаза и с кисленькой улыбочкой скажет, качая головой:

— Моя твоя говорил, не шибко надежная парень Генька!

У, черт! Я тебе покажу «ненадежная»! Руками бочку докачу, а вода на буровой будет! Упрямо выставив подбородок, Генка подскочил к заднему борту и торопливо открыл его. Бочка тяжело шлепнулась в песок. Здоровенная бочка из-под горючего, почти доверху наполненная водой. Когда-то в техникуме Генка ходил в спортклуб и занимался борьбой, но бочка весила никак не меньше семидесяти килограммов, и она его испугала. Восемь километров по песку! Генка вспомнил, что шаг у него восемьдесят сантиметров; значит, до буровой ровно десять тысяч шагов! Выгоревшие Генкины брови сдвинулись и превратились в одну ровную черту над глазами. Заметнее стал темный пушок на верхней губе, а у рта на щеках вместо детских ямочек появились две едва заметные жесткие складочки. Генка задумался, оперевшись ногой о бочку. Надо как-то дотащить. Не подвести Клевцова.

Но как?

И вдруг его осенило. Бочку можно катить! Однако от этого пришлось сразу же отказаться. В песке бочка сидела плотно и катиться не желала. Генка окинул одиноко уткнувшуюся в обочину полуторку затуманившимся взглядом, шмыгнул носом, поставил бочку на попа и решительно подсел под нее на корточки. Дрожа от напряжения, он взгромоздил ее на себя и сделал первый шаг. Самый первый из десяти тысяч. Теплый ржавый обруч сразу же тупо вдавился в плечо. Ноги по щиколотку увязали в песке, колени подгибались от тяжести. Но Генка шел, стиснув зубы и скривившись от боли. Он считал шаги. Пройду тысячу шагов и отдохну, решил он; но уже на трехсотпятидесятом бочка тупорылой свиньей ткнулась в песок.

— Ах ты, сатана! — обругал ее Генка, растирая рукой ноющее плечо. Солнце стало сползать с зенита и светило теперь немного сбоку. Пришлось снять ком-

бинезон и приспособить его на плечо в качестве подушки. Теперь Генка остался в своей черной в красную клетку безрукавке и синих спортивных штанах. Горячий ветерок насквозь пронизывал тонкую материю и неприятно грел живот. Но зато не так резало плечо; кроме того, бочка хоть немного закрывала лицо и шею от палящих лучей. Он уже не обращал внимания на липкие струйки пота, стекавшие по лицу, груди и спине. Он до крови закусил губу. Шаги тянулись один за другим со страшной болью в плече, с частыми ударами сердца и короткими, иссушающими глотку вдохами. Под ногами был только песок — миллиарды крохотных сероватых песчинок, и каждая ярко светилась и слепила его залитые потом глаза, каждая стремилась поцарапать и уколоть его кожу. Генка не думал ни о чем. Все его существо было занято только двумя вещами: бочкой на плече и теми цифрами, которые выкрикивались сдавленным шепотом каким-то странным созданием, сидящим в нем, Генке, но никакого отношения к нему не имевшим. Это было удивительно похоже на то полуобморочное состояние, которое он однажды испытал на ринге в спортклубе. Получил нокаут. И вот с таким же болезненным интересом прислушиваясь к потустороннему голосу судьи, звучавшему как бы в нем самом: 3, 4, 5, 6...



— 997, 998, 999... Тысяча! — выдохнуло наконец это странное создание.

Генка с наслаждением дал бочке плюхнуться наземь и хотел выпрямиться, но это ему удалось только через несколько минут. Мускулы на плечах сводило судорогой, а поясница словно окаменела, и ему стоило большого труда разогнуть ее, чтобы встать по-человечески. Рукавом Генка вытер потное лицо, оставив на нем пыльные полосы. Теперь оставалось девять тысяч шагов.

Солнце смеялось над ним. Оно доконало его машину и жгучими стрелами хотело заставить сдаться и его, Генку. Но, побагровев от натуги, он снова взвалил бочку на уже намятое горящее плечо и снова качнулся вперед, выставив ногу для нового шага. Вторая тысяча оказалась невероятно трудной. Не было никаких сил вытаскивать ноги из песка, Генка просто переставлял их, словно усталый лыжник. Где-то на шестисотом шагу у него потемнело в глазах, он покачнулся и застонал, но упасть бочке не дал, со страхом сознавая, что если вот сейчас она упадет, то он не поднимет ее больше. Генка изо всех сил удерживал бочку, обхватив рукой ее скользкий, маслянистый бок и фанатически шепча:

— Только не упасть, только не упасть!..

А странное создание в нем продолжало считать нарочно замедленно и неторопливо. Генка возненавидел его.

— Всего только восемьсот! Уже давно должна быть тысяча! — давясь слезами, всхлипывал он.— Ты все врешь, ты крадешь у меня мои шаги! Жадная сволочь! — шипел он ему.

— 832, 833, 834...— бесстрастно отвечало существо.

Тогда всю свою боль и злобу Генка обращал против солнца.

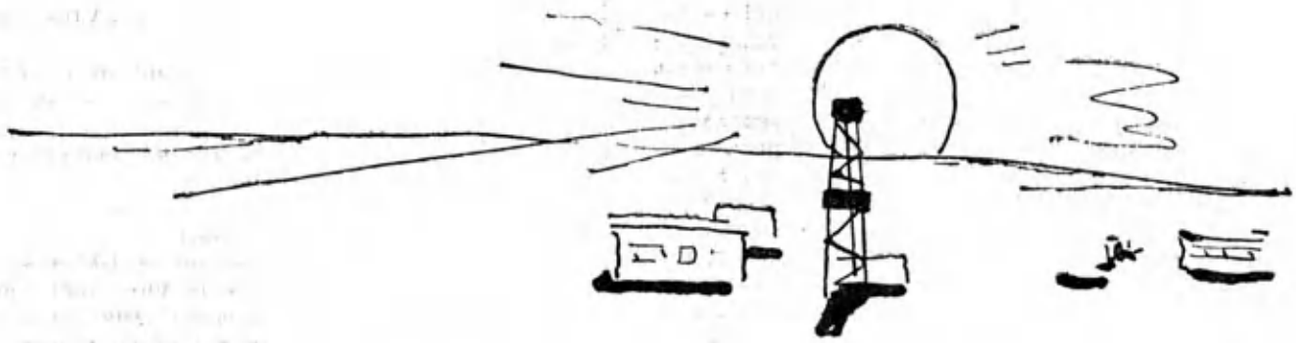
— Ты хочешь меня замучить, солнце? Черта с два! А вот этого не хочешь? — Генка мысленно показывал пустыне грязный кукиш.— Все равно я не упаду! Не упаду, не упаду... а-а...

И все-таки он упал. Его нога сделала последний, двухтысячный шаг, он хотел уже сбросить бочку и отдохнуть и в этот момент упал. Упал прямо лицом в песок, сжимая рукой глухо всплеснувшую у самого уха бочку.

— Кровопийца ты! Гадина! Паскуда! — яростно орал он ей, лежа на горячем песке и размазывая по лицу пыль и грязь вместе со слезами и потом. Бочка презрительно выслушала самые изощренные ругательства и самые страшные проклятия, какие только были известны Генке. От ругани на душе у него полегчало, хотя плечи продолжали пылать огнем. Чувствуя, что от непомерного напряжения где-то на спине у него вот-вот полопаются мышцы и связки, Генка еще раз поднял бочку. Странное существо начало отсчитывать третью тысячу.

Если вторая тысяча показалась Генке очень, очень трудной, даже невыносимой, то третья — просто мучительной. Раскаленные обручи впивались в тело огненными когтями. К горлу то и дело подступала отвратительная тошнота, от которой мутилось в глазах и ноги делались ватными. Временами Генка был уверен, что громадное железное чудовище, навалившееся на него всей своей тяжестью, неминуемо подомнет под себя и раздавит его вот здесь, на песке, словно слон лягушонка. Это был настоящий кошмар, от которого нельзя убежать, с которым нельзя вообще ничего сделать, а можно только в мучениях ожидать, когда он кончится.

И он все-таки кончился, хотя и продлился целую вечность. Изогнувшись от полоснувшей по всем нервным клеткам боли, Генка скинул с себя чудовище, тяжко ухнувшее ему под ноги. Он стоял рядом с бочкой, скрючившись в три погибели, раскорячившись и схватившись руками за поясницу; в изнемо-



жении он так и повалился в песок. Позади осталось расстояние в три тысячи трудных шагов. Странное существо услужливо подсчитало, что впереди ждут еще целых семь тысяч. Генка пришел в ужас. Узнав об этом, солнце еще ярче вспыхнуло от злобной радости, не давая ему ни минуты покоя и отдыха. Генка и сам начал понимать, что оно победило и «Маруську» и его; эта мысль привела его в слепую ярость, которая в одну секунду закинула бочку на плечо отчаянным рывком. Кошмар продолжался.

Только теперь все было наоборот: не бочка давила его к земле, а пустыня своей плоской горячей грудью прижимала Генку к бочке, и все время приходилось отталкиваться и отталкиваться ногами, иначе она бросила бы ему в лицо целые тонны песка и раздавила бы его голову о нависшую над ней бочку. Генка не видел ни неба, ни горизонта, ни даже склонов барханов. Неотрывно и внимательно смотрел он только себе под ноги, предупреждая выставленной ногой каждое движение земли к его лицу. Его непрерывно тошнило. В тот самый момент, когда его сознание начало заволакиваться темным туманом, дрожащие колени уже почти подогнулись, а ослабевшая рука начала скользить по боку бочки,— в этот самый момент, в самый последний миг Генка безмолвно вскрикнул от невероятного душевного усилия, вскрикнул одними губами, оскалив зубы в мучительной гримасе. Он вскрикнул и вдруг необычайно остро почувствовал, что ему удалось сделать очень важный шаг. Какой-то неведомый порог миновал, и вместе с ним остались за спиной и боль, и кошмар, и физические страдания, и душевное отчаяние.

Никогда раньше он не испытывал ничего подобного. Он ничего не чувствовал: ни боли, ни жажды, ни усталости; ощущение времени тоже исчезло, превратив реальность во что-то призрачно неуловимое, похожее на дрожащий мираж в знойном мареве над горизонтом. С равномерностью механизма шли и шли чьи-то ноги, какие-то чужие руки обнимали бочку. Генка с удивлением и даже с интересом разглядывал красную полосу на запястье. Что это за полоса? Неужели это синяк на его руке? Где-то за пределами его собственного существа угадывалась боль, но его, Генку, она не тревожила. Ноги все шагали и шагали, сами собой, без его участия. Что это? Почему? Неужели, как в спорте,— второе дыхание? В его голове летели обрывки мыслей и воспоминаний, далеких и недавних.

Вот он, Генка, держась за мизинец отца, семенит за ним по комнате; отец изредка поворачивает голову и глядит на него счастливыми глазами. После слов «мама» и «папа» Генка выучил слово «война». Вот он видит лицо матери, оно бледно, а в руках у нее клочок бумаги, название которому он узнал гораздо позже: похоронная... Тогда, глядя на мать, он начинает реветь, недоумевая, почему она даже не смотрит в его сторону. Маленькая сестренка Лидочка тоже ревет, она всегда ревет вместе с братом.

Вот Генка, гордо поглядывая на встречных, идет в школу, в первый класс. В руках новенький портфель. Приятно погромыхивает пенал. На голове — великолепная фуражка с лакированным козырьком. Сзади мать в своем единственном праздничном платье, улыбается, почему-то вытирает украдкой слезы. А вот Генка уже «трудовой резерв». Неумело берет он в руки отполированную множеством ладоней сверху и шишкастую снизу баранку. Он не будет сидеть на шее у матери. И в Москве он тоже не останется: подумаешь, нужна мне столичная жизнь! Генка смотрит на застывшие песчаные волны и видит Казанский вокзал, специальный поезд и сестру Лидочку. Она торжественная, в свежеотглаженном пионерском галстуке. Еще бы: не у каждой шестиклассницы в Москве есть брат, который ехал бы комсомольцем-добровольцем на целину! Чудна́я Лидка! На целине он не проработал и полгода, сбежал. Вкалывать заставляли! Сбежал. Генка презрительно харкает и попадает себе на ногу. Работал и с рыболовами в Астрахани, и на заводе в Караганде, и в оренбургском совхозе. Надолго нигде не задерживался. А вот теперь судьба забросила вообще к черту на кулички! Генка — шофер в геологоразведочном управлении. Развозит по буровым горючее, воду, продукты, почту. Зашибает недурно. Тоже мне: нефтеразведчик! От этой мысли, а может быть, просто от вида запыленного плевка на ноге ему становится противно.

— Дермо ты! — хрипит он сам себе,— Бродяга, бледная гнида! Не мог довезти бочку воды. А сейчас плечики заболели! Правильно сказал тогда Азнакаев: ненадежный парень! Ведь ребята работают там без воды, хотя имеют право и не работать. Почему? Хотят подзашибить? Они не получат за это ни одной лишней копейки. Просто нефть ищут. Нефть! Это же бензин, масла там всякие и еще бог знает что! А он, Генка?.. Доехать до них не сумел. А Азнакаев бы доехал. Дермо ты, Генка.— И, изловчившись, он обтер с ноги запыленный плевок. Обтер и будто почувствовал себя легче.

Когда он очнулся из полузабытья, в ушах его звучало:

— 6965, 6966, 6967...

Он сравнительно легко дошел до целой тысячи и скинул бочку. Спины и шеи у него теперь не было. Была сплошная боль, и боль не горячая и поверхностная, какая была сначала, а ровная и жестокая. Инстинктивным движением Генка потрогал рукой одеревеневшее плечо и вдруг ощутил под пальцами прохладную влагу.

— Неужели бочка течет? — испугался он и поднес ладонь к лицу. На ней темнело пятно темно-красной запекшейся крови. Это красное пятно сломило его окончательно.

— К чертям собачьим! К дьяволу все! Ты, проклятый грязный бегемот! Чхать я на тебя хотел! — заорал он бочке, с ненавистью сжимая в кулаке кровавую грязь и размазывая по щекам грязные слезы. Бочка молчала. Генка со стоном встал и пошел прочь. Шагал он теперь так же, как и прежде, когда на плече была бочка: согнувшись, наклонившись вперед, тяжело передвигая ноги и глядя прямо перед собой в песок. Он бросил эту проклятую бочку, а в ней была вода, та самая вода, которую ждали не только ребята, но и она, Оксана. Генка вспомнил, как они расстались в последний раз. Он разозлился, потому что она никак не давала себя поцеловать, а только смотрела своими черными глазищами и отрицательно качала головой. Генка разозлился и отвернулся от нее, а она вдруг тронула его за плечо и, опустив глаза, тихонько сказала:

— Вот приедешь в следующий раз, тогда поцелуешь.

Генка остановился. Он ни за что не сможет теперь даже посмотреть ей в глаза. Ведь он просто слюнтяй!

Замирая от ужаса перед необходимостью вновь тащить бочку, он вернулся назад. Осталось три тысячи шагов, всего три тысячи! Завывая от боли, потерпев неудачу много раз, он все-таки поднял бочку. Онемели не только правое плечо и рука, но почему-то левая нога. Генка уже ничего не понимал, он только всхлипывал, не имея сил даже ругаться. Но остановиться и сбросить ее он тоже не мог, потому что она рухнула бы ему на ноги.

Так кончилась восьмая тысяча. Сквозь шум в голове его ухо уловило какие-то равномерные металлические удары. С трудом ворочая налитыми кровью глазами, Генка отыскал взглядом вышку. Она торчала из-за холма совсем рядом! Он долго думал, что это за звуки доносятся оттуда, и вдруг понял: ведь это стучит насос! Они работают! Они не видят его из-за бархана. Но этими равномерными звуками будто бы голос ему подают.

Непослушными, дрожащими руками он остервенело обхватил бочку. Осталось только забраться на холм! Две тысячи шагов! О-оо! Проклятая бочка! Проклятая бочка... Почему проклятая? В ней вода. Вода... так хочется пить... А где-то есть целые океаны воды. Тихий, Атлантический, Индийский... Индия... Что? Какая Индия? Ах да, Индия. Там тоже жарко. И песок. Под ногами, в глазах, во рту... песок...

Он падал и через каждые десять шагов ронял бочку. Не успев поднять ее, он падал снова. Это длилось бесконечно долго. Он ничего не чувствовал и не понимал, делая что-то и шагая куда-то совершенно автоматически. Это было хуже кошмара.

Как Генка забрался на этот холм, он не помнил. Помнил только, как кричал, и еще помнил, что голоса у него не было и никто его не слышал. Вся буровая лежала теперь как на ладони. В красноватом свете заходящего солнца бегали, суетились внизу люди. Вот кто-то что-то крикнул ему, но он не в силах был даже ответить. Он сидел рядом с бочкой и улыбался бессмысленной улыбкой. Ею и был встречен прибежавший снизу моторист Джабаев, из бессвязных выкриков и воплей которого Генка уловил только одно: нашли нефть. Идет светлая девонская... Темпераментный моторист совал ему в лицо свои руки. Они были словно в коричневых перчатках и резко пахли. Противно, в общем-то, пахли. Но моторист кричал, что не знает более благоуханного аромата. Это было нелепо, но Генка верил ему. Сознание понемногу возвращалось к нему... Они нашли нефть, думал он, и еще вчера сам по себе этот факт был бы ему довольно безразличен. А вот сейчас именно это поднимает в его сдавленной груди торжество и радость. Наверное, потому, что он дошел. Принес воду. Тоже как бы участвовал в их деле. Генка подумал и о Клевцове и об Оксане. Вот подойду к ней и поцелую. И странно: это радовало меньше, чем нефть, которой так отвратительно воняли руки моториста Джабаева. Это, конечно, глупо: тащить на себе бочку с водой столько километров. Можно было бы сходить к ним за помощью. Но он дотащил... И непривычная радость пока еще несмело росла в его груди. Незнакомая радость. Нет, не зря все-таки было предчувствие.

— Эх ты! — хрипло сказал Генка мотористу и похлопал рукой по бочке.— Вода. Я принес.

— Да ну? Ай, какой джигит! Ай, как хорошо! Давно пить хочу, совсем забыл! Давай пить будем!

Моторист живо отвинтил пробку, наклонил бочку и стал жадно пить, блаженно закатив глаза и проливая в песок светлые живые струйки. Генка оттолкнул его, дрожащими руками завинтил пробку и строго показал Джабаеву на пролитую воду, каждая капля стоила ему дорого. Тот сначала обиделся. Потом наклонился к Генке и стал внимательно рассматривать осунувшееся его лицо с ненормально горящими глазами, искусанные губы, руки с обломанными ногтями и шею с уходящими под рубашку багровыми полосами. Нахмурился, покачал головой и все, все сразу понял славный парень Гришка Джабаев. Как малого ребенка, повел он Генку за руку вниз, к вышке. Но даже теперь, когда бочка была уже почти на буровой, на месте, даже сейчас Генка шел и тревожно оглядывался на бочку. Он боялся оставить ее одну.

Потом он сидел на табуретке в маленькой комнатке и смотрел, как над ним хлопочет Оксана. Она мазала чем-то прохладным его плечи, шею и спину, ее проворные пальцы причиняли, конечно, боль, но эта боль казалась ему по сравнению с тем, что он только что пережил, удовольствием. Забинтовав его раны, Оксана вдруг взяла его лицо в свои теплые, мягкие ладошки, посмотрела прямо ему в глаза. Генка почувствовал, как что-то сладко оборвалось у него в груди, и он стал падать, падать в таинственную бархатную бездну ее глаз. У него захватило дыхание от этого падения, которое остановил только ее шепот. Он и не пытался понять, что она ему говорит: той нежности и того сочувствия, которые звучали в ее голосе, Генке было вполне достаточно. Самое последнее, что он еще ощутил после того, как был уложен на койку и голова его коснулась подушки,— это ее глаза, близко-близко перед собой ее глаза с влажными мягкими огоньками в зрачках и алую прохладу ее губ на своих губах.

В следующее мгновение он уже погрузился в темную пучину спасительного сна. Генка уснул, не успев даже закрыть глаза и убрать с лица пугающую, загадочную улыбку физически раздавленного человека, гордого своей победой. Победой над самим собой. Самой большой победой, какую он одерживал в своей еще короткой и, в сущности, еще только начинавшейся жизни.

г. Ленинград

Роман

Юрий ПИЛЯР

Люди остаются людьми

Рисунки И. Гринштейна.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Тускло светит солнце. Посреди лагерной площади за столиком сидит плоский, будто вырезанный из фанеры, немец-переводчик, рядом с ним — писарь-пленный. Они регистрируют наших командиров, которые должны направляться в специальные лагеря для офицерского состава. По словам переводчика, военнопленные офицеры получают там приличный паек, их не принуждают к тяжелому физическому труду, им гарантируется особое обращение в соответствии с правилами офицерской чести...

Переводчик, приподняв над головой фуражку, вытирает синим платком лысый лоб. Я подхожу к столику.

— Запишите меня.

— Ты есть официр?

— Да.

— Чин?

— Техник-интендант второго ранга... Можно просто лейтенант.

Переводчик недоверчиво смотрит на меня.

— Какой военный должность?

— Заведующий делопроизводством штаба дивизии.



Продолжение. Начало — в № 6 за 1963 год.

— О, штаб дивизии?.. Сколько имеешь лет?
— Двадцать.
— Коммунист?
— Нет.
— Иметь в виду, мы будем проверяйт. Если ты лгал, запираем в карцер.— Он протягивает мне сухой птичьей лапкой какой-то жетон.— Первый барак, штубе два.

Я поворачиваюсь и иду к ближнему от ворот бараку... Расчет мой прост: записавшись в офицеры, я, может быть, встречу знакомых из своей дивизии, возможно, даже Иванова; я сохраню остаток сил и тогда при первом удобном случае вместе с товарищами сбегу. Я все равно сбегу из лагеря — в этом я уверен. Что до моральной стороны дела, то сейчас она мало заботит меня: во-первых, я обманываю врага, а, во-вторых, по занимаемой должности я и был лейтенантом...

В офицерском бараке сравнительно чисто. Дощатые полы и нары вымыты, есть даже стол. На нарах лежат люди. Одеты они почти так же, как и остальные пленные, только побриты.

Я нахожу на нарах свободное место, ложусь. Думаю, что неплохо бы и мне побриться. Правда, темный пушок над верхней губой и на подбородке, наверно, делает меня с виду старше, но раз здесь все бреются, то, вероятно, и я должен.

— А где же ваши вещи?

На меня глядят внимательные, очень усталые глаза.

— Какие вещи?

— Ну, шинель, котелок хотя бы...— У соседа пергаментное лицо, длинное, но приятное. Ему, видимо, уже под пятьдесят.

— У меня ничего нет,— отвечаю я.— Все разбомбило.

— Трудненько вам так... Вас из-под Ржева сюда?
— Из самого Ржева. А вас?
— Я был до этого в Сычевке.

Мы знакомимся. Я узнаю, что капитан Носов — артиллерист, заместитель командира дивизиона, что он ранен в ногу, к счастью, не тяжело; он москвич, по гражданской профессии — архитектор, в далеком прошлом — подпоручик: ему пришлось воевать с немцами еще в ту войну. У него здесь тоже нет близких знакомых и никого из сослуживцев, так что, если я не против, мы можем держаться вместе.

Я с большой радостью принимаю предложение Носова.

После обеда, пристроившись на завалинке барака, мы долго обсуждаем причины нашей неудачи под Ржевом. Конечно, немцам удалось создать огромный перевес в силах, особенно в танках и авиации. Но, как полагает Носов, если бы нам дали приказ на выход из окружения неделей раньше, когда еще существовал коридор, то всей этой трагедии не произошло бы. По мнению Носова, в Ржевском котле мы потеряли несколько дивизий. Это страшно.

— Я иногда имею возможность просматривать вырезки из немецких газет,— говорит он,— мне тайком приносит один писарь-москвич... Так ежели верить их сводкам, они продвигаются уже к Волге, обходя Москву с юга... Страшно, страшно!

Вскоре Носов, прихрамывая, отправляется в санчасть. Я захожу в барак.

За столом сидят трое. Невысокий лупоглазый пленный сечет воздух раскрытой ладонью.

— И правильно! Давить их надо. Загубили Россию. Разорили. Зимогоры!

Короткопалая пятерня поднимается и опускается после каждой фразы.

Я забираюсь на нары и оттуда наблюдаю за спорящими.

— Ты, Николай, здря шумишь,— говорит один из сидящих, хмурый и длинный.— Что мы знаем? Ничего не знаем.

— А по мне,— басит третий, с распухшим лицом,— попала птаха в дермо — не чиликай.

— То есть как это не знаем? — Лупоглазый от злости бледнеет.— А какие же тебе нужны еще особые знания?

— Ну, в масштабах-то государства. Не везде же было так.

— Везде, везде, везде! — опять сечет воздух пятерня.

— Ты что, посажен был? — интересуется распухший.

— Я — нет.

— А я был, восемь месяцев под следствием находился. Всего повидал и испытал, туды твою мать. У меня поболе твоего оснований для обид. Понятно тебе? — басит распухший.— Но я русский. Русский — разумеешь ты это или нет?

— А я не русский?

Хмурый еще сильнее хмурится.

— Ничегошеньки мы не знаем, Николай. Решительно ничего!

— А ну вас! — Лупоглазый с шумом встает.— Поглядим, что вы запоете через месяц, когда германская армия дойдет до Урала.

Хмурый и распухший умолкают и будто сжимаются.

— Эх, шкура! — бормочет рядом со мной человек с худым, суровым лицом. Он, кажется, бывший комбат, старший лейтенант.

Дня через два Носов украдкой показывает мне немецкую сводку. «Верховное командование («Das Oberkommando») сообщает...» — читаю я первые слова, отпечатанные жирным шрифтом.

В это время к нам быстро подходит Николай.

— Что они пишут? — В меня вперяются пустые, оловянные глаза.— Ты знаешь немецкий?

— А что тебе надо?

— Вот дурак! — Лупоглазый мотает головой.— Кабы я знал язык, я бы часа не пробыл тут, за проволокой.

Мне хочется съездить ему по морде, но Носов придерживает меня за рукав.

2

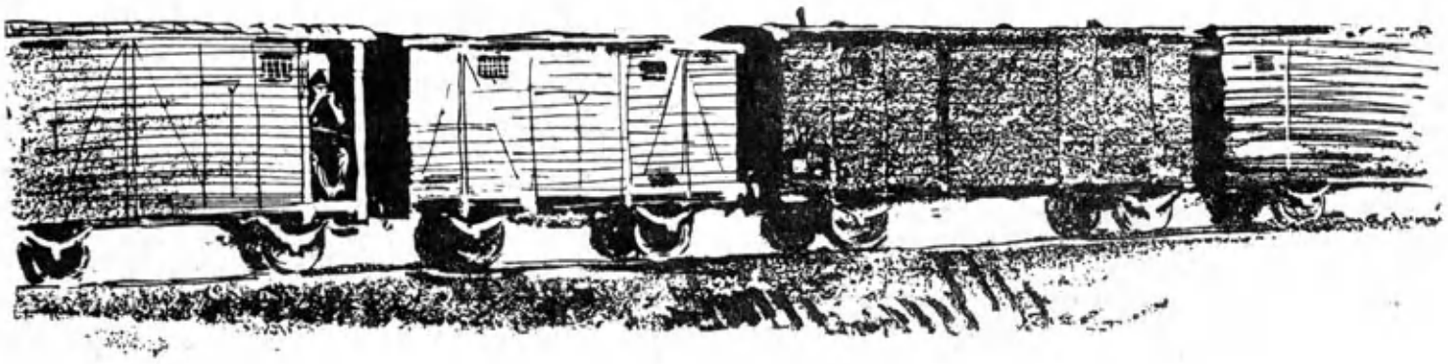
Снова везут. Жара, духота. Вагонное оконце оплетено колючкой. Мы сидим и лежим на подпрыгивающем полу, дремлем, чешемся, ругаемся, слушаем, как грохочут сапогами конвоиры, перебегающие по крыше с вагона на вагон, вновь дремлем — и вот Борисов...

Перед входом в лагерь нас встречает комендант, полный, с мягкими округлыми движениями гауптман.

— Мне нужен переводчик... Кто из вас понимает по-немецки?

— А вот, вот у нас есть, молоденький, вот.— Николай суетливо, с заискивающей улыбкой показывает на меня. Вопрос коменданта, заданный по-немецки, он уразумел, а ответить, беда, может только по-русски.— Вот, этот вот, молоденький...

Комендант, розовый, благоухающий, приближается ко мне.



— Вы говорите по-немецки?
— Очень плохо (sehr schlecht).
— Вы понимаете то, что я вас сейчас спрашиваю?
— Да.
— Желаете быть моим переводчиком?
— Нет... Я плохо владею языком.
— Но вы понимаете мои вопросы?
— Понимаю.

— Почему же в таком случае вы не хотите быть переводчиком?.. Странно! — Комендант, не снимая перчатки, достает батистовый платок и прикладывает его к зардевшейся щеке.

— Что за болван! — вполголоса возмущается лупоглазый, косясь на меня. Он чуть не стонет с досады.

Нас вводят в ворота и ведут к кирпичному бараку, похожему на гараж. Тут нас поджидает группа людей в желтой форме и один немец, черноусый в очках, с унтер-офицерскими погонами.

— Все командиры? — спрашивает он по-русски.
— Все,— отвечаем мы.

Унтер-офицер раскрывает папку для бумаг и перекликает нас по званиям и фамилиям. Нас двадцать девять, почти все младшие лейтенанты и лейтенанты. Старших — трое. Капитан один — Носов.

— Вы будете старостой группы,— приказывает ему унтер.

Гараж разделен перегородками на несколько отделений. Мы размещаемся в последнем, у входа. Немного погодя Носова вызывают к начальнику лагерной полиции. Я потихоньку выхожу вслед за Носовым.

Снаружи у двери стоит мрачноватый, уже в годах человек с тяжелым, давящим взглядом.

— Капитан Носов?

— Так точно...

Разговора их я не слышу, хотя и напрягаю слух, прохаживаясь за углом. Когда минут через десять начальник полиции удаляется, Носов сам подходит ко мне.

Нет, это еще не офицерский лагерь, а обыкновенный пересыльный и, возможно, проверочный. Здесь мы тоже долго не задержимся. Шеф лагерной полиции требует строжайшей дисциплины и беспрекословного выполнения всех распоряжений германского командования. На днях в лагере закончат строить баню с дезинфекционной камерой. Тогда, может быть, избавимся от вшей. Мыло выдадут нам сегодня.

— В общем, теперь, кажется, не пропадем,— говорит Носов.

— И все?

— А что еще?.. Кстати, вы окончательно решили отказаться от должности переводчика?

— Да.

— Я понимаю вас, но... это в какой-то степени нейтральная должность, а потом...— Носов понижает голос,— вы смогли бы окрепнуть, присмотреться и... Впрочем, дело ваше.

«Ни за что, ни за какие блага»,— думаю я.

На следующее утро нас, новоприбывших, выстраивают перед бараком. Снова является начальник лагерной полиции, черноусый унтер-офицер в очках и несколько рядовых полицаев. Носов подает команду «смирно». Шеф полиции, выйдя вперед, говорит:

— Господа офицеры! Как вам известно, на сегодняшний день победоносная армия великой Германии продолжает свой путь на восток. Дни Москвы, Ленинграда и прочих крупных советских центров сочтены. Но большевики и евреи сопротивляются. В данной обстановке долг всех русских патриотов — подумать о том, как избавить Россию от дальнейшего бессмысленного кровопролития. В настоящее время среди широких слоев наших военнопленных рождается новое движение. Мы предлагаем всем честным пленным вступать в ряды русской освободительной армии... Кто из вас согласен записаться в эту армию?

На нас смотрят острые глаза унтера. А может, это просто проверка: хотят узнать, кто чем дышит?

Первым из строя выходит, конечно, лупоглазый. За ним — еще двое. Унтер и начальник полиции пронзают нас испытующим взглядом. Под таким взглядом чувствуешь себя неуютно, как голый.

— Кто еще? Кто против большевистско-еврейской заразы?

Вопрос поставлен совсем определенно... Из строя, боязливо поеживаясь и озираясь, выступает хмурый, называющий лупоглазого по имени — Николаем, за ним тянется человек с распухшим лицом, бывший репрессированный. Глядя на них, делают два шага вперед еще четверо...

Остальные не двигаются с места. Стоит Носов, стоит кадровый старший лейтенант-комбат. И нас большинство.

— Ясно,— бросает начальник полиции.— Ра-азойдись!

Ровно через сутки за мной приходит полицай. Он ведет меня в лагерную канцелярию. Наверно, опять будут звать в переводчики, думаю я... За длинным столом вижу усатого унтера в очках и писаря. Начальник полиции позади их, у окна.

— У нас есть сведения, что ты коммунист и политрук,— заявляет унтер.

— Неправда,— отвечаю я, слегка пораженный.

— Советую тебе признаться.— Унтер разговаривает по-русски свободно и без всякого акцента... Может, он какой-нибудь гестаповец?

— Мне не в чем признаваться. Мне нет еще восемнадцати, и я не мог быть коммунистом, а поэтому и политруком.

— Врешь! — Начальник полиции выходит на середину комнаты.— Ты политрук и работал переводчиком в политотделе дивизии.

— Я работал в штабе дивизии.

— Ты мне голову не морочь, я как-нибудь майор.

— Но тогда вы должны знать.

Я пока довольно спокоен, потому что прав. Мне кажется, установить истину нетрудно.

— Да,— хмуро говорит начальник полиции.— Тем не менее ты политрук и сотрудничал с политотделом.

— Неправда,— повторяю я.

— Правда! — Унтер хлопает ладонью по столу.— Ввести свидетеля!

Из-за портьеры показывается знакомое лицо. Широкое, пылающее от волнения. Глаза блестят. Черные шнурочки бровей насуплены... Это техник-интендант второго ранга Рогач, бывший начпрод моего полка. Это он однажды приглашал меня к себе в тыл, обещая снабдить наше командование «горилкой» и военторговскими папиросами. И он попал, бедняга...

В то же время я очень рад, что нашелся свидетель. Сейчас недоразумение разрешится... Только почему он так волнуется?

Рогач вытягивает руки по швам. На меня не глядит.

— Действительно, я подтверждаю, что этот человек был адъютантом командира полка, а затем его перевели на должность переводчика в политотдел дивизии.— Голос у Рогача какой-то деревянный.

У меня от возмущения спирает в горле. Я потрясен, я просто не верю своим ушам.

— Ты... лжешь... Рогач! Я ведь тогда был ранен!

Он, не мигая, смотрит на унтера. Пальцы его вытянутых рук сжимаются и разжимаются.

— Ну, что ты теперь скажешь? — усмехается унтер.

— Вы только взгляните на этого подлеца,— говорю я и сам гляжу в трепещущее багровое лицо Рогача. Думаю: как же ему не стыдно? — Посмотрите, он сейчас чувствует себя хуже, чем я, он... предатель!

— Молчать! — прикрикивает унтер.— Вы свободны, свидетель.

Рогач исчезает за портьерой. Хлопает дверь.

— Лучше признайся,— говорит мне начальник полиции.— В твоих же интересах.

— Нет,— говорю я,— вы же майор, вам же известно, что в партию не принимают моложе восемнадцати лет. Я с двадцать четвертого года... мне лишь в октябре исполнится восемнадцать. Я никак не мог быть политруком хотя бы по своему возрасту.

— Послушай, ты...— прерывает меня унтер.— Отправляйся в свой барак и думай до утра. Если ты утром не признаешься, я сгною тебя в карцере. Убирайся!

Ошеломленный и подавленный, я ухожу.

3

Всю ночь меня преследуют кошмары. Всю ночь надвигаются на меня тяжелые клубящиеся тучи — я отталкиваю их, но они снова ползут с высоты, их много, я знаю, что им нет конца, но я отталкиваю и отталкиваю их, задыхаюсь, изнемогаю и все-таки отталкиваю, потому что — я понимаю это,— если я не буду отталкивать их, то они задушат меня...

Наступает утро. У меня сильный жар. Носов, которому я вечером рассказал о допросе, щупает мой лоб.

— Негодяи! — шепчет он.— Мерзавцы!

Он сам идет со мной в санчасть — небольшой дощатый барак с красным крестом на двери. У входа неожиданно встречаемся с черноусым унтером. Тот молча задирает мою гимнастерку до подбородка.

— Тиф...

И поворачивается к двери с крестом, приказав нам ждать его на улице.

Носов опять шепчет:

— Мерзавцы, негодяи!.. Но ничего, ты молод, выздоровеешь. Мы выстоим, как бы нам ни было трудно, мы должны выстоять. Не теряй веры и будь хоть немного похитрее.

Снова унтер.

— Заходи.— Он сторонится меня, боясь заразиться.

Я в последний раз взглядываю на Носова и захожу в барак. Дверь за мной захлопывается.

Человек в белом халате приказывает мне раздеться. Я снимаю гимнастерку, нижнюю рубашку и вижу на своем теле розовую сыпь.

— Одевайтесь,— говорит человек в белом.— Санитар, проводите его в изолятор...

У меня какое-то странное, умиротворенное состояние. Я покорно плетусь за санитаром к лагерным воротам, к нам присоединяется вооруженный дубиной полицай. Мы идем к бревенчатой избе, стоящей вне лагеря в окружении сосен. Правда, изба тоже огорожена колючим забором и ее охраняет немец-часовой.

Сопровождающий нас полицай остается у калитки. Мы с санитаром заходим внутрь. Возле крыльца санитар спрашивает меня:

— Ты политрук, что ль?

— Нет.

— А ты меня не бойсь, я не враг. Приказано не спускать с тебя глаз, учти. Понял? Обождите минуту.

Он зовет кого-то через дверь. Появляется пожилой, желтый, заспанный человек.

— Принимай, фершал,— говорит ему мой санитар.— Да ты выдь, выдь на момент, проветрись. Я тебе должен сказать инструкцию доктора.

Заспанный фельдшер выходит. Оказывается, он не заспанный, а просто очень утомленный. Санитар отводит его в сторону.

— Велено передать,— слышу я его шепот,— чтоб за этим больным особо присматривали, он политрук. Понятно? И все вытекающие последствия.

Мне уже невмоготу стоять. Ноги подкашиваются.

— Так что лечи как следует,— шепчет санитар.

— Ты скажи военврачу, чтобы медикаментов прислал,— отвечает фельдшер.— Что я могу делать с пустыми руками?.. Пойдемте,— говорит он мне.

У меня, наверно, вновь начинается бред. Мне чудится, будто мы входим в празднично убранную

крестьянскую избу. Перед темными образами в углу красновато теплится лампадка. Пол застлан пестрыми половиками. Кто-то невидимый совершает молитву... или это стон?

— У меня есть пара чистого белья. Переоденьтесь.— Фельдшер протягивает мне прохладный белый сверток.

Я переодеваюсь. Теперь я тоже белый. Мы вступаем в праздничный храм. Мы шествуем по нарядному ковру, мы медленно продвигаемся к светлому окошку.

— Параша у выхода,— предупреждает фельдшер.

Вдоль стен стоят двухъярусные койки. На них люди. Зачем они здесь?

— Ложитесь пока на верхнюю. Освободится место внизу, тогда переведу. Сможете залезть?

— Спасибо.— Я очень люблю этого человека, фельдшера.

Я всех сейчас люблю. Всех, всех людей.

Я ложусь на койку. Мне удивительно хорошо. Мне тепло и покойно... Своды раздвигаются. Надо мной глубокое небо. Лишь бы на меня опять не поползли тучи. Я так боюсь этих туч... Пожалуйста, не надо туч! Пожалуйста, не надо!

...Я теряю всякое представление о времени. Я иногда поднимаюсь, слезаю с койки — мне при этом кажется, что я вылезаю из вагонного окна и у меня длинные, как у обезьяны, руки,— я иду к параше, потом, раскачиваясь, снова взбираюсь на свое ложе. Порой в мое изголовье ставится баночка с кашей и кладется кусочек сахару. Баночку я прошу взять обратно — я не хочу каши, я только хочу воды. Я сосу сахар и запиваю его водой.

Я всех люблю. Мне постоянно тепло. Мне тяжело, что-то мешает мне, и все-таки мне хорошо. Я люблю свою койку, светлый квадрат окна и особенно руки, которые подают мне воду и сахар.

Не знаю, сколько проходит дней и ночей, прежде чем настает это. Это очень страшное. Я чувствую вдруг, что начинаю раздваиваться. Мне страшно. Мое «я» вдруг раскалывается и двоится. Одно «я» лежит на койке, другое «я» где-то в стороне и надо мной. Очень трудно удержать обе половины вместе, я борюсь изо всех сил, хватаю руками другую свою половину, стараясь удержать ее. Но она хочет оторваться от меня: она мое второе «я».

— Не отпущу, не отпущу! — кричу я.— Не отпущу!

Баночка с водой стучит о мои зубы. Делаю несколько глотков. Мои «я» соединяются. Но это лишь короткая передышка. Скоро опять завязывается отчаянная борьба.

— Не дам! — кричу я.— Не дам!..

Начинаю метаться по койке, ловя уходящую свою часть, задыхаюсь, теряю последние силы... Где я? Что со мной? Темный горячий клубок душит меня.

— Помогите мне! — кричу я.— Помоги-ите!..

Дует ветер. Прохладное, чистое облако. Чьи-то любящие руки поддерживают меня. Я глубоко вздыхаю, минута облегчения, и я перестаю вообще что-либо ощущать...

Я сплю, долго-долго сплю. Просыпаюсь, съедаю кашу, сахар — и снова сплю.

— Ну, как? — спрашивает меня фельдшер.— Полегче?

— Да. Спасибо.

— Теперь будете поправляться. Самое опасное перевалили.

Постепенно все становится на свои места... Я в плену, в Борисовском лагере, в тифозном изоляторе. Меня продал начпрод Рогач — он предатель и изменник Родины, а капитан Носов — очень порядочный человек. Немцы рвутся к Волге, но нам надо выстоять и надо не терять веры. А мне, кроме того, следует быть похитрее...

— Какое сегодня число? — спрашиваю я через несколько дней фельдшера.

— Двадцатое августа. Сегодня я переведу вас к выздоравливающим.

Значит, я лежу тут больше десяти дней... А что будет дальше? Кто сможет ответить на этот вопрос?

Я впервые выглядываю в окно и вижу за рядами колючей проволоки сосны, пожухлую траву и поблекшую, уже тронутую кое-где желтизной листву берез на косогоре.

4

Минует еще неделя. За мной являются двое полицаев и немец с винтовкой. Я прощаюсь с фельдшером и с его помощью выхожу из изолятора. Так как ноги пока не подчиняются мне, полицаи подхватывают меня под руки. Куда это они меня?

Мы проходим мимо лагерных ворот, пересекаем железнодорожное полотно. Мы идем по какой-то лесной дороге. Наконец впереди в просвете между деревьями вырисовываются сторожевые вышки нового лагеря.

— Куда вы меня тащите?

— На курорт,— отвечает один из полицаев.— На хороший германский курорт.

Они оставляют меня перед вахтой. Солдат с винтовкой что-то говорит часовому, и тот приказывает мне войти в этот новый лагерь. Через минуту меня берут под руки два других полицая и волокут дальше. Мы останавливаемся перед зеленым бараком, огороженным колючкой. Здесь у калитки дежурит еще один полицай.

— Что, словили рыбку? — усмехаясь, спрашивает он своих коллег.

Меня впускают за загородку.

— Эй, старшой! — орет дежурный полицай.— Пополнение!

Показывается невысокий, с ямкой на подбородке человек. Он в сапогах, в комсоставской гимнастерке, заправленной в брюки.

— Помогите... до двери,— прошу я его.

Он заводит меня в барак. Я ложусь на указанную мне пустую дощатую койку — они тут, как и в изоляторе, двухъярусные,— подкладываю под голову котелок, который подарил мне фельдшер. Я очень устал.

И вдруг я вижу комиссара своего полка Худякова... А может, это и не Худяков? Он поднимается с соседней койки... Неужели он? Неужели Худяков? Чувство, похожее на испуг, овладевает мной.

— Товарищ ко...— говорю я и спохватываюсь.— Михаил,— тихо зову я. Отчество Худякова вылетает у меня из памяти, но это сейчас не так важно.— Михаил!

Он вздрагивает. Смотрит на меня. Его лицо словно ссохлось, губы темные, нос будто крупнее.

— Ты? — Он подходит.— И ты тоже?

— Да.

Он волнуется, прикусывает губу, как тогда зимой при отступлении под Сычевкой.

— Ты ранен?

— Нет, я только что из лазарета, болел тифом.— «Как же он изменился!» — думаю я.— А вы?

— А почему ты здесь?

— Не знаю. А что здесь?

— Здесь пленные политработники... Как ты сюда попал?

Я отвечаю не сразу... Значит, немцы все-таки считают меня политруком... Слишком еще свежа в памяти сцена расстрела на поляне перед березовой рощей человека с красной звездой на рукаве, чтобы я мог спокойно отнестись к тому, что я в глазах немцев политрук.

— Вы помните начпрода Рогача?

— Да. А что? Он тоже в плену?

— Он донес, что я якобы был политруком и работал переводчиком в политотделе дивизии.

— Рогач?.. Такой старательный, дисциплинированный...— Худяков мучительно потирает лоб.

— Рогач,— говорю я.

— Поговорим об этом после,— тихо произносит Худяков.

Лежа на жесткой койке, я весь остаток дня присматриваюсь к людям. Первое впечатление таково, что военнопленные политработники просто не знают, что их ждет. Они заметно отличаются от тех пленных, с которыми я сталкивался раньше: выдержаннее, спокойнее и, обращаясь к старшим, употребляют слово «товарищ». Даже одежда у них опрятнее— я вижу, что кое-кто пришивает отлетевшие пуговицы. А главное, здесь не слышно подленьких разговоров о победоносном продвижении германских войск и нашем близком конце.

На другой день я без посторонней помощи выхожу на проверку. Нас пересчитывает во дворе перед бараком добродушного вида немец-ефрейтор. Нас человек пятьдесят. Есть молодые, лет по двадцать, есть старики, большинство же среднего возраста; все худые, но подтянутые — сразу видно, что военные. Мне как-то легче дышится здесь, хотя я и убежден, что рано или поздно нас расстреляют.

После обеда приводят новеньких. Среди них бросается в глаза человек с яркой рыжей бородой. Некоторые так и называют его — Борода. Вечером по случаю воскресенья нам выдают, кроме обычного куска эрзац-хлеба, еще по четверть литра жидкой мучной заболтки. Рыжебородый, стоя у деревянного бачка с небольшим излишком похлебки, солидно поглаживает усы.

— Старичку надо добавить,— убежденно говорит он нашему старшому.— Не обижайте старичка, грех.

Глаза у него молодые, жуликоватые, на лице ни единой морщинки. Ему, наверно, лет тридцать.

Перед отбоем мы с Худяковым гуляем во дворе. Вспоминаем фронт, полк, Симоненко, нашу трудную, но такую хорошую, как теперь кажется, былую жизнь. Во время окружения Худяков с группой бойцов пробивался к партизанам. Не удалось. Счастье еще, что на нем случайно оказалась красноармейская шинель. Партбилет, зашитый в подкладке брюк, он уничтожил уже в лагере, а удостоверение личности и прочие документы попали в руки немцев.

— Если меня расстреляют,— вдруг останавливаясь, говорит Худяков,— а ты уцелеешь и вернешься, сообщи, пожалуйста, моим родным... Я сделаю все, что смогу, чтобы тебя перевели отсюда.

5

Дни идут за днями, но ничего не меняется. Я по-прежнему среди политруков. Тут их становится все больше. Поговаривают об отправке в какой-то специальный лагерь.

...Из соседней комнаты выходят мои новые приятели — Виктор и Ираклий. Они зовут меня сыграть в домино. Четвертым они приглашают батальонного комиссара Зимодру.

Мы садимся за стол и принимаемся стучать. Но игра что-то не клеится.

— Надо бы сделать шахматы,— говорит Ираклий.

У него светло-карие глаза, с горбинкой нос (отец у него — грузин, мать — украинка). Ираклий — мастер на все руки: он искусно вырезает из дерева матрешек, вытачивает мундштуки, лепит из глины забавные фигурки божков и животных.

— Надо бы сделать самолет,— острит Виктор, синеглазый неунывающий одессит.

Оба они тоже причислены к политсоставу, хотя Ираклий только временно исполнял обязанности замполитрука, а Виктор и вовсе — летчик, сбитый при попытке доставить груз десантникам.

Зимодра зевает.

— Сделайте пока что из себя порядочных людей, черти сопливые.

Он говорит, растягивая слова, взгляд у него с ленцой и чуточку надменный.

Зимодра до войны был секретарем Мурманского горкома комсомола, а на фронте — комиссаром отдельного авиадесантного батальона... Короткие русые волосы его курчавятся, брови, как и у Ираклия, черные и крылатые.

— Навестим писателя? — помедлив, предлагает он мне.

Идем через короткий коридор в комнату, окна которой обращены к лесу. Сквозь окно за колючей проволокой виднеется часовой-автоматчик, дальше меж стволов желтеет полоса железнодорожной насыпи.

Илья Михайлович Соколов, он же Типот, московский литератор, лежит на животе и что-то мелко пишет карандашом в самодельном блокноте.

— Мы не помешали? — вежливо осведомляется Зимодра.

— Милости прошу,— отвечает Типот (он любит, чтобы его называли Типот: кажется, это его литературный псевдоним).

Он невысокий, большеголовый, смуглый. У него тонкий голос. Он прячет в нагрудный карман блокнот, из другого — вынимает трубку. Закуривает.

— Скажи мне, кудесник, любимец богов,— нараспев произносит Зимодра.

— Слушаю вас,— серьезно отвечает Типот.

— Что с нами будет? — спрашивает Зимодра.— Как твоя писательская интуиция?

— Мы превратимся в дым.— Типот выпускает изо рта сизый ядовитый клубочек.

— А вообще?

— А вообще в основном все будет, как и было. Люди будут рождаться, учиться, делать разные глупости, совершать подвиги и открытия, умирать. А потом все сначала... А по-твоему, как?

Зимодра тонко улыбается.

— После войны все будет по-другому. Умирать никто не будет.

— Живые и теперь не умирают.

— Вот именно. Молодец, старина!.. Сколько мы с тобой уже знакомы?

— Год и два месяца, старик...

Проходит еще неделя. Положение не меняется. Проходит месяц. Нас здесь уже около ста человек.

Стоит золотая осень. Светятся погожие дни. Легкий ветерок заносит к нам клейкую прозрачную паутину, а однажды я нахожу во дворе прилетевшие из-за колючки два багряных листка. Я часами простаи-

ваю на улице, наблюдая за тяжелыми составами, которые с грохотом катятся на восток — всё на восток... Мы ждем.

В середине октября как-то сразу настает осень. Резко холодает, дождит, быстро смеркается. Немцы будто забыли о нас. Правда, иногда нас выводят на работу. Под большой охраной мы ремонтируем дороги вокруг лагеря.

Я все лучше узнаю товарищей. Зимодра, Типот, Худяков, Виктор, Ираклий — это настоящие. И большинство пленных комиссаров и политруков настоящие люди. Большинство, но не все...

С наступлением сумерек и до отбоя у нас теперь часто устраиваются вечера устных рассказов. Старший политрук Костюшин очень интересно описывает технологию производства шоколадных конфет: он по гражданской специальности кондитер, работник прославленного «Моссельпрома».

Типот, посасывая пустую трубку, повествует о жизни великих писателей.

Зимодра с увлечением рассказывает, как ведется промысел в наших полярных морях.

— А я вам вот о чем поведаю, братцы,— объявляет раз Борода.— Беспартийных среди нас нет, так что, надеюсь, никаких тайн я не разглашу...

Смакуя подробности, он вспоминает о том, как брал взятки у председателя передового колхоза, как пьянствовал вместе с прокурором и гулял с районными активистками.

— Ну, было же так, правда? Чего греха таить! — с ухмылкой произносит он.

Кое-кто похихикивает.

— Мы люди свои, товарищи, можно сказать. Верно?

— Серый волк — тебе товарищ, в Брянском лесу,— резко отвечает из темноты Зимодра.

— Это кто такой? Кто?— обеспокоенно спрашивает Борода.

— Я вот сейчас встану и морду тебе набью,— заявляет Зимодра,— тогда узнаешь, кто!

— Ну, назовись... Давай подебатируем.

Но Зимодра больше не отзывается. По-моему, кто-то из соседей удерживает его...

И еще один день — пасмурный, холодный день конца октября. После утренней проверки дежурный полицай глумливо поздравляет нас с «победой». Как только что сообщило радио, германская армия якобы овладела Сталинградом и завершает окружение Москвы... Среди наших воцаряется подавленная тишина. Люди молча расходятся по своим местам.

Не грустят только Борода и его три дружка. Вчера их снова вызывал на беседу немецкий офицер. С шутками и прибаутками усаживаются они за стол и начинают «забивать козла». Я выхожу из барака.

По двору, засунув руки в карманы шинели, прогуливается Худяков. Он думает. В последнее время он совершенно замкнулся в себе и постоянно о чем-то думает.

— Давай побродим вместе,— заметив меня, говорит он. Взгляд его хмур и серьезен.— Ты знаешь, между прочим, почему у нас такой тяжелый провал на фронте?.. Мы наделали кучу ошибок. И самая большая — это тридцать седьмой год, несомненно. Мы потеряли много честных партийцев, в том числе и в армии, а такие прохвосты, как Борода или Рогач, остались. Мы сами себя ослабили — вот в чем дело... в чем наша трагедия.

— Что же, по-вашему, теперь победят нас?— напрямик спрашиваю я.

— Нет. Не победят. Когда народ полностью осознáет, чтó ему грозит, все переменится.

Я вижу на глазах Худякова слезы.

Днем в барак приходит холеный немецкий оберлейтенант. Нам приказывают построиться. Оберлейтенант выкликает по списку шесть человек. Среди них и Борода.

— Вот истинные патриоты своей родины,— на чистейшем русском языке говорит немец.

«Патриоты» прячут глаза. Они зачислены пропагандистами в армию изменников. Вскоре их уводят от нас.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

— Раз, два! Раз, два! В стороны, вместе, в стороны, вместе!..

Положив руки на бедра, мы делаем подскоки. Из наших ртов вылетают клубочки пара. Сквозь дверную щель снизу в вагон сочится желтый морозный свет.

— Хватит, согрелись,— говорит Ираклий.

— Кто согрелся, переходи на ходьбу. Остальные... раз, два! Раз, два!— Виктор легко подпрыгивает на своих длинных ногах, обутых в разбитые сапоги.

— Хватит,— говорю я и тоже останавливаюсь.

Стены вагона белые от плотного слоя инея. Мы словно в леднике. Окошко забито фанерой и перетянуто крест-накрест проволокой. Полутьма, и только снизу желтеет морозная полоска воздуха.

У двери, запертой снаружи на замок, приплясывает Васька. Щелкают по рельсам колеса, он в такт их ударам постукивает каблуками и мурлычет свою любимую песенку:

Марфуша все хлопочеть,
Марфуша замуж хочеть.
Марфуша будет ве-ерная жена...

Васька — моторист из Керчи. Он, как и Ираклий, десантник и тоже или замполитрука, или младший политрук, а по его собственному уверению — обыкновенный рядовой, которого подлюги продали за горсть махорки. В этом вагоне, похоже, мы все такие: здесь нас человек двадцать, заподозренных в принадлежности к политсоставу и теперь отделенных от настоящих комиссаров и политруков.

Васька коренаст, плечист, с толстой шеей, покрытой белыми пупырышками. Говорит он всегда охрипшим баском и часто шикарно сплевывает сквозь зубы. Он и сейчас плюет в морозную щель и подходит к нам.

— Ну что, хлопцы, может, споем?

— Марфушу?

— Нет, чего-нибудь для души... Из России увозят нас, вы чуете это? Понимаете — из России...

Ночью мы проехали Минск. Сегодня нас везут дальше на запад. Вероятно, мы уже где-то поблизости от нашей старой государственной границы.

Васька опускается перед Виктором на корточки.

— Так-то, Одесса-мама.

— Ладно, не трави,— говорит Виктор.— Давай, запевай.

— А что?

— Что хочешь. «Галю».

Ой, ты, Галя, Галя молодая,
Пидманули Галю, завлекли с собо-ю...—

хрипло, сильным басом поет Васька, потом матерно ругается: никто не подтягивает...

Попереду, попереду Дорошенко,
Попереду, попереду Дорошенко,
Что променяв жинку на тютун та люльку...—

тоскует Васькин бас, протестует, жалуется, но опять никто не поддерживает его.

Не поется.

— Зарядочку?— спустя минуту спрашивает Виктор.

Но и прыгать не хочется.

— Будем замерзать, как японские самураи,— решает Ираклий, утыкает нос в ворот шинели и, обхватив себя вперехлест руками, раскачивается из стороны в сторону.

Васька, отойдя к двери, вновь ругается нехорошими словами.

В середине дня поезд останавливается надолго. Мы слышим чужую, незнакомую речь проходящих мимо людей, вероятно, железнодорожных рабочих. Брякает, поворачиваясь, ключ в замке, громыхают железные засовы. Дверь отодвигается.

«Raus» («Выходи»)—приказывает старший конвоир.

Один за другим вылезаем из ледника. Строимся. На путях товарные и пассажирские вагоны, в воздухе нити заиндевевших проводов, за станцией в розовой морозной дымке большой город с высокими крышами, многочисленными башнями и шпилями.

Нас ведут прямо через пути на одну из узких улиц. Еще раз пересчитывают...

Впереди показывается мрачное здание, обнесенное каменной стеной. Глаза постепенно различают башенки с часовыми, зарешеченные окна, ворота и перед ними — полосатый шлагбаум и такую же полосатую будку с постовым, вооруженным винтовкой. Неужели нас туда?

Да, точно, ведут в этот каземат. Почему? Зачем?..

Доходим до шлагбаума. Старший конвоир предъявляет постовому сопроводительную бумагу. Тот нажимает на кнопку в стене. Шлагбаум поднимается. Затем медленно раздвигаются створы ворот.

2

Мы входим в каменный тюремный двор. Слева от нас ров с крутыми стенками, за ним — трехэтажный серый корпус. Через ров перекинут легкий мостик. Прямо — невысокое здание с большими окнами. Справа, видимо, хозяйственные помещения и кухня: пахнет горячей похлебкой...

Из здания напротив выходит толстый немец-офицер, за ним — высокий молодой человек в английской шинели. Старший конвоир, отдав честь офицеру, удаляется.

Офицер подходит к нам. На его лице с двойным подбородком довольная улыбка. Худощавый, чуть порозовевший от холода молодой человек очень оживлен. На белой нарукавной повязке у него слова «Dolmetscher»,— значит, он переводчик.

— Also...— произносит офицер.

— Итак...— с готовностью повторяет по-русски переводчик и говорит далее вслед за офицером:— Итак, милостивые государи, вы прибыли к нам. Мы рады. С нашей стороны вы встретите здесь полное понимание и соответствующую заботу. С вашей стороны, подчеркивает господин комендант (эти слова переводчик добавляет от себя), мы надеемся встретить дисциплинированность, дисциплинированность и еще раз дисциплинированность. Вот все, о чем я хотел бы пока уведомить вас, весьма уважаемые господа.

Комендант любезно улыбается. Переводчик тоже — у него полные губы и круглые карие глаза.

— Also,— заключает комендант.

— Итак, вам, конечно, все ясно,— говорит переводчик.

Многозначительное вступление. А дальше что?

Комендант уходит, показав нам широкую спину и гладкий, обтянутый зеленым сукном шинели зад. Переводчик остается.

— Между прочим, с вами разговаривал один из видных психологов Германии,— доверительно сообщает он.— Здесь вам будет неплохо... Вы политруки?

— Какие там политруки!..— отвечает за всех Васька.— Рядовые... есть и средние командиры. Только заподозренные.

— Ну, по мнению немецкого командования, это почти одно и то же. Теперь многое зависит от вас самих... Слева по одному за мной... марш!— командует переводчик и ведет нас направо к хозяйственным помещениям.

В длинном с цементным полом коридоре нам приказывают раздеться и сдать одежду в дезинфекционную камеру. Затем нам выдают по кусочку жесткого, как сухая глина, мыла, заводят в прохладную душевую.

— Психолог! — фыркает Васька.— Опыты, что ли, над нами собираются проделывать? А, Одесса-мама, как считаешь?

— Я — пожалуйста,— усмехается Виктор.— Всю жизнь мечтал...

Из душевой выбираемся через другие двери. Тут уже лежит сваленная в кучу наша одежда. Шагах в десяти от нее восседает на табурете немец в белом халате и тонких резиновых перчатках, рядом с ним— тот же переводчик.

— Подходите к нему, не стесняйтесь,— говорит он.— Евреи среди вас имеются?

Все молчат.

Немец в белом халате внимательно осматривает нас, голых, ниже пояса, потом заглядывает в лица, щупает нос, голову... Чудно́ и неловко. Зачем это?

— Jude? — вдруг настораживается немец.

— Еврей?— спрашивает переводчик.

— Я татарин,— отвечает один из наших,— мусульманин.

Немец достает из кармана рулетку и, встав, принимается измерять окружность черепа, длину носа, пристально вглядывается в глаза татарина. Потом пишет в блокноте какие-то формулы, что-то подсчитывает и надолго задумывается.

— Да-а,— хрипловато тянет Васька.

— Тш-ш!— шипит переводчик...— Следующий!

Татарин, шумно отдуваясь, бредет к груде одежды. Немец осматривает Ираклия, отпускает его и вдруг, взглянув на его затылок, кричит: «Zurück» — «Назад!»

— Jude? — спрашивает он Ираклия.

— Я наполовину грузин, наполовину украинец,— объясняет тот.

Но немец, видимо, не верит. Он ощупывает голову Ираклия, трогает нос, заглядывает в рот, опять пишет формулы и что-то подсчитывает...

— Следующий! — командует переводчик.

Когда эта дикая процедура заканчивается и мы одеваемся в нашу еще горячую, пахнущую чем-то удушливо-острым одежду, он ведет нас через мостик к серому трехэтажному корпусу. Мы поднимаемся на второй этаж. Нам отводят тесную комнату с узким, схваченным толстой железной решеткой окном. В комнате двухъярусные нары, возле двери стол, над ним — электрическая лампочка.

— Сейчас вам принесут суп,— говорит переводчик и, помедлив, спрашивает:— Москвичей нет?

Москвичей среди нас нет.

— А что же здесь все-таки — лагерь или тюрьма?— интересуется Виктор.

— Научно-исследовательский институт,— острит переводчик.— Лагерь, конечно... Еще какие вопросы?

— Как с харчишками?— спрашивает Васька.

— Соответственно.

— Не бьют?

— Не рекомендуется.

— Вы как дипломат,— ухмыляется Васька.

— Должность такая,— отвечает переводчик.— Работать пока не будете, выберите старшего, соблюдайте чистоту... Для начала все.

Вскоре после его ухода нам приносят баланду и пять кирпичиков хлеба. Каждый кирпичик на четверых, баланды по три четверти литра на брата. Мы трое — Виктор, Ираклий и я — залезаем на верхние нары. Васька пытается завести знакомство с рабочими кухни.

— Керченских не знаете?

— Вроде бы не попадалось.

— А мелитопольских?

— Запрещено нам разговаривать с вами,— хмуро признается один из рабочих.— Пошли, Степан.

— Подозрение не снято,— констатирует Васька.

3

Ранние декабрьские сумерки. Сегодня ровно год, как я ушел на войну. Хочется побыть одному и подумать.

Я прогуливаюсь вдоль корпуса. Морозно и ветрено. Тюремная стена освещена электрическими лампочками, но двор в полумраке. Возле мостика, переброшенного через ров, по одну сторону стоит Васька, по другую — полицай. Они изредка обмениваются короткими репликами.

Я хожу и думаю о том, что прошел всего год, а сколько событий совершилось на моих глазах, сколько людей — и хороших и плохих — повстречалось за это время... Интересно устроен человек. Никогда теперь я не перестану удивляться человеку.

...Из лагерной канцелярии показывается комендант-психолог в сопровождении высокого переводчика — его зовут Сергеем. Они поворачивают к нам. Полицай вытягивается и по-немецки щелкает каблуками. Васька вытаскивает руки из карманов. Комендант, перейдя мостик, останавливается возле Васьки.

— Почему не приветствуете?— слышу я голос Сергея: он переводит вопрос коменданта.

— А как я должен приветствовать его?— робея, спрашивает Васька.

Сергей переводит Васькины слова.

— По меньшей мере встать по стойке «смирно»,— говорит затем Сергей.

Комендант берет рукой в кожаной перчатке Ваську за подбородок, оттягивает кверху, всматривается в лицо и что-то говорит, что, я не могу разобрать. Потом отряхивает руки.

— Дегенерат,— громко переводит Сергей.— Характерный экземпляр восточноевропейского преступника.

Васька молчит. Переводчик справляется о его фамилии и делает какую-то пометку в блокноте.

Комендант идет в наш корпус. Замечает меня. Я стою около серой стены, думал, не обратит внимания.

— Давай сюда! — приказывает переводчик.

Подхожу. Комендант закуривает сигарету и подносит огонек зажигалки к моему лицу.

— Типичный большевистский выкормыш. Опасен,— заключает он по-немецки.

Сергей переводит и от себя добавляет:

— Не повезло тебе, парняга. Как фамилия?

Он снова что-то записывает в блокноте и бежит за комендантом, который уже скрывается за дверью.

Мы с Васькой направляемся следом. Наши строятся в шеренгу в коридоре перед входом в комнату. Нам с Васькой Сергей приказывает встать отдельно.

— Смирно!— командует он и вынимает из шинели блокнот.

Комендант подходит к левофланговому. Это длинный поджарый татарин, смуглый, с добрыми бараньими глазами.

— Коммунист,— заявляет комендант.—Магометанин. Лицемер.

Сергей переводит и, опять справившись о фамилии, записывает.

Вторым стоит Виктор.

— Комсомолец,— безапелляционно судит комендант.— Склонен к иронии. Опасен.

Сергей записывает.

— Большевик, явный политрук и фанатик.— Комендант медленно шествует вдоль строя.

— Кретин и потенции людоед,— говорит он.

— Слабохарактерный. Убеждений не имеет.

— Начинающий уголовник. Хитрый.

— Коммунист и большевик. Крайне опасен.

Очередь Ираклия. Я вижу, как напрягаются мускулы на его лице.

— Интеллигент. Чрезвычайно опасен.

Так, аттестуя каждого, комендант доходит до конца строя.

— Вольно! — произносит Сергей.

Комендант вновь, как и в день прибытия, обращается к нам с краткой речью, которую Сергей переводит целиком.

— Господа («Meine Herren»), у меня пока нет оснований быть недовольным вами. Я уверен, что и вы, в свою очередь, не можете пожаловаться на меня и на мой персонал. Мы здесь еще продлим наше знакомство, а теперь я разрешаю вам удалиться в ваши покои.

— Смирно! — выкрикивает Сергей.

Комендант поворачивается к выходу, переводчик спешит за ним.

— Разойдись! — говорит наш старший.

Виктор, Ираклий и я забираемся на нары. И хотя нам в общем не очень весело, начинаем хохотать...

Вот, оказывается, мы какие. Дегенераты, людоеды, уголовники и магометане. И сверх того почти все большевики и одновременно коммунисты, комсо-



мольцы, а также политруки и вместе с тем фанатики... Ну и ну, великая наука — психология! Ну и ну, господин ученый комендант Вильнюсского лагеря военнопленных!

Удивительно и другое: мы смеемся. Я уже забыл, когда смеялся последний раз. И никогда не думал, что здесь, в плену, буду смеяться.

К нам на нары влезает Васька.

— Вы объясните мне, хлопцы, почему я... как его... дегенерат.— Он по-серьезному удручен и расстроен.— Конечно, я не шибко грамотный, но разве на моей физии есть что-нибудь такое... как он сказал... востокоевропейско-преступное?

— Есть,— радуется Виктор.— Есть на твоей вывеске такое, знаешь ли, южнороссийско-босяцкое, такое типично портово-черноморское.

— А ну вас к етакой маме! — Васька сердится.— К вам, как к людям, а вы... Упекет он нас теперь, попомните мое слово. Ежели, конечно, не случится чуда.

Насчет «чуда» мы помалкиваем. До нас доходят слухи, что немцы завязли на Волге, а Москва все стоит и стоит, наша Москва. Но об этом вслух мы не говорим.

4

Квадратная комната с двумя узкими высокими окнами. В комнате прохладно и мрачновато. Под потолком вполнакала горит электрическая лампочка.

Мы сидим за столами. Перед нами обер-лейтенант, коротенький, желтый, морщинистый, как сморчок. По распоряжению коменданта он проводит с нами урок немецкого языка. Это, вероятно, какой-то новый психологический эксперимент, тем более замечательный, что наш учитель не знает ни слова по-русски, а большинство из нас, его учеников,— ни слова по-немецки.

Сцепив пальцы на животе, сморчок произносит первую вступительную фразу:

— Die deutsche Sprache ist eine harte Sprache (Немецкий язык — твердый язык).

При этом он изо всех сил пытается твердо выговорить букву «г», но у него не получается: он картавит.

Он спрашивает, поняли ли мы его.



— Я-а,— тянем мы.

Сморчок удовлетворен.

— Gut (Хорошо).

Он смотрит на часы и переходит к следующему разделу урока. Он объясняет, что нам необходимо запомнить восемь основных положений, регламентирующих человеческую жизнь, восемь «Ich muß» («Я должен»), а именно:

— Ich muß aufstehen (Я должен вставать).

Чтобы мы лучше усвоили эту истину, сморчок заставляет нас трижды повторять вместе с ним: «Ich muß aufstehen».

Поняли ли мы его? Да, конечно.

— Ich muß mich waschen (Я должен мыться),— провозглашает далее наш учитель.

Поразительное открытие!.. Я гляжу на склонного к иронии Виктора — он зажимает подрагивающие губы кулаком. Снова хором повторяем немецкую фразу — относительно того, что я должен мыться.

— Ich muß arbeiten (Я должен работать),— заявляет вслед за тем обер-лейтенант и, тревожась, справляется, понятно ли нам это.

Отвечаем без всякого энтузиазма:

— Я-а.

— Ich muß reinigen (Я должен наводить чистоту),— убежденно декларирует учитель.

Против чистоты мы ничего не имеем. Пожалуйста.

— Ich muß ruhen (Я должен отдыхать),— менее уверенно говорит он.

В том, что человек должен отдыхать, мы тоже не совсем уверены, но он не заставляет повторять: «Ich muß ruhen».

— Ich muß essen (Я должен есть),—скороговоркой выпаливает сморчок.

— Ich muß austreten (Я должен посетить уборную),— тут же бодро произносит он и считает необходимым обратить особое внимание на столь важный момент человеческого бытия. Мы трижды повторяем вместе с учителем: «Ich muß austreten».

— Ich muß schlafen (Я должен спать),— делится он с нами еще одним открытием.

Он опять смотрит на часы и начинает проверять, как мы усвоили урок.

«Что это — идиотизм, вырождение? — думаю я.— Может быть, лагерное начальство вообще не считает нас за людей?»

Мне больше не смешно. Я вдруг понимаю, что этот обер-лейтенант — мой личный враг, он наш общий враг, и таких, по-видимому, тысячи, готовых твердо осуществлять предначертания своего фюрера... Вот он, их «новый порядок», вот в миниатюре картина будущей жизни человека, которую они уготавливают нам!

В заключение урока обер-лейтенант посвящает несколько минут теоретическим рассуждениям. Ему известно, что в большинстве своем мы офицеры политической службы Красной Армии, да, но хорошо ли мы представляем себе, что такое политика?

— Политика — это страшно,— возвещает он.

— Политика — это кошмар,— подчеркивает он.

— Политика — это смерть,— пугает он нас.

Он сам когда-то командовал взводом солдат, расстреливавших коммунистов. Это, надо сказать, жутковато. Это как бред наяву. Он призывает нас отказаться в дальнейшей жизни от всякой политики...

Нет, не столь уж безобиден и глуп этот наставник. И не сморчок он, а маленькая ядовитая поганка!

Возвращаемся в свою комнату. Настроение отвратительное. Я подхожу к узкому крепостному окну. Оккупированный фашистами Вильнюс мигает редкими огоньками. Внизу за освещенной тюремной стеной темнеет полоса реки.

Если бы придумать такую катапульту, которая выбрасывала бы из окна прямо в реку!.. Я, наверно, согласился бы — пусть с большим риском,— чтобы меня вышвырнули первым. Уж лучше еще сто раз рискнуть жизнью, чем находиться во власти этих полуидиотов-полузверей. Я все равно убегу, лишь бы дождаться весны. Убегу, чтобы потом воевать с ними, с учеными людоедами и наставниками, и рассказывать о них людям.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

И снова вагон-ледник. Снова, чтобы согреться, подскоки на месте. И хриплый Васькин бас, затягивающий то «Галю», то «Казаки идуть». И ненависть и тоска оттого, что нас увозят все дальше от Родины.

Опять какая-то большая станция, нерусские дома, нерусская речь. Опять конвоиры, высокий забор из колючей проволоки, вышки с часовыми... После дезинфекции и душа мы получаем вместо наших ботинок и сапог долбленые деревянные колодки, затем нас под охраной ведут к длинной землянке, похожей на овощехранилище. Землянка обнесена еще одним колючим забором — это что-то вроде лагеря в лагере; у калитки топчется дежурный полицай.

Во дворе за загородкой нас ожидают два немца: офицер и унтер-офицер. Офицер — невысокий, очень прямой, щеголеватый, с маленьким фотоаппаратом на груди. Унтер — угрюмый, длинноносый, с сильно выступающим вперед подбородком.

— Живей, живей! — вдруг по-русски прикрикивает на нас офицер.

Мы входим во двор, подравниваемся. Офицер, достав из кармана бумагу, делает перекличку. Все целы.

— Будем знакомы,— говорит он.— Я зондерфюрер Мекке, ваш духовный отец. Унтер-офицер, которого вы перед собой видите,— шеф зондерблока. Любое его распоряжение — для вас закон. Ясно?

— Ясно,— отвечаем мы.

— А теперь марш в барак. Бего-ом!

Мы бежим в землянку. Внутри темно, пахнет плесенью и лежалой соломой. Слева и справа с низких нар свешиваются ноги в деревянных колодках.

— Упек нас психолог, кость ему в горло,— бормочет Васька.

Осматриваемся. На одном из скатов крыши виднеется четырехугольное окошко, от него на земляной пол падает серый столб света.

К нам подходит высокий человек в шинели.

— Здравствуйте. Я старший зондерблока. Размещайтесь на нарах у выхода, в середине все занято. Сколько вас?

— Восемнадцать,— отвечает Васька.

Двоих из нашей группы все-таки перевели в рабочую команду и оставили в Вильнюсе.

Мы занимаем место на нарах неподалеку от заиндевевшей двери.

— Никак наши? — внезапно слышу знакомый медлительный голос.

— Игнат! — восклицает Виктор.

С нар привстает Зимодра. На его шапке соломенная труха. Здороваемся.

— Вы, собственно, откуда взялись, подозрительные личности?

— А тебя как сюда угораздило? — спрашивает Ираклий.

— Да тут почти все наши из Борисова.

— И Худяков? — говорю я.

— И Худяков, и Костюшин, и Типот... А вы где были?

Рассказываем Зимодре о Вильнюсском лагере. Один за другим подходят наши товарищи по Борисову.

Крепко пожимаю руку Худякову.

— А это что за лагерь? — интересуется Васька.— Где мы, ежели это не военная тайна?

— Тайны нет,— нехотя произносит Зимодра.— Мы в Польше, в шталаге номер триста девятнадцать, к тому же в зондерблоке.

— А с кормежкой как?

— Отлично... Жив будешь, а любить не захочешь.

Вновь появляется высокий человек в шинели, здешний старший. Он просит прекратить беседу. Тут это запрещено.

— Есть, товарищ майор.— Зимодра, усмехнувшись, опять ложится на солому.

Я приглашаю к нам на нары Худякова. Он выглядит еще более убитым, чем в Борисове.

— В другой раз, после как-нибудь,— говорит он сухим, сонным голосом и плетется на свое место в середину землянки.

Скверно. Поистине, упек нас психолог. Впрочем, я уже начинаю привыкать к тому, что я политрук и что мне так или иначе придется разделить участь своих старших товарищей. Конечно, если не удастся бежать.

Томительно тянется время.

Животы наши подвело до предела: к обеду мы опоздали, а до выдачи хлеба надо ждать еще несколько часов. Может, поспать? Но спать не хочется.

Я придвигаюсь к Зимодре. Он лежит на спине с открытыми глазами — в шинели, в колодках, в шапке-ушанке на голове. Похоже, что он, как и Худяков, крайне подавлен.

— В чем дело, Игнат? Бьют здесь?

— Случается.— Он отвечает тихо, не поворачивая головы.— Шеф — зверюга, зондерфюрер, говорят, бывший разведчик-шпион и здесь шпионит за нами... А главное, отсюда уводят

— Куда?

— Болтают, что всех политруков, которые тут были до нас, пустили в расход.

— Зачем же везли нас в Польшу? Разве они не могли сделать это раньше?

— Кто их знает.— Зимодра перевертывается на живот, подпирается локтями.—А что на фронтах? Что под Сталинградом?

Рассказываю об окружении немецких армий. Он кое-что уже слышал. Я говорю, что за зиму немцев разобьют и будем свободны. Зимодра качает головой.

— За зиму не успеют. Слишком далеко они забрались. А вообще — здóрово... Значит, правду говорили кухонные рабочие.

— Насчет Сталинграда?

— Да, и насчет всего. Постреляют нас эти гады.

Он опускает лицо в трухлявую солому.

Паршивое дело, думаю я.

2

Глухая ночь. В землянке черно, как в могиле. Воздух спертый даже у двери. Мы лежим на правом боку, притиснутые друг к другу. Теперь я понимаю, почему здесь многие спят днем. Ночью, когда все в сборе, места на нарах не хватает и спать почти невозможно. И все-таки я сплю, точнее, дремлю, а еще точнее, пребываю в каком-то темном, тревожном полузабытьи.

— Не поджимай ноги, не поджимай!— истошно выкрикивает кто-то напротив.

— В ухо заработаешь, Пашка, не ворочайся,— раздается через некоторое время на нашей стороне.

Кто-то скрипит зубами и постанывает. Кто-то подавленно вздыхает. Кто-то тихо, яростно ругается.

— Рука-а!— жалуется кто-то поблизости.— Раненую ру-уку отлежал... Старшóй, а старшóй!

Потом тишина. Чернота, дурман. Я сплю. И вдруг:

— На-а левый бок!— Это командует старший.

Шумно поворачиваемся, притираемся друг к другу и опять как будто спим.

— На-а правый!— снова слышится голос старшего.

Вновь шум, шуршание соломы, стон и тихие ругательства.

И так всю ночь.

Рано утром скрипит дверь, струя ледяного воздуха бьет в ноги.

— Auf! Auf! — лает шеф.

— Подъем!— кричит старший.

Нас выпроваживают на улицу. Приказывают построиться. Шеф пересчитывает нас. Затем он берет шесть человек и отправляется на кухню за кофе. Мы должны дожидаться его, не выходя из строя.

Серый, холодный рассвет. Над внешним забором еще светятся лампочки — они все более тускнеют. Освещено и низкое барачное строение кухни слева от зондерблока...

Кто бы из нас год тому назад мог подумать, что в середине января 1943 года мы, командиры, политработники и бойцы Красной Армии, будем стоять под морозным небом где-то в Польше, в немецком штрафном лагере для военнопленных, окруженные рядами ржавой колючки, часовыми-пулеметчиками и предателями в форме и без формы, стоять и ждать, когда нам принесут теплое горьковатое пойло, именуемое кафе, пригодное, пожалуй, лишь для того, чтобы прополоскать наши пустые желудки. Мы были готовы ко многому: к вечной усталости, к страху, к боли от ран, даже к смерти в бою, но не к э т о м у. Плен казался чем-то немыслимым и невероятным; никакие уставы не предусматривали случая, когда раненые или просто окруженные и расстрелявшие патроны бойцы могут попасть в лапы врага. Что же им делать теперь, как вести себя?

Мы стоим и ждем. Поеживаемся от холода. Терпим.

Наконец приносят кофе. Получаем по четверть литра и заходим внутрь. Выпиваем на ходу и вновь забираемся на нары. Не успеваем еще согреться после часового стояния на морозе, как угрюмый шеф снова гонит нас вон.

— Raus! — кричит он.— Raus! Raus!

Не кричит, а лает. Что за манера объясняться по-собачьи!

Толкаясь в узкой двери, опять выбираемся наружу. Лампочки уже погашены: светло.

— Становись!— командует старший.

Строимся в колонну. Нас человек сто пятьдесят— больше роты.

— Marschieren! — приказывает шеф.

Начинаем маршировать. Старший идет сбоку мелкими шажками и подсчитывает ногу:

— Раз, два, три! Раз, два, три! Левое плечо вперед... арш!

Огибаем землянку, похожую на овощехранилище. Низкая крыша ее засыпана снегом. На нем — следы ног.

«Клац, клац, клац»,— хлопают наши колодки по утрамбованному снегу. Очень неудобно маршировать в деревянной долбленой обуви.

«Клац, клац, клац»...

Шеф цепко следит за нами. Старый подлый бюргер, злой длинноносый гном!

— Halt! (Стой!) — кричит он, подходит к нам и вытягивает из строя Ваську.

— Не сбиваться с ноги!— командует старший.— Раз, два, три! Левой! Левой!

Проделываем очередной круг.

— Halt!— опять орет шеф и вытягивает еще двоих.

Продолжаем старательно печатать шаг. Но шеф снова к кому-то придирается. Рядом с Васькой уже четверо.

— Стой!— вслед за шефом командует старший.— Напра...во!

Смотрим, как подлый немец заставляет наших товарищей взбираться на крышу и сбегать по другому скату. Он гоняет их минут десять, потом разрешает вернуться в строй.

— Петь,— по-русски приказывает шеф.— Если сафтра фойна...

Мы снова маршируем вокруг землянки. Высокий осипший голос запевает:

Если завтра война, если враг нападет,
Если темная сила нагрянет, —
Как один человек, весь советский народ
За свободную Родину встанет!

Мы подхватываем:

На земле, в небесах и на море
Наш напев и могуч и суров:
Если завтра война,
Если завтра в поход,—
Будь сегодня к походу готов!

Что это — глумление? Конечно, глумление, но странно другое: как фашист не боится советской песни? Он стоит, выставив ногу в начищенном башмаке, и преспокойно крутит сигарету.

— Раз, два, три! Раз, два, три! — в паузе командует старший.

А запевала уже поет:

Мы войны не хотим,
Но себя защитим —
Оборону крепим мы недаром.
И на вражьей земле мы врага разгромим
Малой кровью, могучим ударом!

Нет, не такой мы представляли себе будущую войну. Совсем не такой. Даже враги издали нам казались другими: слабее и, может быть, примитивнее.

На земле, в небесах и на море
Наш напев и могуч и суров:
Если завтра война,
Если завтра в поход,—
Будь сегодня к походу готов!

Шеф взмахивает перчаткой.

— Стой!— командует старший.— Разойдись!

В землянку пока не пускают. Там убираются дневальные. Разыскиваю Худякова. Здороваюсь с Костюшиным и Типотом.

Худякова трудно узнать. Шинель висит на нем, как на палке. Ноги обмотаны грязными тряпками. На одной колодке — трещина, он ее перетянул веревкой. Торчат острые скулы, кожа шелушится, в глазах — скорбь.

Я предлагаю ему походить.

— Знаешь,— говорит он,— натер ноги. Давай лучше постоим.

— У вас что-нибудь болит?

— Ничего... кроме сердца. Только сердце.— Он оглядывается по сторонам и горячо шепчет:— Правду надо было говорить народу, пусть горькую, но правду. На правде воспитывать бойцов, а не так... как с этой малой кровью, на вражьей земле.— Он умолкает, потом, подняв голову, строго смотрит на меня.— Пойми правильно. Я и себя тоже критикую, я ведь тоже в какой-то мере в ответе за все, что с нами произошло. Мы начали поправлять свои ошибки, но какой ценой, какой ценой!..

— Вы насчет Сталинграда знаете?— спрашиваю я, желая приободрить его.

Глаза Худякова оживают.

— Да, спасибо. Да ты не беспокойся за меня, я как-нибудь справлюсь. Пошли в барак, кажется, стали пускать.

3

Немцы в трауре. Немцы вывесили с черной каймой флаги...

Весь февраль, словно в отместку за свое поражение на Волге, здешние немцы с особенным усердием измываются над нами. Метут метели, мокрый снег лепит лицо, а мы с утра до вечера маршируем и поем. От деревянных колодок кровавые мозоли на ногах, кружится от голода и слабости голова, а мы маршируем и поем. Злой гном, наш шеф, придумывает новое наказание для провинившихся: приказывает садиться в снег и сидеть, не шевелясь, пять минут. Кто не выдерживает — лишается обеда. «Раз, два, три!» — хрипло командует старший. «Если завтра война»,— кажется, в тысячный раз ослабевшим, дрожащим голосом запевает запевала. «Клац, клац, клац», хлопают наши колодки... Тяжело, но и радость на сердце: наконец-то большой перелом в войне.

И скоро повсюду повернут их и погонят безостановочно — в этом теперь никто не сомневается.

Однажды под вечер в зондерблок приводят новенького: худого, старого, в огромных, слетающих с ног колодках. Зимодра, подойдя, обнимает его. Оказывается, это наш старший по Борисову, полковой комиссар, которого немцы возили в Берлин, пытаясь переманить на свою сторону. Не вышло! Молодец, товарищ полковой комиссар!

Утром его вызывают к зондерфюреру. Потом по очереди вызывают Зимодру, Худякова, Костюшина. День спустя к зондерфюреру ведут Типота, Виктора, Ираклия, Ваську и остальных наших (Ираклий потом рассказывает мне, что на каждого из нас заводится учетная карточка — вероятно, перед отправкой в какой-то новый лагерь). В числе последних вызывают и меня.

Длинноносый шеф указывает мне на дверь, куда я должен войти. Стучусь.



— Herein!— слышится изнутри.

Вхожу. Чистая, светлая комната. За письменным столом сидит одетый с иголочки зондерфюрер Мекке.

— Фамилия?

Он помечает в карточке мою фамилию, затем перебирает тонкими пальцами картонные папки, видимо, наши личные дела.

— Можете сесть.

Сажусь на табурет, стоящий посреди комнаты. Страшновато почему-то. Мекке читает бумаги, усмехается.

— Вот почему вы сразу отозвались на мое «herein»... Вы были переводчиком в штабе полка?

— Да.

— Прекрасно.—Он откладывает папку в сторону.— Значит, если верить вам и бывшему вашему комиссару полка Худякову, вы не политрук?

— Нет. Когда я поступил в армию, мне было семнадцать лет, я еще не мог быть политруком.

— Я знаю ваши порядки, можете не разъяснять.— Мекке вооружается карандашом и листком чистой бумаги.— Отвечайте быстро: сколько вам лет и месяцев сейчас?

— Восемнадцать лет и четыре месяца.

— Дата рождения?

— Четырнадцатое октября тысяча девятьсот двадцать четвертого года.

— В каком году пошли в школу? Быстро, быстро!

— В тридцать первом. Мне не было еще семи лет.

— В каком закончили?

— В сорок первом.

— Сколько было лет?

— Шестнадцать.

— Когда поступили в армию?

— Четырнадцатого декабря сорок первого. Мне было семнадцать лет и два месяца.

Мекке отчеркивает карандашом свои вычисления.

— Stimmt, как говорится. Но это еще не все. Как вы семнадцати лет попали в армию?

— Пошел добровольно.

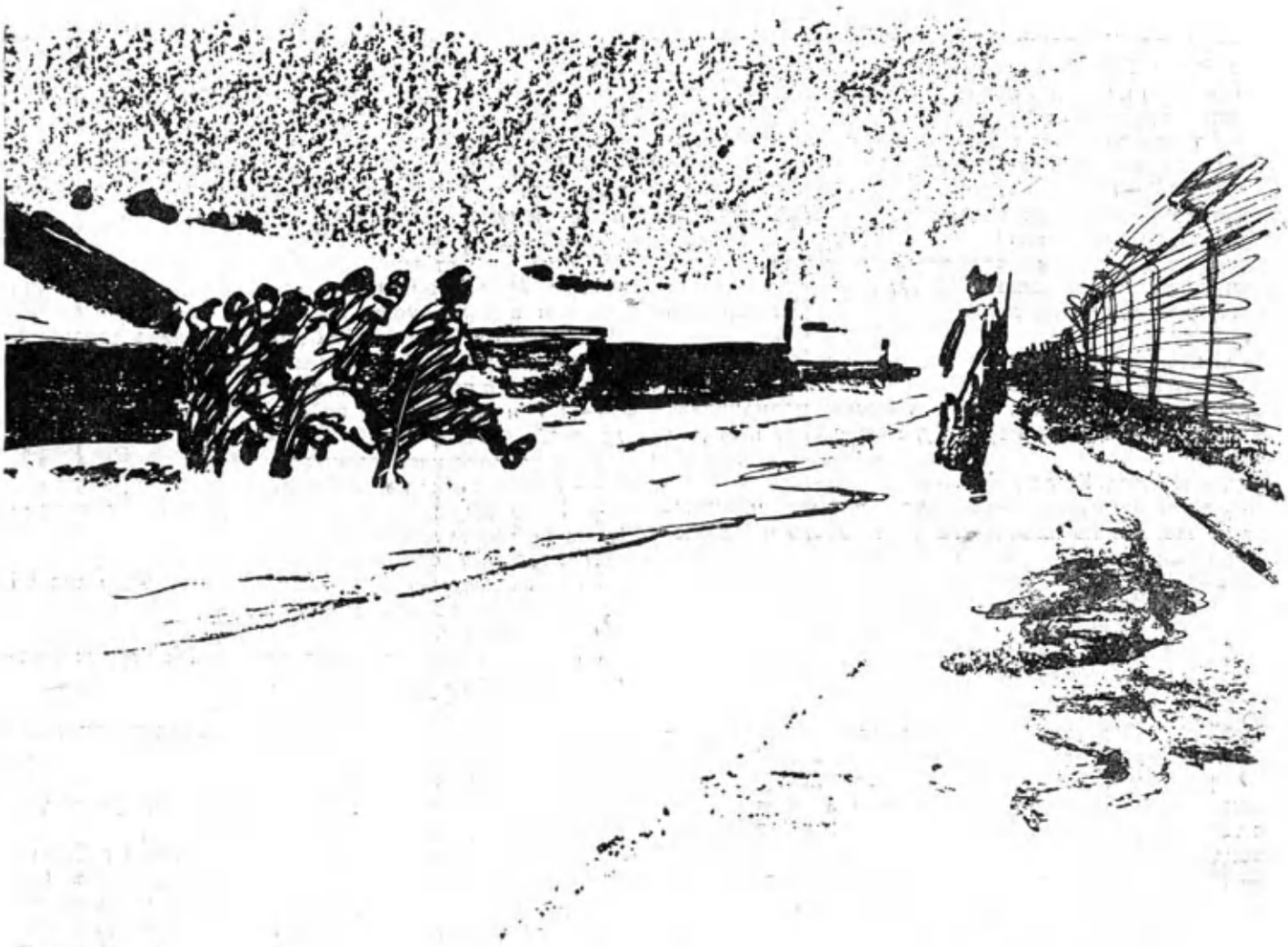
— Что, комсомолец?

— Да.

— Гм... Похвальная прямота. У нас здесь редко сознаются в своей принадлежности к комсомолу, то бишь к Всесоюзному ленинскому коммунистическому союзу молодежи, не так ли? Хотя мне-то отлично известно, что восемьдесят процентов вашей молодежи — комсомольцы. Еще несколько вопросов. Отвечайте быстро. Последняя занимаемая должность в армии?

— Заведующий делопроизводством в штабе дивизии.

— Звание?



— Старший...— Я прикусываю язык. Поймал меня, сволочь.

Мекке насмешливо кривит губы.

— Старший политрук? Старший лейтенант?.. Не верю.

— Старший сержант,— помедлив, говорю я.— В Смоленске я зарегистрировался как техник-интендант второго ранга.

— С какой целью?

— Хотелось встретить кого-нибудь из командиров-сослуживцев.

— Понятно. Рассчитывал найти знакомых, стакнуться и бежать. Правда? Ну, ну, договаривайте до конца!

— Нет, — твердо отвечаю я.— О побеге я не думал.

Ишь чего захотел, проклятый шпион!

— Ладно,— говорит Мекке.— Где вы изучали немецкий язык? В спецшколе НКВД?

— В обыкновенной школе, в десятилетке. Кроме того, я брал частные уроки.

Мекке закуривает сигарету.

— И последний, так сказать, деликатный вопрос... Что бы вы сделали со мной, если бы я попал к вам в плен? — Его холодные, колючие глаза, кажется, прощупывают меня.

— Ну, как и любого немецкого офицера...— подумав, отвечаю я, но он прерывает:

— Расстреляли бы?

— Отправили бы в лагерь для военнопленных.

— Вы пешка,—внезапно раздраженно говорит Мекке.— Возможно, я переведу вас в блок для рядовых. Можете идти.

Вернувшись в зондерблок, я подробно рассказываю Худякову о своем разговоре с Мекке.

— Тебя обязательно выпустят отсюда,— говорит Худяков.— Только будь поосторожнее с незнакомыми. И вообще научись не показывать, когда это нужно, своих чувств — прибереги для настоящего дела.

— Постараюсь...

Тянутся снежные, вьюжные дни. Заканчивается февраль. Настает март. Мы все чаще поглядываем на восток, откуда вместе с солнцем приходят к нам новые надежды. В лагере упорно бродят слухи, что немцы медленно отступают по всему фронту. С мыслями о фронте мы теперь укладываемся на свои треклятые тесные нары, с этими мыслями пробуждаемся по утрам.

Очередное серенькое утро.

— Auf! Auf! — лает угрюмый шеф.

— Подъем! — кричит старший.

Шеф зовет его к себе и что-то быстро говорит ему.

— Всем выходить с вещами! — дрогнувшим голосом командует старший.

Неприятно сжимается сердце. Товарищи берут вещмешки, противогазные сумки — у кого что есть, я цепляю к крючку шинели котелок, и мы выходим. Выстраиваемся в колонну на дороге за оградой. Нас окружают конвоиры. Появляется Мекке в сопровождении нескольких офицеров.

Мекке достает из портфеля бумагу и начинает выкликать людей по фамилии в алфавитном порядке. Вызванные строятся отдельно.

Уходят полковой комиссар, Зимодра, наш стар-

ший — майор, Костюшин, Васька. Потом Виктор, Соколов-Типот, Худяков, Ираклий... Через четверть часа на дороге напротив зондерблока нас остается всего человек двадцать.

Мекке прячет список и вместе с другими офицерами направляется в здание комендатуры.

— Марш! — командует начальник конвоя.

Колонна отобранных трогается. Даже не удалось попрощаться с друзьями!

Нашей группе приказывают повернуться кругом. Немец-ефрейтор и полицай ведут нас мимо кухни к серому дощатому бараку, огороженному новеньким колючим забором.

— С новосельем вас, землячки,— улыбается полицай, закрывая за нами калитку.

Ефрейтор с красным, пьяным лицом размышляет с минуту, затем, сняв перчатку, показывает нам два пальца.

— Zwei Mann. Kafee holen.

— За кофеем. Двух,— переводит полицай и указывает на меня и на плечистого синеглазого человека.

4

Мой новый приятель и напарник Саша Затеев — лейтенант-танкист. Он из Ельни. В плен попал раненный летом 1942 года. В лазарете для военнопленных кто-то сболтнул, что он коммунист, и с тех пор вот уже полгода он мается по карцерам и зондерблокам.

— Понимаешь, как получается,— печально говорит он мне,— ежели ты не подхалимничаешь и вообще стараешься держаться как-то по-человечески, моментально подозрение: коммунист, мол... Ну, что ты будешь делать?

— Слушай, Саша,— говорю я,— а тебе не кажется, что тут есть своя закономерность? То, что всех наиболее честных людей они считают коммунистами,— это ведь, по существу, здóрово!

— Может, и так.— Он смотрит в барачное окошко, и вдруг на его лице изображается беспокойство.— Мюллер идет.

Мы слезаем с нар. В барак заходит наш новый шеф, ефрейтор.

— Ахтунг! — командует Затеев.

Он по нашему общему желанию исполняет обязанности старшего группы. Слезают с нар и остальные товарищи.

— Gleich kommen Zugänge,— говорит шеф Затееву.

Тот не понимает и вопросительно взглядывает на меня.

— Сейчас приведут новеньких,— вполголоса переводу я ему.

— Гут,— отвечает немцу Затеев.

Пополнение поступает сразу после обеда. Новоприбывших человек восемьдесят. Среди них выделяется высокий, сухощавый человек с очень бледным, бескровным лицом. Я замечаю, что другие пленные разговаривают с ним с некоторой почтительностью.

В бараке делается тесно и шумно. Нас, «старичков», засыпают обычными вопросами: как здесь кормят, не бьют ли, что это за лагерь? Мы, в свою очередь, интересуемся, откуда их привезли и что слышно нового о фронтах.

Дня через три, обратив внимание на то, что я помогаю Затееву объясняться с шефом, высокий, сухощавый человек приветливо подзывает меня к себе.

— Залезайте к нам,— говорит он, подвигаясь на нарах...

Он чисто побрит, виднеется белая полоска подзоротничка.

Я взбираюсь на нары.

— Товарищ старший батальонный комиссар,— обращается к сухощавому один из его соседей,— я пойду покурю у выхода.

— Идите.

«Значит, он старший батальонный комиссар»,— думаю я. Мне очень нравится, что его называют по званию: видимо, тоже настоящие люди.

— Давно в плену? — так же приветливо спрашивает меня старший батальонный комиссар.

— Семь с половиной месяцев.

— Ну и как, конца войны будете дожидаться в лагере?

Вопрос меня настораживает.

— Хотелось бы не в лагере.

— Надо вырываться отсюда,— тихо говорит он.— Что вы об этом мыслите?

Я невольно оглядываюсь.

— А почему вы так прямо спрашиваете меня об этом? Разве вы знаете меня?

Он улыбается.

— А вас очень нетрудно понять. Вы хороший советский парень. Что еще надо?

Я чувствую себя обезоруженным.

— Постарайтесь узнать у шефа, сколько времени будут держать нас в этой клетке.

— Есть,— отвечаю я.

Он подает мне руку. Она большая, и крепкая, и, по-моему, надежная рука.

Еще через несколько дней перед самым отбоем в зондерблок приходят три немецких солдата. Они хотят побеседовать с одним из политруков. Старший батальонный комиссар вновь подзывает меня к себе.

Немцы сообщают, что их должны отправить на фронт. Воевать особой охоты у них нет, и вот они решили посоветоваться, как быть.

— Сдавайтесь в плен,— говорит старший батальонный комиссар, и я перевожу его слова на немецкий язык.

— А как русские обращаются с пленными? — интересуется один из солдат.

— Не так, как вы... Немецкие пленные, например, получают у нас такой же паек, как наши военнослужащие,— объясняет старший батальонный комиссар.

Солдаты задают еще несколько вопросов, потом благодарят и уходят.

Проходит неделя, прежде чем мне представляется удобный случай поговорить с Мюллером. Мы относим пустые бачки на кухню, и на обратном пути я специально поотстаю от товарищей.

— Господин шеф, скоро кончится война? — по-немецки спрашиваю я.

— Война — дерьмо,— заявляет Мюллер. Он, как всегда, навеселе.— Война — свинство. У меня сын пропал без вести на войне.

— На востоке?

— На востоке.

— Может быть, он в плену?

— Плен — дерьмо,— убежденно говорит Мюллер.— Раньше пленных обменивали, не то что теперь.

— Обменяют на нас.

— Только не на вас. Вам, парни, будет капут. Только молчи.

— Когда?

— Когда наберут комплект.

Возвратившись в зондерблок, украдкой передаю свой разговор с шефом старшему батальонному ко-

миссару. Он молча кивает, а затем долго совещается со своими товарищами.

В первых числах апреля, около полуночи, до нас доносится беспорядочная стрельба. Утром дежурный полицай, скаля зубы, говорит, что поляци-партизаны угнали со станции грузовик с боеприпасами.

— Куда угнали? — как бы между прочим справляется Затеев.

— Ма-алчать! — прикрикивает на него полицай.— Зараз достанешь по морде.— Помолчав и подумав, все-таки отвечает: — В лес, на Буг. Куда же еще?

Два дня спустя, уже под утро, снова слышим близкую стрельбу. Завывает сирена: очевидно, лагерный гарнизон поднимают по тревоге. Мы лежим взволнованные и настороженные. Может, партизаны замышляют налет на лагерь, чтобы освободить нас?

Чуть свет в барак неожиданно является Мюллер. Вопреки обычаю он трезв и мрачен.

— Alles raus! (Все на выход!) — приказывает он.— Alles!

И опять, как в марте, мы строимся в колонну. Опять зондерфюрер Мекке вызывает по списку. Опять, окруженные конвоем, уходят куда-то в неизвестность наши товарищи. Уходит и старший батальонный комиссар.

Не успели партизаны. Не успел, наверно, и старший батальонный комиссар осуществить какой-то свой план.

В зондерблоке вновь остаются «подозрительные»: командиры, обвиняемые в том, что они коммунисты, и рядовые — бывшие разведчики и те, кто пытался бежать из плена.

Дни становятся все продолжительнее и теплее. Все выше и ярче солнце, короче ночь. Теперь мы часами просиживаем возле барака, наблюдая через проволоку за тем, как во дворе соседнего блока играют в футбол пленные английские летчики.

— Ничего у них житуха,— ворчит Лешка Толкачев.— Письма и посылки из дому получают, жалованье им идет, чины тоже вроде присваивают.

Толкачев — старший лейтенант, горьковчанин. У него зоркие серые глаза и глубокий шрам на скуле. Он любит рассматривать его в осколке зеркальца, трогает пальцем, потом уголком белой тряпицы чистит золотую коронку-фикс.

— Тут как-то дежурный полицай рассказывал, что эти англичане совершили по два-три побега, причем двигались на восток, к нашей линии фронта,— говорит Затеев.— Поэтому их и засадили в штрафной лагерь.

— Вот и я говорю, что ничего у них житуха, даже в штрафном лагере.— Толкачев шумно вздыхает.— Только как волка ни корми, он все в лес глядит.

Затеев коротко усмехается.

— Потому нас и не кормят.

Лес от нас приблизительно в километре. В последнее время мы особенно часто поглядываем в ту сторону. Мы все еще не решаемся открыться друг другу до конца, но я уверен, что каждый из нас думает об одном и том же: как прорваться через эту колючку в лес.

5

Сияет солнце. Небо очень высокое и светлое. Теплынь.

После очередного пополнения нас опять человек семьдесят, и все мы во дворе зондерблока. Сегодня Первомай. Настроение приподнятое. Наши мысли сейчас устремлены далеко на восток, туда, к Красной площади, где покоится прах великого Ленина, где — в тот самый момент, когда мы стоим здесь, оцепленные фашистской колючей проволокой, — четко маршируют наши войска на военном параде. Милая Родина, ты жива, ты борешься, и ты побеждаешь, а это ведь главное! Пусть сегодня мы оторваны от тебя нашим несчастьем и сотнями километров пути — сердцем своим, всеми помыслами своими мы с тобой.

Мы стоим перед бараком и смотрим на восток. Мы стоим в положении «смирно» и молча — это наша безмолвная демонстрация. А на нас смотрят часовые-пулеметчики с вышек, за нами пристально следят дежурный полицай и солдат с винтовкой, поставленный сторожить зондерблок по случаю праздника. Смотрят на нас и пленные английские летчики и наши военнопленные-инвалиды, занимающие два барака наискось от зондерблока.

В лагере тишина. Начинается смена караулов — значит, уже одиннадцать. Сейчас в Москве на Красной площади заканчивается военный парад.

— Вольно! — произносит кто-то за моей спиной.

Мы покидаем наши символические посты и начинаем прогуливаться вокруг барака.

Я хожу вместе с Толкачевым. Мы с ним теперь близкие друзья. Толкачев поделился со мной своим замыслом. Он считает, что мы должны силой прорваться из лагеря. Ночью во время воздушной тревоги, когда в лагере выключают свет, надо бесшумно снять полицая, незаметно подползти к внешним рядам заграждения, потом быстро закидать его шинелями, плащ-палатками, и, перебравшись через проволоку, бежать к партизанам в лес. Конечно, немцы откроют огонь, и, возможно, многие погибнут. Но другого пути нет. И я согласен с Толкачевым. Мы обязаны рассматривать себя как боевую единицу, попавшую во вражеское кольцо. Война продолжается, продолжается, собственно, и то окружение, в котором мы очутились летом прошлого года. Нам надо сделать последний рывок. Но поддержат ли нас остальные товарищи?

— Сегодня после проверки я разговаривал кое с кем,— негромко говорит мне Толкачев.— Идея нравится, но ребята того мнения, что надо как-то снять еще часового с угловой вышки. Если бы раздобыть хоть одну паршивую гранату!

У торца барака, обращенного в сторону английского блока, мы останавливаемся. Мы видим, что группа англичан рассаживается полукругом, в руках у них музыкальные инструменты: труба, аккордеон, кларнет... Несколько человек издали приветствуют нас по-антифашистски — вскинутым к плечу кулаком.

Неожиданно мы слышим знакомую вещь. Или это галлюцинация слуха? Англичане играют «Москву майскую».

Утро красит нежным светом
Стены древнего Кремля.
Просыпается с рассветом
Вся советская земля.

Любимая песня моего детства!.. Мы снова замираем. Мы видим, что англичане, прогуливающиеся в своей загородке, тоже останавливаются, вытягиваются, смотрят на нас и в то же время на восток, в сторону нашей Родины. Так они выражают нам свою солидарность. Молодцы англичане! Если бы они только не тянули со вторым фронтом.

А оркестр уже выводит мелодию припева, и я тихонько подпеваю:

Кипучая,
Могучая,

Никем не победимая,
Страна моя,
Москва моя,
Ты самая любимая!

Рядом с музыкантами показывается новая группа пленных англичан. Они вдруг приближаются к нашему забору и перебрасывают через него пакеты. Затеев вскрывает один из них — в нем печенье, сигареты, сушеные фрукты.

— Прекратить! — орет дежурный полицай.

Солдат подбегает к английскому блоку, угрожающе щелкая затвором. Затеев, торопливо подобрав пакеты, поспешно скрывается в бараке.

Откуда-то выскакивает Мекке, как всегда, щеголеватый и злой. Он кричит нам:

— Если вы посмеете ответить им, я прикажу закидать зондерблок гранатами!

Он энергичным шагом направляется к англичанам. Но те успевают доиграть «Москву майскую» до конца.

Жаль, что мы не сможем ответить нашим союзникам хорошей песней, с Мекке шутки плохи: он действительно может приказать закидать нас гранатами.

— Гляди! — говорит Толкачев и кивает на блок инвалидов.

Я поворачиваю голову. Худые, заморенные люди выстраиваются в две шеренги. Некоторые на костылях, кое у кого болтаются пустые рукава.

Перед строем появляется бородатый человек на клюшке. Он взмахивает палкой, и мы слышим, как дружно, сильными, грубыми голосами запевают инвалиды:

Броня крепка, и танки наши быстры,
И люди наши мужества полны,
В строю стоят советские танкисты,
Своей великой Родины сыны!

Озноб восторга пробирает меня. А я, дурак, еще когда-то сомневался в них, в своих товарищах по несчастью, думал, что голод и издевательства надломили их и они больше не способны ни к какой борьбе.

Нет, не животные мы, и нет такой силы, которая превратила бы нас в жизотных!..

Лагерь, кажется, цепенеет. Цепенеют от растерянности часовые на вышках, полицаи, солдат с винтовкой, стерегущий нас. Цепенеет от страха и неожиданности зондерфюрер: он явно ошеломлен — я вижу его застывшую фигуру на полпути к блоку инвалидов. Цепенеют от восхищения многие англичане. Замираем от чувства глубокой благодарности и любви к нашим товарищам мы, обитатели зондерблока: коммунисты и комсомольцы, бойцы, командиры и политработники — выявленные и невыявленные.

А калеки-пленные с прекрасными, одухотворенными лицами продолжают:

Гремя огнем, сверкая блеском стали,
Пойдут машины в яростный поход...

Крикни кто-нибудь сейчас: «Вперед, за Родину!» — и мы с голыми руками бросимся на колючую проволоку, на вышки, на охранников. Ну, крикни же кто-нибудь! Ну!

Я чувствую, что меня больше ничто не страшит; в эту минуту я понимаю людей, закрывающих своим телом вражескую амбразуру,— сейчас у меня на душе то же, что было в рощице, когда нас окружили немецкие автоматчики и когда у меня вдруг совершенно пропал страх и я почувствовал, что меня невозможно убить.

Никто не подает команды в атаку. Песня заканчивается. Молча я ухожу в барак, ложусь на нары, закрываюсь с головой шинелью. Затеев сует мне полгалеты и сухую сладкую ягодку — моя доля от подарка англичан.

Наутро в зондерблок приводят бородатого человека на клюшке. Потом — еще одного инвалида. Наши жмут им руки, благодарят. Бородатого зовут Громов, его товарища — Недоткин. Они держатся с нами просто и дружелюбно.

После обеда Громова вызывают на допрос. Вечером его опять тащат к зондерфюреру. На следующий день — снова. Проходит неделя, и одним светлым майским вечером Громов возвращается к нам с допроса, сопровождаемый самим зондерфюрером и шефом.

— Achtung! — выкрикивает Мюллер.

Мы соскакиваем с нар, становимся по стойке «смирно». У Мекке на губах язвительная усмешка.

— Позвольте, дорогие товарищи, представить вам вашего коллегу... Алексей Иванович Муругов, бывший прокурор города Москвы, а в войну — дивизионный прокурор, коммунист, депутат и прочая и прочая... Пожалуйста, Алексей Иванович,— кривя губы, добавляет Мекке,— теперь вы можете спокойненько отдыхать.

Громов-Муругов, тяжело припадая на клюшку, направляется на свое место.

— Это что, правда? — спрашивают его.

— Правда,— подавленно отвечает он.

Мекке уходит. Муругов ложится. Тем же вечером Толкачев перебирается со своими вещами на нары к Муругову. Они долго о чем-то шепчутся.

Ночью мы опять слышим близкую стрельбу. Пулеметчик с вышки дает короткую очередь по зондерблоку. Когда наступает рассвет, мы видим пробоины в крыше, а попозднее находим сплющенную пулю на железном листе возле печки.

После завтрака — все того же теплого горьковатого пойла, «кафе»,— Толкачев зовет меня на улицу.

— Как бы ты посмотрел на такое дело? — говорит он, когда мы уединяемся.— Кому-то из нас надо попытаться немедля бежать, сперва кому-то одному, чтобы найти партизан и сообщить им о Муругове и о других наших старших товарищах... Пусть партизаны ударят по вышкам и подгонят поближе какую-нибудь повозку. Надо спасать Муругова любой ценой. Понимаешь?

— Да.— Чувствую, что по моему телу ползут мурашки.— Понимаю, Леша. Я тоже думал об этом. Я попытаюсь.

Легко сказать — попытаюсь! После первомайских волнений в лагере зондерблок охраняют два вооруженных винтовками солдата и два полицая. На каждой стороне забора по охраннику. К тому же отныне нам запрещено выходить после отбоя из барака даже в уборную. Нас уведомили, что часовые будут стрелять без предупреждения.

— У тебя есть уже какой-нибудь конкретный план? — спрашивает Толкачев.

— Да, есть.

Хорошо, что товарищи доверяют мне столь опасное дело. Я ловкий и еще довольно сильный, я невысокий, неширокий в плечах — мне легко пролезть сквозь колючку; я знаю немецкий — это тоже может пригодиться; наконец, как всякий северянин, я хорошо ориентируюсь в лесу. Выбор правильный.

Рассказываю Толкачеву, как, по-моему, можно было бы бежать одному. Мы обсуждаем подробности больше часа.

Следующим вечером Толкачев просит меня по-



дойти к Муругову. Тот ждет меня в противоположном от выхода конце барака. У него крупные глаза, спокойное, немного отекшее лицо.

— У меня к вам личная просьба,— шепчет он, взяв меня под руку.— Если доберетесь до наших, передайте, что меня выдал капитан Дзюбенко, одиннадцатого года рождения, уроженец Винницкой области. И еще, пожалуйста, мой домашний адрес: Москва, Лихов переулок... Запомните?

— Запомню.

Муругов пожимает мне руку повыше локтя и сразу уходит. Я забираюсь на свое место у окна и с помощью Толкачева начинаю кроить из отпоротых рукавов его телогрейки чувяки — мягкие матерчатые сапоги.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

Шестнадцатое мая 1943 года. Я стою в уборной и через щели между рассохшимися досками стены наблюдаю за охранниками. Я подолгу стою здесь каждый вечер, уже четвертый вечер подряд. И сегодня стою уже долго — с полчаса, наверно. И завтра, может быть, буду стоять и послезавтра, пока не настанет удобный момент. У меня на ногах чувяки, гимнастерка заправлена в брюки, на голове буденовка, в кармане самодельный нож. Я слежу главным образом за высоким солдатом с винтовкой, охраняющим ту часть колючего забора, возле которой расположена уборная. Если он в течение ближайших пятнадцати минут не отойдет куда-нибудь, то мне опять придется возвращаться в барак ни с чем. Я должен успеть все сделать до без четверти девять — это крайний срок: в девять начинается смена караула. Отойди, солдат, отойди поговорить с другим часовым или куда-нибудь еще!..

Напротив входа в уборную в колючей ограде есть лазейка. Я почти целую неделю проделывал ее: подойду к забору, сорву травинку и поверну железный усик, скрепляющий колючую проволоку крест-накрест, часа через два снова подойду и поверну. И так каждый день по нескольку раз: сорву травинку и быстро поверну усик. Теперь усики болтаются на проволоке — я сумею проскочить в окошко, в эту лазейку.

А за лазейкой — зигзагообразная противоосколочная щель в земле. Туда прячутся во время воздушной тревоги охранники. Щель тянется метров на двадцать в сторону кухни. А там, где щель кончается, там бурьян. Бурьяном зарос весь пустырь вплоть до внешних рядов заграждения.

Я вижу, что солдат достает сигарету — высокий солдат с узким клинообразным лицом. Его штык розово отсвечивает в последних лучах солнца. Наступают зыбкие вечерние сумерки — это тоже учтено. Над внешним забором зажигаются электрические лампочки, и их свет, смешиваясь со слабеющим светом неба, создает тревожную игру теней и полутеней; цвет предметов больше неразличим — различимы только полутона. Все учтено, все, все!

У солдата не з а ж и г а е т с я зажигалка. Он щелкает и щелкает крышечкой, трясет ее, согревает дыханием — з а ж и г а л к а н е з а ж и г а е т с я. У меня начинает сильно колотиться сердце. Сейчас все произойдет, сейчас — я предчувствую...

Солдат оглядывает пустой двор зондерблока и направляется к дежурному полицаю у калитки. Он шагает длинными шагами. У меня такое ощущение, будто я должен прыгать в ледяную воду или куда-то еще, куда-то прыгать, туда, откуда наверняка возврата не будет. Ломай, ломай же скорее себя!

И я ломаю. Как и тогда, в рощице. Я полуоткрываю дверь уборной и, испытывая ужас от того, что́ я делаю, руками вперед бросаюсь в лазейку. Колючки рвут гимнастерку до самого тела, но я проскакиваю. Я съезжаю головой вниз в противоосколочную щель и прислушиваюсь. Я слышу сумасшедший стук своего сердца. Я напрягаю слух — наверху все тихо. Я ползу по дну щели в конец ее. Терпко и как-то холодновато и влажно пахнет землей. Наверху все тихо. Кажется, никто не заметил. Ну, конечно, никто, а то уже подняли бы тревогу.

Теперь спокойствие. Теперь главное — спокойствие. Теперь я должен дождаться, когда от комендатуры по направлению к кухне пойдет развод немцев: в девять они меняют караулы. В ту минуту, когда часовой будет подниматься на вышку, мне надо проползти по бурьяну к внешнему заграждению. А когда он залезет и еще не успеет оглядеться, я проползу под нижним рядом проволоки и спрячусь под стогом сена, стоящим рядом с заграждением. Потом все будет проще.

Главное — спокойствие, теперь главное — спокойствие. Я прислушиваюсь. Мне кажется, что я слышу чьи-то шаги. Кажется, уже начинается смена караула. Пора...

Я приподнимаю голову — сверху по откосу скатывается камешек. Слава богу, это только камешек. Я приподнимаю голову и вдруг вижу толстые запыленные сапоги. В ту же секунду я вижу глаза полицая — светлые и испуганные. Он останавливается прямо надо мной. Я гляжу прямо в его глаза. Это не наш полицай, не из тех, кто охраняет зондерблок. Неужели попался? Неужели все?

— Шо смотришь, вылазь,— с дрожащей усмешкой говорит он мне, но не очень громко.

— Слушай,— говорю я и сам слышу свой голос,— слушай, ты же русский, уйди, сейчас будет смена постов, никто не узнает.

— Хотишь, чтоб и меня расстреляли? — отвечает он тревожно и вдруг кричит: — Постен! Постен!

Не кричи, друг, не выдавай меня, не кричи, сволочь, не кричи, миленький: сейчас меня убьют! Не кричи, изменник, подлец! Не кричи, не кричи!

— Постен! — кричит полицай, весь белый.

Я поднимаюсь на ноги. Щель в этом месте мне по грудь. Вижу все, как во сне, и все сразу: и пустой двор зондерблока, и длинную фигуру солдата с винтовкой наперевес, и синевато мерцающий штык его, и бегущих ко мне других солдат со стороны кухни. Я слышу немецкие крики с двух сторон и крик полицая. Затем я снова вижу клинообразное перекошенное лицо длинного солдата и на уровне его глаз плоский широкий штык. Сейчас он приколет меня к земляной стенке («...бабочку булавкой»,— мелькает где-то в подсознании). Я поплотнее упираюсь спиной в стенку, я еще успеваю заметить взмыленного унтера с раскрытым ртом, я зажмуриваюсь. Сейчас...

Меня хватают чьи-то железные лапы и вытаскивают из щели. Меня швыряют на землю, пинают сапогами — это совсем не больно. Меня бьют в грудь, в лицо, в живот — только бы не в живот... Тупые, дребезжащие удары по голове — совсем не больно. Удары в нос, в зубы — все не больно, совсем не больно. Это ничего.

Я выплевываю кровь и встаю, но тут же почему-то падаю. Ноги они мне, что ли, перебили? Один немец

кричит: «Schießen» («Стрелять»),— другой кричит: «Nein!» Он прав, этот второй немец: в меня не надо стрелять. Пусть уж лучше бьют: это не больно.

Немцы кричат, попутно колотят меня сапогами и прикладами и все не могут решить, стрелять или не стрелять. Конечно, не стрелять, не надо стрелять.

Прибегает еще один немец — с металлической бляхой на груди. Крики на момент смолкают и опять разгораются. Я слышу слова «политрук», «зондерблок», «допросить» — «untersuchen». Меня снова хватают железные лапы и куда-то тащат. И вновь пинают и дребезжаще колотят по голове, и по лицу, и в грудь.

2

Меня втаскивают в какую-то высокую полутемную комнату. Я вижу круглое бабье лицо переводчика-немца — он бывал у нас в зондерблоке,— он безбородый, с писклявым голосом, как евнух, спокойный, с конфузливой улыбкой. Я вижу рослого фельдфебеля, начальника караула, и его жесткие сверкающие сапоги — он расхаживает взад и вперед по комнате. Я вижу какие-то двери, несколько закрытых дверей, зажженный карбидный фонарь, бросающий сбоку желтую полосу света. Я стою у входа, у деревянного косяка и дрожу. Я никак не могу справиться с противной, прохватывающей меня насквозь дрожью.

Жесткие сапоги меряют широкими шагами комнату. Круглое безбородое лицо печально улыбается. Они чего-то ждут. Желтеет полоска света от карбидного фонаря. И я жду. Я жду самого ужасного. Только бы не дрожать.

Почему они со мной не разговаривают? Почему ничего не спрашивают? Почему конфузливо улыбается бабье лицо? Что сейчас будет?

Я слышу возбужденные голоса и топот ног за дверью, возле которой стою. Я немножко отодвигаюсь и нащупываю спиной стену. Теперь у меня дрожат только ноги в коленях. Что сейчас будет?

Распахивается дверь, и порог переступает огромных размеров немец — в фуражке, в перчатках, с револьвером на поясе. У него массивная спина, брюки галифе, поскрипывающие сапоги. Начальник караула щелкает каблуками. Переводчик тоже щелкает каблуками. Следом входит зондерфюрер Мекке.

— Где он? (Wo ist er?) — отрывисто спрашивает огромный немец.

— Здесь, господин комендант. Вот он, господин комендант.— Начальник караула, вытянув руку, указывает на меня.

Огромный немец — это, наверно, и есть господин комендант — оборачивается. Я вижу тонкое лицо в пенсне на носу. Мои ноги дрожат.

— Почему он не расстрелян? — Голос возбужденный, резкий; наверно, то, что я сделал, для него большая неприятность. Он сказал, кажется, почему я не расстрелян? Не расстрелян? «Warum ist er nicht erschossen?» — сказал он. Значит, меня надо было расстрелять?.. Меня трясет, но все еще как-то не верится в конец.

Начальник караула вновь щелкает каблуками.

— Господин комендант, в зоне «А» расстреливать запрещено.

— В таком случае отведите его в зону «Б» и расстреляйте немедленно! — быстро, возбужденно приказывает комендант.



— ...er versteht deutsch,— долетает до меня писклявый голос переводчика...

Меня — расстрелять. Меня именно. Немедленно... Чепуха какая-то!

— Сколько тебе лет? (Wie alt bist du?) — зачем-то спрашивает меня этот человек в пенсне.

— Восемнадцать,— зачем-то отвечаю я.

— Почему бежал? Закончится война, мы обменяем пленных, и ты мог бы вернуться домой, а теперь я должен тебя расстрелять,— говорит огромный человек передо мной.

И я сейчас ему скажу. Мне, видимо, нечего больше терять. И я скажу. Только не знаю, как лучше — в имперфекте или в перфекте. Нет, надо в перфекте — в прошедшей определенной форме. Уже в перфекте. Меня уже почти не трясет. Фраза хорошо складывается в голове.

— Ich habe meine Pflicht vor dem Vaterland erfüllt [1],— отвечаю я и радуюсь, что так отвечаю, я понимаю, что хорошо отвечаю. Я, наверно, уже подготовился к концу.

Огромный немец в пенсне — комендант лагеря — отступает от меня на несколько шагов. Настает тишина. Комендант опять подходит, наклоняется, заглядывая мне в лицо, снимает пенсне и вновь сажает на нос. Все молчат. Он снова отходит, и я вдруг слышу его глухо вздрагивающий голос:

— Отведите его в карцер и дайте ему хлеба.

Это меня?.. Не может быть. Этого не может быть. Не может быть.

Начальник караула в третий раз щелкает каблуками и открывает рядом со мной дверь.

...Я лежу на узком дощатом топчане в карцере. Абсолютная темнота кругом. Чернота. Холодная каменная стена сбоку. Я лежу на спине, скрестив руки на груди.

Я не верю этому огромному немцу, коменданту лагеря. Меня все равно расстреляют. Расстреливают всегда на рассвете. Комендант просто обманывает меня...

Не дали же мне хлеба? Почему они не дали мне хлеба? Они не выполнили приказа коменданта. Они обманывают меня...

Это очень трудно — переходить от жизни к смерти и снова — от смерти к жизни. Я забываюсь в коротком сне, но тут же просыпаюсь от внутреннего толчка: расстреляют.

Я стараюсь думать о Родине, но воображение рисует только какие-то солнечные поля, очень много знакомых лиц, и я мысленно обращаюсь к ним: «Придите, отомстите за меня».

Засыпаю. Толчок. Расстреляют... Я крепче сжимаю руки... Не удалось. Не удалось бежать, добраться до партизан, помочь Муругову и всем товарищам. Не удалось...

А нельзя ли бежать отсюда, из карцера? Сейчас, немедленно, пока не наступил рассвет?..

Снаружи все тихо. Сбоку холодная каменная стена. Прямо дверь — ее в темноте не видно, видна лишь желтая дырочка, это замочная скважина.

Я потихоньку поднимаюсь и бесшумно крадусь к двери. Осторожно трогаю ее, щупаю, нажимаю на нее — ну, конечно, смешно, если бы дверь оставили незапертой. Окон в карцере нет. Я снова ложусь на топчан.

Толчок. Просыпаюсь. Расстреляют...

Вместо желтой дырочки в двери — уже голубая, потом она делается розовой, потом через некоторое время ярко-розовой, от нее протягивается к кирпичному полу серебряный лучик света.

Скоро все свершится. Я, наверно, умру хорошо. Это все-таки радостно понимать, что ты умрешь хорошо.

Я слышу железное постукивание ключа в замочной скважине. Вскакиваю с топчана. Под ногами деревянные колодки с матерчатым верхом. Откуда они тут? Я надеваю их. Медленно открывается дверь, и в солнце, в голубоватом краешке неба показываются двое: немец-унтер и молодой белокурый начальник лагерной полиции — его фамилия Кунц.

Он входит. Несколько секунд разглядывает меня. Затем совершенно обыкновенным тоном спрашивает:

— Ты что же подводишь моих полицаев?

Его вопрос поражает меня. Разве важно это?

Мелькает сапог — я от удара в живот опрокидываюсь на топчан. Кунц хватает слетевшую с моей ноги колодку и начинает с остервенением бить меня. Я прикрываюсь руками — боюсь, что проломит голову. Он бросает колодку на пол и, как ни в чем не бывало, снова совершенно обыкновенным голосом говорит:

— Давай выходи.

Унтер безучастно глядит на нас с улицы. Я надеваю колодки и выхожу.

Меня приводят в здание комендатуры и оставляют одного в высокой комнате со множеством дверей. По-видимому, это вчерашняя комната. Кунц скрывается за дверью, которая прямо напротив меня. Минуту спустя дверь отворяется, и я вижу Мекке. Кунц уходит. Мекке приказывает мне войти в его кабинет. Я захожу и вижу переводчика с бабьим лицом. Он сидит на табурете у стены.

— Так вот какой ты, герой! — со злой усмешкой говорит Мекке.— А я ведь тебя, идиота, собирался перевести в рабочую команду.

— Да, да,— со смущенной улыбкой подтверждает переводчик.

Мекке берет со стола металлическую линейку.

— Кто с тобой еще хотел бежать? Отвечай!

— Я один.

— Врешь! — взвизгивает Мекке и бьет линейкой меня по лицу.— Я все знаю, что у вас творится. Все! Кто?

Снова удар линейкой. Удар обжигает, но терпимо.

— Я один.

Мекке наступает сапогом на пальцы моих ног, спрятанные под матерчатым верхом колодок, давит на них — это очень больно, но еще терпимо.

— Отвечай! Отвечай!

— Я один.

Он бьет металлической линейкой — она посвистывает, упруго изгибается и обжигает лицо, но еще терпимо. Почему он бьет меня линейкой?

— Отвечай! Кто еще?

— Я один.

— Неправда! — пищит перезодчик.

С застенчивой улыбкой на круглом лице он встает с табурета и ударяет меня ребром ладони по горлу. Этого я от него никак не ожидал! Проклятый евнух!

За моей спиной хлопает дверь. Мекке и переводчик вытягиваются и щелкают каблуками. Краем глаза вижу витой серебряный погон, огромную серо-зеленую грудь с орденской ленточкой.

— Сейчас прибудут представители гестапо,— говорит уже знакомый глуховатый голос коменданта.— Выведите его.

Переводчик выводит меня из кабинета и ставит у наружной двери, как вчера. Значит, комендант не обманул. Расскажи кому-нибудь об этом — и не поверят. Хороший комендант. Разве такие бывают?.. Расстреляют меня все-таки или не расстреляют?

В комнату мимо меня проходят два офицера в галстуках и с портфелями. Это, наверное, и есть представители гестапо. А зачем еще гестапо? Они без стука растворяют дверь в кабинет Мекке. Я вижу, как они по-фашистски вскидывают руки. Потом дверь за ними закрывается. Расстреляют меня или не расстреляют?

Евнух-переводчик выталкивает меня в коридор. Расстреляют или не расстреляют? У выхода на солнечном крыльце дежурит полицай. Может быть, спросить его? Переводчик смотрит на меня печальными глазами. Его спросить?

— Хороший комендант,— говорю я.

— Господин комендант — полковник,— говорит переводчик.

— Меня расстреляют?

---

[1] Я выполнил свой долг перед Родиной.

Переводчик отворачивается и не отвечает.

Примерно через полчаса мимо нас проходят гестаповцы с портфелями. Переводчик и дежурный полицай мгновенно вытягиваются и щелкают каблуками. Почему они все время щелкают каблуками? Гестаповцы садятся в легковую автомашину, она тотчас вздрагивает и, урча, трогается с места, оставив в воздухе голубой клочок дыма. Расстреляют или нет?

Появляется Мекке с красным, злым лицом. Он молча сует мне засохшую, в трещинках, пайку хлеба.

— В карцер его,— приказывает он полицаю.

Не расстреляют, не расстреляют, ликую я. Дали хлеба и в карцер,— значит, не расстреляют.

3

Опять лежу на топчане. В голове все тот же неотвязчивый вопрос: расстреляют или нет? Если комендант настоял на своем, то не расстреляют. Если настояли на своем гестаповцы, то расстреляют. Я почему-то убежден, что гестаповцы добивались того, чтобы меня расстрелять тут же в лагере, а комендант был против.

Так или иначе я, вероятно, смертник или кандидат в смертники... А что такое смерть? Я задумываюсь над этим, и, странно, я, кажется, вдруг перестаю понимать, что это такое. Наверно, очень глупо, но я сейчас не знаю, что такое смерть. Это что-то противоестественное, ненормальное, неправильное, несправедливое, это то, когда ты перестаешь быть, но и это, я чувствую, еще не все, и я не знаю. Я только знаю, что если все-таки будут расстреливать меня, то мне надо умереть как следует, как подобает советскому человеку и комсомольцу,— это я знаю.

Гремит ключ в замке, раскрывается тяжелая дверь. В косом вечернем солнце я вижу немолодого унтерофицера в полной боевой выкладке. Он протягивает мне котелок с обеденной похлебкой — мой котелок, из зондерблока. Я стоя съедаю похлебку и гляжу на унтера, который, не закрывая двери, ждет меня.

— Собирайся с вещами,— по-немецки говорит он.

Цепляю котелок к поясу.

— Я готов.

Выхожу из карцера.

— Прямо,— говорит унтер.

Я иду к перекрестку дорог, и чем ближе, тем непослушнее ноги. Если унтер скажет «направо», то, значит, меня снова водворят в зондерблок: он отсюда с правой стороны; если скажет «налево» — налево дорога уходит к лагерным воротам и дальше на пустырь,— значит, мне будет конец.

Такое ощущение бывает во сне: надо идти или бежать, но ноги, как ватные...

— Налево! — приказывает унтер.

Значит, на пустырь...

Мы медленно проходим мимо вахты — я вижу, что солдаты, прекратив галдеж, показывают пальцем на меня, и это почему-то приятно мне, выходим через ворота из лагеря и идем вдоль колючего забора по сухой тропке к пустырю.

И вдруг я вспоминаю, что у меня в кармане нож. Мой самодельный нож, отточенный на куске кирпича и обмотанный тряпкой. Охранники в суматохе даже забыли обыскать меня. Я не буду покорно смотреть в зрачок винтовки, ожидая, когда он выстрелит. Я буду драться. Пусть он убьет меня в драке — это легче. Я успею дотянуться до кармана: руки мои опущены. Только отойдем подальше от ворот.

— Вы расстреливать меня? — не останавливаясь и лишь полуобернув голову, спрашиваю унтера по-немецки. Я знаю, охранники обычно не делают большого секрета из того, что они намереваются расстреливать.

Унтер идет за мной шагах в пяти, в семи. Винтовка у него за плечом. Это мне удобно, может, ударив его ножом, я еще сумею бежать и скрыться.

— Нет, не расстреливать,— слышу я спокойный хрипловатый голос.— Видишь, юноша (Siehst du, Junge), когда ловят пленного, пытавшегося бежать из лагеря, его сажают в зондерблок; а ты бежал из зондерблока. Я веду тебя в тюрьму.

Значит, еще не конец. Пусть тюрьма. Это еще не конец. Я чувствую по голосу немца, что он не обманывает, и мне радостно.

— Направо! — приказывает он.

Мы переходим железнодорожные пути, шагаем вдоль высокой каменной стены и останавливаемся возле окованной железом двери. Унтер трогает белую пуговку звонка. Дверь полуотворяется, а потом распахивается настежь.

Унтер сдает меня здоровенному охраннику с черными петлицами на мундире. Тот расписывается в получении, затем ударом кулака сшибает с моей головы буденовку. Очевидно, в эту тюрьму, как в храм, надо входить с обнаженной головой.

Меня отводят в подвал и запирают в темной, до отказа набитой людьми камере.

Вот я и в тюрьме. Не в бывшей тюрьме, как в Вильнюсе, а в настоящей. Сейчас поздний вечер 17 мая 1943 года. Я стою в совершенно темной, тесной камере, среди совершенно чужих — я не слышу вокруг ни одного русского слова — людей-арестантов, в тюрьме, в польском городе Хелм, оккупированном немцами. Я советский военнопленный, старший сержант Красной Армии, меня хотели расстрелять за то, что я пытался бежать из лагеря, чтобы связаться с партизанами. Неужели это я? Я, которого в детстве дразнили «цыганенком» и «сухим бесом»? Я, мечтавший учиться на литературно-критическом отделении института журналистики? Я, столько раз огорчавший маму своим плохим поведением в школе и радовавший ее и отца отличными отметками?..

Я стою в камере у самой двери, незнакомые нерусские люди тоже стоят, плотно прижатые друг к другу, и вдруг мне становится жутко. Что это за тюрьма? Почему мы здесь стоим? Сколько мы будем так стоять? Что с нами собираются делать?

А может, мы все смертники? Может, на рассвете нас выгонят в тюремный двор и расстреляют? Наверно, это так и есть. Гестаповцы добились моего перевода в тюрьму, чтобы здесь убить меня. Комендант в порыве какого-то малопонятного великодушия сохранил мне жизнь там, в лагере, но здесь, в тюрьме, он уже не хозяин. Здесь командуют гестаповцы. Что же делать?.. Ноют от усталости ноги, ноют плечи, грудь, голова, руки, истоптанные и исхлестанные охранниками. Упираясь спиной в гладкую железную дверь, я съезжаю вниз на корточки и ложусь на каменный пол, вытянувшись в струнку. Деревянные колодки я кладу под голову, буденовку — под правый бок, чтобы не застудить его. Я буду спать, что бы ни случилось, говорю я себе.

Ночью сквозь сон слышу пьяные выкрики гестаповцев, грохот выстрела, крики моих товарищей по камере, но я не пробуждаюсь — не могу пробудиться. Я слышу стон, вздохи, сдавленный шепот и, кажется, молитву, но я сплю. Я смертельно устал. А что такое в конце концов смерть? Люди сами придумывают себе страхи. Смерть — это только прекращение всех мук. Ничего страшного на свете нет. Смерть — это лишь длинный сон, и я больше не боюсь ее.

Утром нас гонят в душевую. Приказывают раздеться у одной двери, а выводят после мытья через другую. Я навсегда расстаюсь со своей буденовкой и с ножом. Жалко. Жалко и старенькую, разодранную гимнастерку. Мне кидают в лицо жесткое тюремное белье и тюремную одежду — серую куртку и брюки. Когда заканчиваем одеваться, нас разводят по камерам. Вместе с молодым скуластеньким поляком я попадаю в камеру номер одиннадцать — в «целле эльф» — на третьем этаже.

Как только за нами запирается дверь, старожилы камеры окружают нас.

— Кто ты естэсь? — спрашивают скуластенького.

У того на глазах слезы. Он всхлипывает и, жалуясь, рассказывает о себе. Насколько я могу понять, его посадили за то, что он продал кому-то курицу, а это немцами запрещено.

— А, шмукляж! — заключает один из старожилов, тоже молодой поляк, светлоглазый, горбоносый, с красивым, несколько хищным лицом.— А ты? Ты русский? — обращается он ко мне.— За что ты есть арестованный?

Говорю, что я старший сержант и посажен сюда за побег из лагеря.

— О, старший сэржант. Хорошо!.. Естэм старший целли, Тадек.— Он протягивает мне руку.— Ты, старший сэржант, имеешь свое место тут.

Он показывает на свободный кусочек пола возле топчана, накрытого домашним одеялом.

— Ты, шмукляж...— И Тадек что-то говорит быстро и недружелюбно по-польски, я понимаю только, что он отводит скуластенькому место у двери.

Я сажусь к стене. Под потолком оконце с толстой решеткой. Виден лоскуток блеклого голубого неба.

Проходит несколько дней, и я чувствую себя тоже старожилом.

Слева от меня, в углу, пожилой, рыжеватый, с бледным, изможденным лицом пан Владек. Он сносно говорит по-русски. Пан Владек сообщает мне, что он был солдатом царской армии в первую мировую войну, но ему удалось дезертировать. Кажется, он гордится тем, что ему удалось дезертировать. Он желчный, нервный и открыто бранит немцев за то, что они скверно кормят в тюрьме, и бранит партизан, которые, по его словам, удобно устроились в лесу, «жрут швиниву» и не думают освобождать его, пана Владека, из неволи.

По правую сторону от меня — место коренастого человека средних лет. Все его зовут «сóлтесом» — старостой. Немцы обвиняют его в том, что он якобы помогал партизанам. Солтес тоже знает русский язык, но разговаривает со мной по-русски изредка и украдкой.

Напротив, у другой стены, вытянув хромую ногу, сидит высокий старик с печальными, всегда красноватыми от слез глазами — Станúслав. Он часто вспоминает свою «жóну», смотрит на зарешеченный квадратик неба и плачет.

Рядом со Станиславом, ближе к двери, скуластенький «шмукляж»; одно место у той стены занимает железная параша, закрытая крышкой.

В центре камеры на топчане возлегают старший «целли» Тадек и его друг Мáрьян, тоже молодой парень, белозубый и добродушный на вид; он почему-то постоянно носит на голове носовой платок с завязанными уголками.

Примерно через неделю, в середине дня, вдруг распахивается дверь, и мы видим приземистого, с засученными рукавами и с черной волосатой грудью гестаповца. Тадек выкрикивает:

— Achtung!

Мы вскакиваем, вытягиваемся. Гестаповец, оглядев нас мутноватыми глазами, спрашивает по-немецки:

— Русский жив?

— Жив,— отвечаю я.

Гестаповец, помедлив, захлопывает дверь.

— Тут до тебя сидел один русский,— негромко говорит мне пан Владек.— Тоже тикал с лагеря. И тоже так спрашивали: «Жив?»

Он прячет от меня глаза. В камере тягостная тишина.

Станислав вздыхает и, что-то нашептывая и кряхтя, поднимается с места. Вчера вечером на решетку нашего окна присел воробей, маленькая взъерошенная пичуга. Он подпрыгнул, показал нам левое крылышко, потом — правое, чирикнул и улетел. Станислав убежден, что воробья присылала его старуха, чтобы воробей посмотрел, как он тут — ее стáрый...

— Езус коханый,— шепчет Станислав и, припадая на одну ногу, начинает ковылять по камере.

— Гýляй, Стасю, гýляй,— непонятно для чего говорит пан Владек.

— Езус коханый,— повторяет Станислав, сморкается в темный платок и смотрит выцветшими заплаканными глазками на окошко...

Проходит еще неделя, и в раме двери снова вырастает мрачная фигура гестаповца.

— Русский жив?

— Жив,— отвечаю я.

Ровно неделю спустя вопрос повторяется.

— Жив,— отвечаю я.

Видимо, гестаповцы рассчитывают на то, что я долго не протяну на голодном тюремном пайке. Им, наверно, и невдомек, что поляки, получающие из дому скромные передачи, подкармливают меня.

И в четвертый раз, 17 июня, появляется гестаповец.

— Русский жив? Приготовиться с вещами! — приказывает он и запирает дверь.

Печальны лица моих друзей. Снова тягостное молчание в камере. Тадек достает из изголовья картонную коробку — в ней кусок домашнего пирога и два вареных яйца. Роются в своих узелках солтес, пан Владек, Станислав, скуластенький. Они кладут в коробку хлеб, «ковалэк» сала, сморщенное яблоко. Марьян протягивает все это богатство мне.

— Ешь, старший сэржант.

— Ешь, хлопче, бо идешь грушке пильновать,— говорит пан Владек.

И все они убеждены, что я иду «грушке пильновать» — «стеречь груши», то есть что меня расстреляют и зароют где-то под деревом, под какой-нибудь грушкой. И я сам, пожалуй, думаю так, хотя мысль о том, что меня убьют и зароют, теперь отчего-то не слишком волнует меня.

Я съедаю яйцо, кусочек хлеба и яблоко, остальное в коробке возвращаю Марьяну.

— Почему? — тихо спрашивает он, мой брат.

— Спасибо, я сыт.

Я так люблю их всех в эту минуту! Я прощаюсь с каждым в отдельности, я каждому крепко пожимаю руку.

В последний раз слышу, как вставляется в замочную скважину ключ.

— Russki, raus! (Русский, выходи!) — приказывает гестаповец.

— Прощайте, ребята,— говорю я.

(Окончание следует)

Назым Хикмет



Есть люди, которые вечно молоды. Он был таким, этот седой, красивый человек с юношеским сердцем, с порывистой душой, волшебник, за каждым словом которого всегда стояла яркая, острая, благородная мысль. Он ненавидел поэтические безделушки, какими бы красивыми они ни казались. В 60 лет он был моложе иных поэтов, проходящих по рубрике «молодые».

Назыма не стало.

Да нет же, не умер он! Нельзя поверить в черные траурные каймы, обрамляющие его имя. Он жив в своих молодых стихах. Он жив в своей борьбе за светлое будущее человечества. Он жив в сердцах своих друзей, в сердцах своих многочисленных читателей. Он жив навсегда!

Незадолго до своей смерти Назым Хикмет передал нашей редакции несколько новых стихотворений. Он не успел увидеть их напечатанными. Сегодня с этой страницы опять звучит живой голос Назыма.

То, что ты ищешь

То, что ты ищешь, не в комнате твоей, а там, снаружи.
То, что ты ищешь, тащат самосвалы и поднимают краны вместе с блоками бетонными, оно на эскалаторах метро и на деревьях Ленинградского шоссе.
То, что ты ищешь,—
на вокзалах,
в расставаньях,
и встречах,
и в сумке для провизии высокой женщины в косынке алой.
То, что ты ищешь,— в рублевских фресках.
Ты можешь расспросить об этом двух людей чугунных;
один стоит перед кино «Россия»,
другой — перед кино «Москва».
Вот площадь Свердлова. Вот этот человек с густою каменною бородой,
он знает, что ты ищешь,
он знает это лучше всех.
Вот площадь Революции. То, что ты ищешь,— здесь, в кирпичном красном зданье.
Оно во всех, кто ходит здесь на улицах.
Оно — в тебе.

Московское лето

Я снял с себя идею смерти,
надел на себя июньские листья бульваров: майские листья, пожалуй, для меня были бы слишком молоды.
Меня ждет целое лето, московское лето, со своим раскаленным асфальтом и камнем,
со своей водой газированной и мороженым,
со своими потными кинозалами, и громкоголосыми актерами-провинциалами,
со своими такси, исчезающими в дни большого футбола,
и с деревьями Эрмитажа, которые от электрических лампочек кажутся нам бумажными,
со стихами, которые буду читать на балконе,
и с подрезанными чуть короче волосами твоими цвета соломы...
Я снял с себя идею смерти,
надел на себя июньские листья бульваров.

☆

В сибирских реках трогается лед.
В Баку уже купаются.
В Москве раздался первый гром и рухнул теплый дождь на камни мостовой.
Мой мир зеленый,
мой мир алый...
Быстрей идут на стройки самосвалы.
Я эту ночь не спал,
я думал о вещах, одна прекраснее другой.

День мира

Солдаты-крестьяне ходят по улицам города, держась крепко за руки.
Фотографируются, глаза широко раскрывая.
Солдаты-крестьяне — грустные рыбы в парках, рыбы, попавшие из открытого моря в аквариум.
Солдаты-крестьяне чего-то не могут забыть и к чему-то не могут привыкнуть.
Им здесь ближе всех краснощекие девушки в фартуках.
На манекены глядят они так, точно с ними вот-вот начнут разговаривать.
Они — одинокие тополя, зажатые камнем, асфальтом, моторами.
Солдаты-крестьяне ходят по улицам города, держась крепко за руки...
Но день долгожданный настанет, не будут солдаты-крестьяне ходить по улицам города.

Канр.

Перевод М. ПАВЛОВОЙ.

С турецкого

Натан Злотников



Натану Злотникову 28 лет. Три года он провел на Крайнем Севере, где служил в рядах Советской Армии. Потом работал на киевском заводе «Большевик». Его основная профессия — инженер-литейщик. Много времени он отдает и другому, не менее «горячему» делу — поэзии.

Игра

Литье — не ремесло,
Литье — игра.
Играют мастера,
и сталь играет.
Сталь принимает форму топора
И форму человека принимает.

Она кипит от радости своей
И падает стремительно в опоку,
Она привыкла к мастерству людей,
И люди в этом чувствуют опору.

От века к веку тянется игра.
Над сталью смех звенит
и стынет ругань.

Я слышу: тихо плачут мастера
И формы неудавшиеся рушат.

Как мне понятен древний этот стон
И боль от неразгаданной загадки!
Литейный плац из глубины времен
Идет ко мне,
нетронутый и гладкий.

И, труд свой начиная поутру,
Ищу отгадку я, презрев усталость,
И продолжаю дедову игру
Со сталью,
позабывшею про старость.

Баллада о зрячем

Памяти Николая Островского.

Говорили ему враги:
Не работай, глаза береги.

Он работал врагам назло —
Он любил свое ремесло.

Говорили ему врачи:
Если будет больно, кричи.

Только он у врачей молчал,
Но цвета уже не различал.

Говорило чутье ему:
Очень скоро сорвешься во тьму.

И решил он: раз выхода нет,
Пусть останется в памяти свет.

Прежде чем глазам умирать,
Надо солнце в них все вобрать.

И не слепнет он с этих пор:
Он на солнце смотрит в упор.

Трубачи

Трубачи,
Трубачи,
Не хмелейте от славы!
Не спешите треножить
уставших коней.
Вам не будет привалов,
развеселья-забавы:
Вам скакать до сегодняшних
и до завтрашних дней.

Ваши трубы не хрипнут,
и не старятся трубы.
В медном горле у них
умирает тоска.
Ваши песни встают,
вдохновенны и грубы,
Как в атаку солдаты
встают для броска.

Вслед за ними иду
прямо к солнцу,
а если...
Как легко мне
подолгу на солнце смотреть...
А война есть война —
убивают и песни.
Хорошо б вашей песней,
трубачи, умереть!

Вы над веком несетесь,
и земля принимает
Каждый след от копыт,
как невеста кольцо.
Пусть всегда ваши трубы
надо мною играют,
Пусть всегда ваши ветры
обжигают лицо!

Оркестр

Картины детства, строгие, как время.
Да не забудется их простота и
ясность,
Когда по всей земле моей оркестры
Дождями долгожданными пройдут.

В квадратной раме школьного двора
Был пункт призыва. Там прощались
люди.
Там женщины над пропастью утраты
Несли
слезами полные глаза.
Там под хмельной тальяночный разлив
Призывники «цыганочку» плясали.
И старики, стоящие по кругу,
Глотали молча едкий дым махры.

А в самом центре школьного двора,
А в самом центре горести и боли
Плыл
над косынками и вещмешками
Веселым громом духовой оркестр.
Играл он марши, звонкие, как медь.
А мы держали оркестрантам ноты.
Выстраивались не спеша колонны.
И уходили прямо на вокзал.

Но с каждым днем все меньше было
труб.
Мы узнавали лица музыкантов
Среди людей, идущих на вокзал.
Кончался август. Часто шли дожди.
И в этот день грустил над миром
дождь.
Мы сделали из пиджаков навесы,
Привычно развернули наши ноты.
А музыкантов было только три.

Пришел ударник, бас и корнетист.
И мы стояли на обычном месте.
Построилась последняя колонна
И двинулась неслышно со двора.
А наш оркестр над нею поднял марш.
Так в небо поднимают только знамя.
И марш звенел не посреди двора,
А где-то очень, очень впереди.

И мы смотрели и смотрели вдаль.
Нас мучила мальчишеская зависть,
Высокая, как чистый звук корнета,
К мужчинам, уходящим на войну.

Тропа

На карте-двухверстке
морского района,
Успевшей в планшете
по сгибам прорваться,
Есть точка
с каким-то лихим и соленым
Коротким названием:
«Мыс девятнадцать».

Там чайка седая
простор синий крестит.
Там волны
о скалы
бьют с бешеной силой.
И капельки моря
стекают по жести
Неяркой звезды
над солдатской могилой.

Простой обелиск
посерел от тумана,
Как будто намокла
шинель у солдата,
Который упал
головой к океану,
Прижав холодеющий лоб
к автомату...

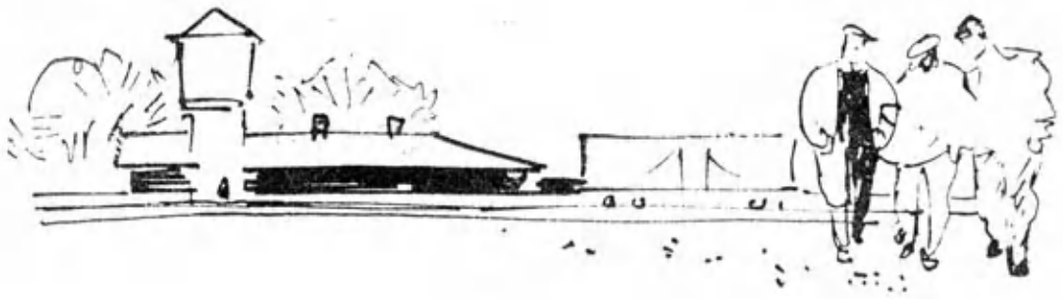
И там вечный мрамор
резцы не крошили.
И в бронзу
могиле не одеваться.
Но люди
тропу проложили к вершине
С суровым названием:
«Мыс девятнадцать».

И, видимо,
большего счастья не надо —
Пройти по земле,
сделав в жизни такое,
Чтоб люди,
как самой высокой наградой,
Тебя наградили
простою тропою.



Ирина РАКША

ЧЕТВЕРТЫЙ



Рисунки В. Юдина.

Нас было четверо.

Но в прошлом году, когда мы электрифицировали Томскую железную дорогу, погиб наш комсорг Серега.

Очень нелепо.

Он бежал по путям в диспетчерскую, когда неожиданным задним толчком его сшиб «товарняк». Сразу. Насмерть.

Хоронили мы Серегу через два дня. На поселковом, заросшем бузиной и травами кладбище. На могиле вкопали пирамидку, вырезанную из листов жести, выкрашенную суриком. На ней по красному фону наш бригадир Борис белилами написал: «Прощай, Серега Колодеев. Мы тебя любим и помним и дело твое продолжим с честью». А ниже — номер нашего монтажного поезда и прорабского участка.

Все его вещи, даже фотографии, мы отослали родным. Только Серегину карту, розовую политическую карту Союза, оставили себе на память.

Это была не простая карта. Конечно, ничего особенного в ней не было. Старая, потрепанная, уголки в дырках. Но за эти три года она проехала с нами в нашей теплушке тысячи километров по железным дорогам. И по тем, которые электрифицировали мы и другие или еще никто. Но те участки дорог, на которых вели монтаж мы, Серега отмечал красным карандашом, а по которым только проезжали — синим. И от этого розовая политическая карта была похожа на рисунок кровообращения организма синими венами и красными артериями.

Эту карту после Серегиной смерти по молчаливому договору мы оставили висеть на прежнем месте, над его полкой. А наш перегон сюда, на Красноярскую дорогу, синим карандашом отмечал Ахмед.

Теперь на монтаже наша бригада была самой маленькой. Как говорили, «святая троица»: наш строгий бригадир Борька, Ахмед, заводила во всех делах, и я. Была еще и Валюха-сигналистка. Но она — на несколько бригад. А мы, хоть и трое, работали, правду сказать, здорово. И первыми ждали присвоения звания бригады коммунистического труда.

Пополнения мы не просили и поэтому удивились, когда прислали новенького, Плеслова.

Возвращаемся мы как-то вечером с работы усталые, как черти, руки гудят, даже на водокачку не завернули, а новенький уже в вагончике.

Сидит на Серегиной полке, баян на коленях, и улыбается. А над его головой, где наша карта висела, этаким веером фотографии артистов. А карта наша на тумбочке расстелена! И на ней пол-литра нераспечатанное и четыре стакана!

Ахмед побледнел даже. Показывает пальцем и говорит так тихо-тихо:

— Сними это.

Парень не понял, растерялся.

— Зачем? — спрашивает.— Это я вас ждал.

— А затем, что на том месте, где ты картинки налепил,— закричал Ахмед,— эта карта висела и висеть будет! — И кинулся снимать фотографии.

Но Борька удержал его. И тогда мы с Ахмедом стали наперебой кричать, что подло вместо Сергея

таких «неораспорядителей» присылать да еще определять на его место. Но Борис наш любил все улаживать спокойно. Он прикрикнул на нас и стал объяснять: ведь новенький не знал о гибели Сергея.

Но когда новенький все понял, он отложил баян и встал, прищурившись.

— Подумаешь, сантименты! Память о погибшем, — сказал он. — У меня вот, может, мать на днях умерла. А вы со мной не церемонитесь... Может, я из-за того сюда и прибыл... А тут тоже хочу жить культурно. А если карта тебе нужна,— он взглянул на Ахмеда,— я новую куплю. Мне не жалко.

И вышел.

Все получилось как-то нескладно. И мы молчали. Борис снял с карты бутылку и прикрепил карту над тумбочкой, рядом с табличкой шахматного турнира. Потом перочинным ножом раскупорил бутылку, велел Ахмеду утихомириться и позвать новенького.

Ахмед нехотя позвал. Мы выпили все вместе, но так и не разговорились.

И потянулись обычные дни. Теперь мы работали уже вчетвером, но неприязнь к Плеслову все как-то не проходила.



А сегодня вечером, когда волейбольный мяч летал над сеткой и удары его, наверно, слышались в поселке, Борис принес от прораба получку и положил на мою полку.

В теплушку я вернулся с площадки в сумерки. Ребята свои деньги уже разобрали. Я сгреб с одеяла оставшиеся и расписался в ведомости. Потом подсчитал. Не хватало двадцати рублей. Решил, что ошибся. Пересчитал еще. И опять не хватило. Борька шнуровал медным проводом свои разбитые рабочие бутсы. Ахмед разогревал над спичкой банку с засохшим гуталином: он собирался в клуб. Плеслов гладил тенниску. В клуб он не собирался. Просто был аккуратистом.

И мне ни о чем другом, кроме того, что я ошибся, думать не захотелось.

— Ну, чего еще у тебя? — поднял голову Борис.

— Да так, не хватает,— пожал я плечами.

— Как не хватает? — Борька отложил бутсы.— Неужели прораб ошибся? Я вроде следил. Посчитайка.

Пересчитал при нем. Не хватало. Борька с удивлением смотрел на меня. Даже Плеслов стал гладить медленнее.

Казалось, только Ахмед не удивился происшедшему. Поставил ногу на табурет и стал начищать свои новые ботинки.

— Нечего на прораба валить,— пробурчал он.— Не плюй в зеркало, когда рожа крива.

Все молчали. И это молчание становилось ужасным. Плеслов стоял к нам спиной и продолжал гладить. Шнур от утюга чуть поскрипывал.

И тут я подумал, что ни Борька, ни Ахмед не могли сделать этого. Мне стало даже стыдно от подобной мысли. Из нас мог сделать это только Плеслов. Но я должен был убедиться, найти подтверждение. И не я один хотел этого. Борис и Ахмед повернули головы и ждали.

А за окном простучал на восток скорый «Москва — Хабаровск». У депо прокричал маневровый. А в вагончике нашем было необычно тихо. Наконец Плеслов медленно отставил утюг и повернулся к нам. Лицо его было бледное и твердое. Сперва он посмотрел на меня, глаза в глаза, словно спрашивал: «А ты видел? Ты уверен, что я?»

Мне стало не по себе. К черту их, деньги! Но тут же остановил себя: дело-то не в деньгах — и молча ответил: «Да, уверен».

Тогда он посмотрел на Бориса. На Ахмеда. Глаза у Борьки темные, спокойные. А у Ахмеда так и горят неприязнью.

Да, это был настоящий поединок. Поединок взглядов, в котором мы должны были победить. И мы победили.

Потому, что каждый из нас отстаивал не только свою честь, но и свою веру в чистоту каждого из друзей, в нашу общую долгую дружбу.

И Плеслов понял это. Он ничего не сказал. А просто взял пиджак и вышел.

Но на душе у нас не стало легче. Ахмед отошел к окну. Теперь ему было видно, как Плеслов медленно бродит по шпалам вдоль монтажных вагончиков. Борис лег на полку и, заложив руки под голову, уставился на карту.

Молчали.

Вдруг кто-то стукнул снаружи по стенке вагона.

— Эй! Монтажная интеллигенция! — раздался голос нашей сигналистки Валюхи. И она сама, загорелая, вечно счастливая, с веснушками на руках и носу, заглянула в теплушку.— Чего это притихли? На себя не похожи. В клуб собирайтесь.

Она кокетливо осмотрела Борьку и улыбнулась ему.



Мы молчали. Сейчас Валюха нам очень мешала. Мы хотели побыть одни.

Потом она вдруг, вспомнив, сунула руку в карман:

— Тут прораб вам двадцатки не додал. Мелкие на размен оставлял. Вот.— И она положила на тумбочку деньги.

Мы замерли, точно оглушенные.

А Валюха, недовольная встречей, скрылась за дверью. И уже с улицы до нас, как сквозь вату, донеслось:

— В клуб приходите. Картина хорошая!..

...Скоро за окном совсем потемнело. Но мы не зажигали света. Ахмед поднял раму, и в вагончик пахнуло тополиной листвой, сеном, паровозной гарью. Замерцали на путях синие огни. А в темноте высоко над станцией вспыхнул прожектор. И тотчас полосы света упали на усталое лицо Ахмеда, на фотографии на стене, на нешнурованные Борины бутсы, на нашу карту. И время потянулось медленно.

Мы уже дремали, так и не раздевшись, когда пришел Плеслов. Он тихонько шагнул к своей постели. Осторожно достал из-под полки чемодан и стал класть в него полотенце, выглаженную тенниску, книжки. Потом опустил в чехол баян и только тут заметил, что мы не спим.

— Говорят, там на вашу бригаду бумага из управления пришла,— помолчав, сообщил он и принялся снимать со стены фотографии артистов: — О присвоении звания коммунистической.

Фотографии он аккуратно складывал в чемодан, а кнопки — на тумбочку.

Ахмед зажег свет и, подойдя, взял из чемодана Плеслова фотографии. Борька чиркнул спичкой и закурил.

— Как думаете, рано нам звание получать? — спросил он.

— Рано,— сразу ответил я.

Ахмед неловко улыбнулся и взглянул на Плеслова.

— Потом, вчетвером получим. Верно? — И, не дождавшись ответа, добавил: — И картинки не убирай. Красиво.

И он прикрепил их рядом с картой.

Михаил ГОЛОВЕНЧИЦ

Кембрийский пласт

На глубине залег кембрийский пласт,
Извилистым узором разрисован;
Он неподатлив, крепок, как алмаз,
И силой исполинскою спрессован.

Не знаем мы, на дне какой реки
Затвердевал он, временем хранимый,
Быть может, грозных мамонтов клыки
Оставили там след неизгладимый.

Лежал он долго, погружен во тьму,
От глаз людских запрятанный надежно,
Казалось поначалу, что к нему
И подступиться будет невозможно.

Но, темным недрам объявив войну
И взвесив все решительно и строго,
Спустился человек на глубину,
Чтоб строить там подземную дорогу.

Сильна его рука и точен глаз,
Привычен отблеск глин голубоватый.
Отбойный молоток врубил он в пласт,
Сказав сквозь зубы: — Крепок же, проклятый!

Настойчиво врезался в грунт металл
Высокого, крепчайшего каленья,
А человек и сам не сознавал
Величия бегущего мгновенья.

На каску с бревен падала капель,
А он, со лба стирая струйки пота,
В суровых недрах пробивал тоннель,
Свершая повседневную работу.

Лишь к поздней ночи смолкли молотки.
И человек тогда расправил спину.
Он пласт кембрийский раздробил в куски
И взял один кусок — на память сыну.

Александр Ревич

Девочка

Ломятся кусты через ограду,
сосны подпирают облака.
Девочка моя бежит по саду,
по густой траве материка.
Расплясались ветки до упаду
над сырым утоптанным песком.
Девочка моя бежит по саду,
по песку планеты босиком.
Кот на солнцепеке полосатый
щурится, как сонный печенег.
Девочка моя бежит по саду —
косолапый чудо-человек.

До сих пор я слышу посвист пули,
под ногой еще скрипит зола.
Я остался жив не потому ли,
чтобы ты, хорошая, жила?
Холостой, бездетный, безбородый,
сбитыми подковами сапог
я топтал чужие огороды,
чтобы кто-то их возделать мог.
По чужим полям перебегая,
каждой пуле кланяясь в бою,
я еще не знал, что жизнь другая
на земле продолжит жизнь мою.
Легкий дым сырого самосада,
тлеющих стропил тяжелый дым...
Девочка моя бежит по саду
сквозь кусты, по зарослям густым.
И стоят на страже стрелы сосен,
птичий посвист, зелень, тишина.
След лопаты — шрамом на откосе
глина кое-где обнажена.



Александр Ревич известен читателю главным образом как переводчик. В его переводах зазвучали по-русски стихи наших польских и югославских друзей, многие стихи Луи Арагона.

Жизнь его сложилась трудно и интересно. С первых дней Великой Отечественной войны офицер А. Ревич на фронте. Тяжелые сражения, ранение, плен... Побег из плена. Возвращение в Действующую Армию. Новое ранение. Госпиталь. Снова возвращение в строй и опять ранение, на этот раз тяжелое, в область позвоночника. Долгая борьба со смертью...

Человек, прошедший сквозь огонь, не ожесточился. Любовью к жизни, к природе проникнуты его стихи.

Ущелье

Ты помнишь ущелье? В горах это
было. В Крыму.
Внизу, за спиною, прибой выплетал
бахрому.
Две тропки змеились, расщелиной
разделены.
Взбирались по круче — я с этой, ты
с той стороны,
взбирались, цепляясь за выступы и за
кусты,
и камни катились на звонкое дно
пустоты.
Рождались раскаты
опять и опять
в глубине,
и ты через бездну ладонь протянула
ко мне.
Тебя я окликнул,
я весело крикнул: «Люблю!»
И тут же ущелье ответило мне:
«У-лю-лю-ууу!»
«Моя!» — прокричал я.
Одно только слово:
«Моя!»
И вновь пустота подхватила с
насмешкой:
«А я?»

Но вот мы над кручей.
Мы дышим с трудом. Мы без сил.
— Вы шли по ущелью? — какой-то
прохожий спросил.—
Дошел невредимый — судьбу свою
благодари.
Коварное место.

— Коварное! Черт подери!

Любовь моя

— Любовь моя, тревожная любовь,
прошу тебя,
уйди,
не прекословь!
Неужто я тебе других нужней —
ведь люди есть разумней и нежней.
Уйди, любовь. Ты мне не по плечу.
Ты слишком тяжела,
а я хочу
легко шагать,
без груза,
без тебя,
не мучась, не ревнуя, не любя.

— Я не могу уйти, не обессудь.
Я суть твоя.
Ты понимаешь?
Суть.
Я воздух твой,
я твой насущный хлеб.
Не будь меня, ты был бы глух и слеп,
ты был бы камнем, деревом, травой,
ты был бы всем,
но не самим собой.
Покинет женщина тебя —
я остаюсь,
друзья тебя покинут —
остаюсь.
Я гордая,
И все же остаюсь.

— Ну что ж,
я слабый спорщик.
Я сдаюсь.

Птицы

Даже птицы тянутся туда,
где разрушен быт их прошлогодний.
Как бы крыша ни была худа,
мир просторен, а под ней свободней.

На чужбину гнали холода,
прутья гнезд развеяли метели.
Даже птицы тянутся туда,
где когда-то в первый раз взлетели.

Зеленеют пальмы под крылом,
голубеют горы над заливом.
Вот и приземляйся. Чем не дом?
Будешь здесь беспечным и
счастливым.

Но исчезли пальмы без следа,
и залива синего не стало.
Сердце птицы тянется туда,
где торчат морщинистые скалы.

Старый дом прибоями размыт.
Океан холодный без предела.
Спросишь — разве птица объяснит,
почему она сюда летела?

Водопроводчик

Потоп. А может, это — благо?
Всеочищающая влага,
всеомывающая влага,
всепоглощающая Волга,
Великий, Тихий...
Погоди-ка!
Вода, как водится, бушует
и одесную, и ошую.
Помилуй, господи! — прошу я.
Повремени.
Перемени
свое решенье.
Только росчерк
пера...
Нет. Никаких отсрочек.
Нам время не дает отсрочек.

Бумаги тонут,
колымаги,
зеваки,
маги,
саркофаги,
плывут продавленные кресла,
и обывательские чресла,
астрономические числа,
поэмы в сотни тысяч строчек,
овес, горох, чертополох...
Переполох!
Вот-вот мои стихи промочит...
Но постучал водопроводчик.
«Сейчас»,— сказал водопроводчик
и устранил без проволочек потоп.
Он дело знал, как бог!

Телефон

Телефонная трубка.
Стекло автомата.
Миллионом ладоней
черный глянец захватан.
Миллионы ладоней,
и нежных, и грубых,
прирастают к прохладе
эбонитовых трубок.
И когда в аппарате
исчезает монета,
миллионы ушей
ждут в тревоге ответа.
Сколько слов нашепталось
для близких и дальних
в этих крохотных
уличных исповедальнях!
Раздаются звонки
в отдаленных передних...

Телефонная трубка,
ты мой собеседник.
Сколько раз поднимал я
рычаг автомата,
сколько раз
в тебя я дышал хрипловато,
и не раз изменяла
коварная смелость,
и не раз говорилось
не то, что хотелось.
Застекленная будка —
не уют кабинета.
Сколько раз за спиной
стучала монета:
«Побыстрее, товарищ,
нам тоже по делу».
Все... Гудок...
Ничего ты сказать не успела.

Веселин Ханчев



Не должно!

Нет, не смеет кончиться до срока
То, что и не начинало жить!
Мысли, что оборваны жестоко,
Вас должны другие подхватить.
Корабли должны к земле
добраться
Издали, из глубины морей.
Не должны дороги прерываться
Линией окопов и траншей.

Нет, не должен дом стоять
без крыши,
Жалуясь напрасно небесам.
Письма, что кому-то кто-то пишет,
Вы должны дойти по адресам.

Должен день окончиться закатом,
Должен в очагах пылать огонь,
Хлеб не должен сохнуть
непочатым
И завянуть девичья ладонь.
Дайте людям дописать страницы,
Кончить книгу, виноград убрать.
Не успевшее еще родиться
Не должно до срока умирать.

Перевела М. АЛИГЕР.

Белый Бип

Артисту Марселю Марсо.

На этих подмостках
Шума
Нет,
Как это обычно
В театрах бывает.
В белое
Бип неизменно одет.
Белый Бип
Пантомиму играет.
Белый Бип —
Немой негатив,
Четкий рисунок
На черном фоне.
Платят ему,
Чтобы был молчалив.
Молча
Склоняется Бип в поклоне.
Ни дома,
Ни крова
Нет у него.
И собственных слов
Не имеет тоже.
Он молча плачет,
И ничего
Белый клоун
Сказать не может.
Он плачет у Сены,
У Нотр-Дам,
Он утонул
Среди черных зданий.
С криком беззвучным
То тут, то там
Мелькает белая маска молчанья.
Белый Бип —
Немой негатив,
Четкий рисунок
На черном фоне.
Как скорбь воплощенная,
Бип молчалив,
Не говорит он
И даже не стонет.
Белый Бип
Так умеет молчать,
Что я, молчаньем его измученный,
На расстоянии
Слышу опять
Плач оглушительный
И беззвучный.

Приговор

Чтоб мог я жить,
Должно во мне самом
Ежеминутно
Что-то умирать.

Пусть умирает.
Смертный приговор
Я выношу холодной неприязни,
Пугливой дружбе,
Дрогнувшей в беде,
Знакомствам,
Что вокруг моей души
Толпятся жадно.

Смертный приговор
Я выношу
Обману,
Равнодушью,
Ничтожным целям,
Низменным порывам.

И смертный приговор я выношу
Легенде лживой,
Россказням о том,
Что будто станиолевое солнце
Есть солнце истинное.

Смерный приговор
Я выношу всему,
Что не дает мне жить.

Перевел М. КУДИНОВ.

С болгарского



Григорий Медынский

Повелевай



Писатель Григорий Медынский в течение нескольких лет вел переписку с одним из своих читателей.

Мы публикуем здесь эту переписку с сохранением подлинных имен и фамилий.

1



Здравствуйте, Григорий Александрович! Сейчас прослушал передачу по Вашей повести «Честь». Меня очень взволновал эпизод встречи Антона с отцом. Вспомнил про свою встречу с моим отцом, когда я тоже, решив порвать со своим не совсем хорошим прошлым, уехал к отцу, который жил в Смоленске.

Впрочем, сначала нужно сделать маленькое вступление. В прошлом году я учился в девятом классе. Затем при помощи «друзей» бросил школу, вернее, обманным путем взял документы и поступил в вечернюю школу, где и окончил девять классов. В конце лета поступил на работу, продолжая учиться в школе. Опять «услуги» друзей — водка и прочее. Заинтересовалась милиция. Я решил покончить, порвать со всем, уехать к отцу и начать новую жизнь. Я, наверно, никогда не забуду свою «радостную» встречу с отцом. После долгих, недоверчивых расспросов отец слегка приоткрыл дверь. И только благодаря моей грубости (или наглости) я переступил порог. До приезда я написал отцу письмо, в котором все ему описал. Первые же слова отца: «Ты зачем приехал? Убирайся отсюда!» — несколько смутили меня. Несмотря на это, я хотел раздеться и поговорить с отцом: ведь я с ним не разговаривал целых 17 лет! В конце концов он выставил меня за дверь, сказав на прощание, чтобы я вечером зашел.

Вы представляете, что́ со мной творилось, слезы просто душили меня. Если бы в этом же городе не жил мой дядя, брат отца, я не знаю, что́ бы я делал. В семье дяди меня успокоили, расспросили обо всем, обещали помочь. Вечером я пошел к отцу, попросил его устроить меня на работу, но и жена его (вторая жена) и он сам в один голос заявили, что на работу устроить невозможно, хотя отец работает в Смоленске заместителем директора завода по кадрам. Он опять заявил: «Тебе здесь делать нечего». В мою жизнь вмешался дядя из Брянска, он договорился, с кем нужно, и я теперь живу у него в Брянске. Вот и все, о чем я хотел Вам написать.

Я никогда никому об этом не рассказывал, так как не верю людям. Ведь большинство людей способно только посмеяться над такими «пропащими». А вот написал письмо Вам — и сразу стало как-то легче. Сейчас опять учусь в школе, скоро окончу десять классов, на днях пойду работать. И я думаю, что буду человеком, несмотря на то, что в самую трудную минуту моей жизни, когда передо мной стоял вопрос, быть или не быть, отец, к которому я обратился за помощью, подрубил мне все опоры.

До свидания. С приветом

Витя.

30 марта 1959 г.

Я даже сам не знаю, почему я Вам написал. Про́сто рассказал Вам про тяжесть, которую мне одному носить все же не под силу.

2

Дорогой Витя! Тронут твоим искренним, душевным письмом. Рад, что услышанная по радио глава из моей книги вызвала у тебя такие глубокие мысли и переживания. Быть человеком, несмотря ни на что! Это прежде всего и дороже всего, Витя!

А что касается людей (ты пишешь: «Я не верю людям!»), то не следует делать таких больших и решительных выводов. Есть люди честные, душевные и отзывчивые, и веры в них терять не нужно. Что же ты один-то без людей сделаешь? Не нужно только самому замыкаться в своем горе, обиде, озлоблении, тогда на щедрость твоей души отзовутся и люди.

Спасибо вам



Виктор Петров



Повесть в подлинных документах

Если захочешь, напиши о себе поподробнее.

Желаю тебе всего хорошего и прежде всего силы и бодрости в твоей жизни.

Г. Медынский.

15 апреля 1959 г.

3

Здравствуйте, Григорий Александрович! Большое спасибо за Ваше хорошее письмо. Я даже и не знаю, что Вам о себе написать. Боюсь быть мелочным.

Я до девятого класса учился, рос, как все. Только часто меня очень злило и обижало слово «безотцовщина», так как отец бросил нас, когда я был еще маленьким.

Читал очень много книг, журналов, газет. Ходил часто в кино. Но ведь почти везде неправда. Возьмите любую книжку, что́ там пишут? В книжках пишется все только хорошее. Везде и всюду все довольны, живут хорошо. А кинокартины? Идешь на любую картину и заранее знаешь, о чем там будет речь. Даже некоторые эпизоды заранее предсказываешь. Исключение — «Жизнь прошла мимо» и еще три-четыре. Любая книга приукрашена, любое кино раскрашено. А пусть хоть один писатель опишет жизнь так, как она есть, без всяких прикрас. Интересно, знаком ли хоть один писатель, пишущий о «темных» людях, с их жизнью? Я почти уверен, что нет.

Вот было бы хорошо, если бы поставили кинокартину об этих людях! Только без всяких прикрас, все, как есть.

В своем письме я описал всего один эпизод из своей жизни — об отце. А разве может он называться моим отцом? Он приезжал сюда, в Брянск, в командировку, и даже не зашел, не посмотрел, как я живу, как учусь, как питаюсь, не говоря о том, чтобы поговорить со мной. И здесь мы с ним тоже не поговорили, как сын с отцом. А знаете, когда он был здесь, я мечтал о таком разговоре. Ведь мне так нужен близкий человек, с которым можно было бы поделиться всем, что тебя мучает!

Знаете, Григорий Александрович, как трудно, «несмотря ни на что, быть человеком». И я почему-то никак не могу поверить, что человек может прожить жизнь без всяких изгибов: окончил десять классов, окончил институт, женился, работает, и все идет хорошо. А я ведь такой — куда меня позовут, туда и иду. Знаю, понимаю, что это плохо, а иду. Ну ладно, об этом хватит. У меня как-то все получается нескладно.

Григорий Александрович, хочу с Вами посоветоваться. Как мне дальше жить? Я сейчас кончаю десять классов. 30 мая первый экзамен — сочинение. Дядя советует мне поступить здесь в машиностроительный техникум. Я экзаменов не боюсь, учусь хорошо. Но не лучше ли будет мне поехать куда-нибудь далеко, на север, на стройку? Может быть, там, где трудно, я пойму, что такое жизнь, и пойму людей? Григорий Александрович, это не романтика, не героизм. Я себя знаю и почти уверен, что здесь, в такой обстановке, в какой я сейчас нахожусь, и с такими думами из моего стремления стать человеком ничего не выйдет. Конечно, такой, как я, может пропасть и в Сибири. Но для меня, я думаю, это только один выход. Пусть я еще молод, но все же я повторяю: в наше время плохих людей очень много, даже, быть может, больше, чем хороших.

Я Вас очень прошу, посоветуйте, как мне быть дальше. Я не хочу пропадать, хочу стать человеком, но у меня своих сил не хватает, у меня нет (так все говорят) силы воли.

Григорий Александрович, а что, если Вам написать киносценарий о таких, как я? Ведь сколько в нашей стране людей с такими судьбами, как у меня! А отчего коверкается наша жизнь? А из-за того (в основ-

ном), что наши родители что-то не поделили. Так при чем мы, дети, зачем ломать нам всю жизнь? А какая в скором времени будет жизнь!

И, Григорий Александрович, хорошо было бы начать со школьной скамьи. Показать бы пагубное влияние улицы. И постепенно бы герой, побывав везде, нашел бы дорогу в жизнь. Но важно показать, как трудно найти ее, войти в эту жизнь, если она сама — когда у тебя в голове тысячи дум, грез, мечтаний, когда ты думаешь жить для ее украшения,— задевает тебя своим черным крылом и ставит на колени (не бросает на землю, а может и бросить).

Нет, только подумайте, какой можно фильм создать! Только чтобы без прикрас, показать все, как есть. Герой фильма, может, и не войдет в жизнь. На эту тему можно очень много говорить, но... не мне. А вообще Вы подумайте, ведь Вы, как я по радио слышал, знакомились кое с чем.

Сейчас прочел письмо и вижу, что получились какие-то отрывки мыслей.

Благодарю за Ваши хорошие пожелания. Очень бы хотел, чтобы Вы прислали мне свой совет.

С уважением

Витя Петров.

25 мая 1959 г.

4



Дорогой Витя! Получил я твое большое и откровенное письмо, и за откровенность эту, за доверие искреннее спасибо.

Твои настроения, прямо скажу, тревожны и в известной мере, к сожалению, типичны. Вот ты говоришь, что часто ходишь в кино, много читал книг, журналов (хотя не пишешь, каких именно) и почти ничему не веришь. Почему это? Объясни мне, пожалуйста. «Почти везде неправда»,— пишешь ты. Где, в каких, например, книгах ты почувствовал эту неправду и в чем именно? И что думают об этом другие ребята или девчата, твои товарищи? Может быть, сказываются твои условия жизни, та тяжесть, которую ты носишь в душе? Но не у всех же ведь так неудачно сложилась жизнь, как у тебя!

Напиши, какие книги тебе понравились из нашей советской литературы и почему.

Ты пишешь о приукрашенных книгах и раскрашенных кинокартинах и хочешь видеть картину о «темных» людях, «только без всяких прикрас, как есть». Скажи, а зачем тебе это? Чем тебя не удовлетворяют книги, которые идут дальше того, «что есть», и рисуют людей лучших и жизнь лучшую? Разве лучшее не учит, не заставляет тянуться за ним?

А теперь о том, «что есть». Ты пишешь, что «в наше время плохих людей очень много, даже больше, чем хороших». Так ли это, Витя? Может быть, это тоже потому, что жизнь «задела тебя своим черным крылом», как образно выразился ты? Ну, отведи это крыло в сторону, осмотрись, оглядись — разве мало вокруг нас хороших, чудесных людей? Ты видел их? Видел ты душевное отношение со стороны людей? Подумай и скажи честно. По-моему, жить среди людей и не верить в людей нельзя, трудно так жить. А ты, по-моему, видишь одну сторону жизни.

«Я не хочу пропадать, хочу стать человеком,— пишешь ты.— Но у меня своих сил не хватает... нет силы воли».

Скажу прямо: меня очень встревожили эти слова. Я все-таки придерживаюсь того, что писал тебе в прошлом письме: несмотря ни на что, быть человеком, всегда только человеком! И то, что ты хочешь этого, меня очень радует. Но это не делается само собой. Борись за это, крепись, Витя, не поддавайся никаким соблазнам.

Да, для этого нужны силы. Но ведь, дорогой мой, ни у кого другого ты этих сил не займешь, их нужно выработать именно в себе, и только в себе, и именно самому выработать их. Сразу это не делается и не достигается, здесь нужна длительная и упорная работа над собой. Вот ты говоришь: «Куда меня позовут, туда я и пойду». А ты возьми и не пойди, и раз, и два, и три. Сначала будет трудно, а потом пойдет легче.

Здесь все дело в том, чтобы понять и решить, что нужно и не нужно и даже что нельзя. Здесь дело в целях жизни — *для чего* ты живешь? Как ты хочешь жить? Если у тебя этих твердых целей нет, тогда ты, конечно, будешь мотаться, прости за выражение, как овечий хвост. А если ты решишь и наметишь путь жизни своей, тогда тебе будет легче отсеивать все ненужное, постороннее, вредное и легче будет из множества тропок, которые перед тобой лежат, выбрать ту единственную, правильную, по которой ты можешь смело идти. Тогда у тебя появятся и силы. Ведь недаром говорится: только великие цели рождают великую энергию. Человек отдергивает руку от горячего самовара (если дотронулся до него случайно) и выдерживает пытку огнем, если это освящено целью.

А цели и пути жизни в наше время для сознательного молодого человека могут быть только одни — служение народу и всемерное участие в его великом деле. Я, кажется, вижу твою кривую и разочарованную улыбку: «Опять агитация! Она у нас в зубах навязла!»

Нет, Витя, это не агитация! Люди ведь делятся на два сорта: одни дают, другие берут, одни хотят что-то сделать для людей, другие, наоборот,— пользоваться от них, одни стремятся принести пользу, другие — только извлечь пользу и что-то получить для себя. И лучшие, передовые молодые люди всегда выходили из первой категории. Раньше их было меньше, теперь стало, по-моему, больше, а в будущем их должно быть еще больше, и они должны в конце концов победить в жизни. И если ты хочешь быть человеком, то ты должен решить, каким человеком ты думаешь быть. И за этого человека бороться.

А тем более и сам ты пишешь: «А какая в скором времени будет жизнь!» Ты сам пишешь, что думаешь «жить для ее украшения», что у тебя «в голове тысячи дум, грез, мечтаний».

Это прекрасные слова и мысли. (Кстати, напиши: что ты думаешь о будущей жизни, о чем мечтаешь?)

Но за эти мечты свои, за будущую жизнь нужно бороться. (Прочитай, кстати, чудесную книжку М. И. Калинина «О коммунистическом воспитании».) И себя нужно к этой будущей жизни готовить (а за это ведь тоже нужно бороться — за себя и за свое будущее). Само собой, без борьбы и усилий ничего не бывает и ни у кого не бывает, поверь мне. У одних это, может быть, проходит легче, у других — труднее, но за тебя никто этого не сделает.

В связи с этим — о твоих планах: продолжать ли учиться или ехать в Сибирь? Мне трудно это решить, но давай разберемся.

Главное для тебя — не пропасть, «стать человеком». Где ты легче можешь этого достигнуть?

Я знаю молодого человека, звать его Борис. Теперь

он работает инженером-горняком, а в свое время, оканчивая школу, он выбирал себе жизненный путь таким образом: «Я знаю, что у меня слабая воля, и мне нужна такая работа, которая сама будет эту волю закалять. Такой работой и будет горное дело, самый тяжелый труд — под землей».

Продумай и решай не как мальчишка, а как мужчина.

За твои мысли о сценарии спасибо.

Ну, всего доброго. Желаю тебе силы и бодрости.

Г. Медынский.

1 июня 1959 г.

5

Здравствуйте, Григорий Александрович! Получил Ваше письмо. Большое спасибо! Если честно признаться, я даже и не ждал ответа на мое письмо.

Да, Вы правы: мои настроения типичны для какой-то части молодежи. Во всяком случае, большинство ребят, с которыми я хожу, думает так же.

Я встречал (и встречаю) хороших ребят, но все же «улица» преобладает над «домом». Мои настроения типичны для определенной современной молодежи, и их очень трудно будет преодолеть.

Я очень люблю книги советских писателей. Они вдохновляют, зовут на подвиг во имя счастья человечества. Но я не люблю общих фраз. Вот книги о Великой Отечественной войне и о гражданской войне. Там описана правда. Но почему-то везде враги очень трусливые, но очень злые. А ведь известно — злость придает храбрость. Разве мало было истреблено наших партизанских отрядов, военных соединений! Конечно, я не отрицаю мужества и героизма, гуманизма советских солдат, но все же изображать врагов трусливыми, глупыми, не умеющими воевать очень неправильно. В Германии были отличные генералы. Ведь не из-за своей слабости Германия завоевала сначала полмира. Только Вы не обвиняйте меня в приверженности к Германии.

О книгах мы поговорим как-нибудь в следующий раз, как только сдам экзамены, а сейчас в этом вопросе я, чувствую, пока слаб. Любая кинокартина кончается победой добра над злом. И почти все сцены в кинокартинах похожи друг на друга. Всегда в трагических случаях идет дождь. И вот зачастую сидишь в кинотеатре и можешь сказать: «Вот сейчас будет то-то и то-то, а потом вот это».

Каждому, конечно, понятно, что лучшее заставляет тянуться вперед, воспитывает. Но все же не надо закрывать глаза и на плохое, которого немало в настоящем.

Я постепенно, но все же убеждаюсь, что есть и душевные, хорошие люди; но бывает и так: в Грозном, в вечерней школе, директор, как только узнала обо мне, взялась за меня. «Ты ко мне в трудную минуту обращайся, я помогу». Говорила хорошо. Когда уезжал: «Пиши, обязательно пиши, как живешь, чем дышишь». Как-то здесь мне было очень тяжело, я написал ей письмо. Почти два месяца ни ответа, ни привета.

И дядя и тетя — хорошие люди, но все равно они за мной не сумеют уследить.

Мне очень нравятся Ваши слова о том, что сила воли, сила, сумеющая удержать от плохого, должна выработаться сама. А ведь, действительно, надо попробовать. И попробую. Правда, не верю, что получится, но все же попробую.

Да, иметь цель в жизни, стремиться к ней — прекрасно. Но у меня ее нет. А вот я давно думал: что дает людям силы, чтобы выдержать нечеловеческие пытки, что заставляет их бросаться с гранатой под танк? Цель, какая-то светлая цель в жизни, именно она, а не что-нибудь поддерживает их.

Но как ее выбрать, что это будет за цель, я даже не представляю себе. По-моему, если человек решил, например, стать геологом, он идет через все препятствия, пусть много лет, но идет, и в итоге он геолог. Но я не могу так. Я еще сам не знаю, кем я хочу быть.

А ведь неинтересно жить, когда не видишь перед собой ничего. Вот люди работают, они рады, а я что? Почему меня не радуют ни работа, ни жизнь? Я думаю, что утешение, а вместе с ним и вдохновение можно найти только в такой работе, когда видишь, чувствуешь, осязаешь то, что ты делаешь.

Пока я вот что решил. В этом году я поеду в Ленинград, поступать в Военно-морское инженерное училище. Если не поступлю, то уеду на север. Все же я думаю, что труд, какой-нибудь тяжелый труд исправит меня. О чем я мечтаю? Вот, знаете, во время хорошего настроения, как сейчас, я думаю о своей мнимой будущей жизни. Мне представляется, что я работаю (пока еще не решил, где), меня уважают за трудолюбие, чуткость, внимание. И работа для меня — наслаждение. И все это будущее подернуто какой-то розовато-желтой дымкой. И вот преодолеть эту дымку для меня, по-моему, невозможно.

Все же я попытаюсь послушаться Вашего совета. Не пойду раз, другой, может, что-нибудь получится. Действительно, надо уже решать, «каким человеком быть, и за этого человека бороться».

Если только я не поступлю никуда, мне здесь нельзя будет оставаться. Почему? Я здешних ребят уж знаю, и они меня знают. Не смогу я тогда исправиться, как бы я этого ни желал.

Григорий Александрович, вот уже несколько раз я перечитываю Ваше письмо. Какое хорошее, как оно проникнуто заботой обо мне! Если бы отец писал мне такие письма, может быть, со мной бы ничего не случилось.

Еще раз большое спасибо за Ваше хорошее, теплое письмо. Я уверен, оно будет мне очень большой поддержкой в жизни.

До свидания. С приветом

Витя Петров.

9 июня 1959 г.

6

Дорогой Виктор! Получил твое письмо. Спасибо за него, но я думаю, что ты мне еще напишешь, когда освободишься от экзаменов. Ты, например, хотел написать о книгах: какие книги тебе нравятся, какие нет. Чем? Почему? Чему ты веришь в них, чему не веришь? И опять-таки почему? Какие твои самые любимые книги? Есть же они?

Ты пишешь, что у тебя нет никаких целей, тебя «не радуют ни работа, ни жизнь». Так ли это? Если так, то почему? Покопайся у себя в душе, продумай все и напиши. И вообще пиши: мне интересна твоя дальнейшая судьба. Куда поедешь, куда поступишь, что будет с тобой дальше. Пиши, когда найдешь нужным. Если будешь в Москве, заходи, я с удовольствием с тобой встречусь.

Еще раз о целях. Ты очень хорошо пишешь: «Утешение, а вместе с ним и вдохновение можно найти

только в такой работе, когда видишь, чувствуешь, осязаешь то, что ты делаешь».

Это очень правильно и очень хорошо. Ты стоишь у станка и своими руками выпускаешь совершенно осязаемые детали, которые будут вертеться и крутиться в какой-то машине. Ты строишь мост, по которому будут ездить люди, или дом, в котором они будут жить и который переживет тебя.

Так почему же не идти на эту работу, и не радоваться ей, и не видеть в ней цель и смысл жизни?

Ты очень хорошо рисуешь себе свою будущую жизнь: «Я работаю, меня уважают за трудолюбие, чуткость, внимание. И работа для меня — наслаждение».

Так почему же все это ты называешь «мнимым» будущим? Почему нельзя жить так в действительности?

Мой совет: ищи хороших людей, хороших ребят и держись их. Ты сам говоришь, что они есть. Так почему же ты, как ты выражаешься, «ходишь» с другими, с теми, кто тянет тебя вниз? Тянись вверх и выбирай себе для этого подходящих товарищей.

Итак, желаю тебе успехов и в Ленинграде и вообще во всей твоей будущей жизни и думаю, что ты будешь писать отовсюду, куда бы ни забросила тебя судьба.

С приветом

Г. Медынский.

17 июня 1959 г.

7

Здравствуйте, Григорий Александрович! Решил написать. А что заставило? Вчера, роясь в чемодане, наткнулся на тетрадь, из которой я мечтал сделать дневник. Начал его, когда мне было очень трудно, еще до переписки с Вами, но из этого, как всегда, ничего не получилось. Конечно, там ничего хорошего нет, но все же мне интересно было прочесть его.

Да, у меня в голове произошли какие-то изменения. Хотя я все равно убежден в своем, но все же не то. Что-то властно и неумолимо подсказывает мне: «Так жить нельзя».

А и правда. Я получил аттестат зрелости, у меня всего три тройки и то две — из-за моей грубости и... глупости, ведь я должен быть уже «зрелым». Так думал и Толик в повести «Продолжение легенды».

Да, кажется, пора уж и за ум браться.

Знаете, ко мне приезжала мать, вчера только уехала. О многом мы с ней говорили. Несколько раз перечитывали Ваши письма. Да и у меня самого сейчас перед глазами проходит больше хорошего, чем плохого.

Что-то пишу, пишу, и ничего путного не получается. Почему-то мысли разбегаются. В общем, сейчас я перешел жить к дяде, под его наблюдением буду готовиться и поступать в вечерний машиностроительный институт. Если поступлю, перейду жить в общежитие, нет — останусь на квартире.

Я посылаю Вам свои записи (хотя не уверен, интересны ли они будут для Вас). Вы их прочтете и немного больше узнаете меня.

По-моему, все это глупость. Но почему-то я Вам верю, и мне просто хочется Вам писать.

До свидания.

Витя.

30 июня 1959 г.

ИЗ ДНЕВНИКА ВИКТОРА ПЕТРОВА



14 марта 1959 г.

Ну вот и начинаю. Долго собирался. Вообще писать много я не предполагаю. Мне обычно писать охота, только когда у меня тяжело на душе. О чем только не думаю! А тяжело у меня бывает обычно после выпивки, сколько бы ни выпил, хоть 100 граммов.

Эта тетрадь для постороннего глаза не предназначается, пишу только для себя. Эта тетрадь для «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет». Если не ошибаюсь, у Пушкина так сказано.

Я думаю писать здесь только правду. Во всяком случае, буду придерживаться правила: говорить правду и только правду!

А ведь ни один человек не знает меня полностью, до глубины души. А, черт со всеми! Писать неохота.

Итак, вступление глупое. Не дай бог, если кто сунет сюда свой нос! Концы!

17 марта.

Примечательного ничего не было. Пятнадцатого марта ходил в кино, смотрел «Голубую стрелу». Никакого впечатления. Вчера прибежал Володька, пошли в кино —«Тихая пристань». Серая картина. За последние два года мне понравилась только одна картина — «Чрезвычайное происшествие», 1-я серия.

Вчера в школе писал сочинение об Островском. Какая замечательная книга! Чем больше ее читаешь, тем больше она нравится. Да, Николай Островский — сильнейший писатель. Интересно получается. Я никогда не любил произведения русских писателей. А теперь? Сейчас заново просматриваю, прочитываю книги, стихотворения. Что стóит только «Журнал Печорина» Лермонтова! А «Памятник» Пушкина! Какую силу, какое волнение чувствуешь, читая «На смерть поэта»! А «Мцыри»! Вот недавно наткнулся на несколько стихотворений Рылеева. Раньше я его не читал, а если бы и читал, то не обратил бы внимания. Да, поистине надо быть «стальным» человеком, чтобы писать такие стихотворения в ту эпоху! Не знаю, чтó со мной случилось: чем больше читаю, тем больше нравятся мне русские писатели. Да, к таким людям невольно почувствуешь и уважение и симпатию.

Вот если бы эти строчки прочли все те, кто «знает» меня, удивились бы несказанно. Особенно учителя дневной школы. Как, Петров, этот хулиган, способен на такое!

Я решил, что буду давать по возможности точную характеристику всех тех людей, с которыми мне приходится сталкиваться. А что представляю из себя я, Петров Виктор? Вот если все мое хорошее и плохое положить на весы, то, я думаю, плохое перетянет. Кто такой я? Прежде всего у меня очень скверный характер. Я самолюбив, горд, мне очень нравится, когда меня хвалят. Вот если бы меня учителя поменьше хвалили, то, может, я был бы совсем другой и у меня бы жизнь сложилась по-иному. Не был бы я сейчас здесь, вдали от матери.

Вот интересно сейчас, когда уже все позади и я остался у «разбитого корыта», проанализировать все. Ведь что мне мешало учиться спокойно, как все? Моя глупость. А все, буквально все началось из-за того, что... Нет, даже здесь мне скучно писать об

этом. И вот из-за этого все и пошло. Я вообще был грубый (это — мнение всех окружающих меня людей). Но сам я не считал и не считаю за большую грубость мои разговоры с учителями. А вот с матерью? Но об этом я как-нибудь напишу отдельно. Из-за этого (не из-за грубости) я стал часто пропускать уроки и дни. Пошли неприятности. Но кульминационным пунктом, по-моему, является случай с «Тигром Львовичем». И ведь я здесь был совершенно ни при чем. Но это, как обычно. Раз ученик шалит, так, значит, он сам во всем виноват. Да еще завуч на меня была зла. Хоть что мне пусть говорят, все же я никогда в жизни не соглашусь с тем, что она была права, поставив мне двойку ни за что. Я ей ответил все. Она мне поставила за поведение. И то как раз тогда я сидел тише, чем ребята, окружавшие меня. Я тогда читал какую-то книгу по математике. Но так как я сидел в окружении ребят, то я и стал за все в ответе. Ну, я молчать, конечно, не стал, я не люблю несправедливости. Я нагрубил ей. А здесь еще случай с «Тигром Львовичем». Это тоже учитель, маленький, тщедушный, но злой и мстительный. За это его так и прозвали. Он меня обвинил в том, что я выключил свет в классе, когда я, наоборот, включил его, а он, не разобрав, в чем дело, обвинил меня. И вот в результате всего этого и еще различной чепухи я оказался вне стен школы. Я как сейчас помню, как я страдал, когда не ходил в школу. Я не мог и дня прожить без школы. Ведь я «привязался» к школе. Но этих моих сожалений никто не видел, а я никому их не высказывал. Я почему-то не доверяю ни одному человеку.

Ведь что такое человек? Сейчас он твой друг, а через пять минут будет смеяться над твоей «тайной», над твоими «сокровенными» думами. И я уж очень давно решил: что бы я ни переживал, что бы у меня ни было на душе, о чем бы я ни думал, никогда и ни в каких случаях не говорить об этом никакому другу.

Ведь ни один человек не знает, не догадывается, что́ у меня скрывается под напускной беспечностью, под напускным наплевательством на всех и на все. Меня все знают только с плохой стороны. А кто знает, что горит внутри у меня, когда я вижу несправедливость, нечестность или подлую, никому не нужную мелочность! А как я ненавижу спекулянтов! Если бы была моя власть, я их всех пересажал бы и не выпускал бы до смерти! А кто догадывался, что я, вместе со всеми плохо отзываясь о милиции и о различных сотрудниках милиции, в душе желаю им успеха в их плодотворной и опасной работе! Ну, ладно, когда-нибудь допишу. В школу пора.

19 марта.

Прочитал предыдущее. Так себе, никакого впечатления. Вчера вместе с Вадиком ходил по магазинам. Я хочу найти себе материал на брюки и на пиджак. А то лето на носу, а у меня ничего нет «выходного». Но разве здесь что найдешь! Пошли мы с ним в кино — «Годы молодые». Очень веселая картина, красочная, прямо-таки молодая. Вышел из зала и некоторое время находился под впечатлением виденного. А Вадик заявил: «Теперь и на девчат смотреть неохота».

20 марта.

Вчера, как раз когда писал, пришел Вадик. Он с утра болел и не пошел на работу. А я такой: кто ни позовет, везде пойду. Ну, ходили, ходили, делать нечего, и пошли второй раз на «Годы молодые». Но почему-то после второго раза никакого впечатления. А вообще картина, по-моему, легкомысленна. В ней только поют да танцуют. А кто же за них работает? Папы да мамы? Но ведь Сергей — сирота. Да и вообще картина слишком приукрашена. Ведь не может же на самом деле быть такой веселой, беспечной жизнь людей! Я что-то таких не видел.

Да, а 19 марта вечером мы еще раз ходили с Вадиком в кино — на «Дорогой мой человек». Ходили специально с Галей. Кино рассказывает о сложной жизни героев, их любви, неудачах и т. д. Но до меня эта «тяжесть» почему-то не дошла. Какой резкий контраст между «Годы молодые» и «Дорогой мой человек»!

Почему-то многие восхищаются артистами, собирают их фото, по нескольку раз ходят на кинокартины с их участием. Не понимаю, что здесь особенного. Артисты — такие же люди, как и все. Ну, может быть, на ступеньку выше «всех» стоят. Так зачем их идеализировать? Будто бы от того, будет ли играть в этом фильме (ну, например, Баталов) или нет, зависит удача фильма. Да он (Баталов) хоть в лепешку разбейся, а если другие артисты будут играть плохо, то и фильм будет плохой. Про Галку пока ничего не могу сказать. Только она слишком доверчива, как ребенок.

Ну, а Вадик, он вроде бы и ничего. В нем мне не нравится одна черта его характера. Он, может быть, и не с целью, старается унизить человека. Я вот, например, хоть и знаю, что человек брешет, но никогда не скажу ему этого тут же, при людях. Ведь это унизит его. Или обозвать человека. Нет, лучше друга, чем Олег, мне больше не найти. Одна его черта мне тоже не нравилась, но это чепуха. Мы с ним понимали друг друга с полуслова. О нем отдельно когда-нибудь напишу.

23 марта.

Вчера ходил на танцы. Еще раз, другой, и полный порядок, я уже смогу танцевать. Вчера впервые самостоятельно танцевал с девушкой. Первый раз она меня пригласила, а потом и я осмелился.

«Бывает жизнь, когда глаза не плачут, но море слез кипит в душе»,— слова, не знаю кому принадлежащие. Я их вычитал из случайно найденной мною записной книжки. По-моему, у меня такая же жизнь. А что, разве нет? Ведь как-никак, а мне всего семнадцать лет, и жить в таком возрасте вдали от матери чрезвычайно трудно. Да, как у меня на душе тяжело! Но все же, несмотря на такую трагедию — да, трагедию в моей жизни,— я кончаю десятилетку. *«Самое страшное в жизни — это разочароваться в человеке, в людях»*. (Из записной книжки.) Я почти что стою на этой грани.

Что такое человек? Это, с одной стороны, какой-то клубок ненависти, зависти, страстей... Да, я знал и, кажется, знаю многих людей, которые ненавидели человека именно из-за зависти. Что и говорить, я думаю, нет ни одного человека, который бы не завидовал другим. Зависть — это огромный порок, присущий, по-моему, всем людям без исключения. А страсть? Каждым человеком овладела или овладевает страсть, алчная страсть к деньгам. Из-за этого самые страстные идут на преступления, а затем на скамью подсудимых. Найдутся люди, которые будут утверждать, что такие люди, каких я описываю, есть только в капиталистических странах. Чепуха! У нас они тоже есть. У каждого человека эти пороки так или иначе скрыты где-то в глубине, в потемках души. И у каждого они в той или иной степени про-

являются. У более благоразумных их можно подметить только при помощи тщательного наблюдения, у «ослов» они так и прут наружу.

А все же я сюда не все свои мысли записываю, привык не доверять, а вдруг кто-нибудь прочитает, ну и, конечно, на смех поднимет. А черт с ними, с людьми! Но все же: *«Осторожность приносит пользу слушающему и вред говорящему»*. (Из записной книжки).

Выпишу из этой записной книжки некоторые цитаты. Не берусь их разбирать.

«В этой жизни умирать не трудно, делать жизнь значительно трудней».

«Самая лучшая пора в жизни человека — это первая любовь. Она незабвенна» (??).

«Любовь входит эпизодом в жизнь мужчины, для женщины вся жизнь в любви». (Глупость!)

«Любить — это значит жить жизнью того человека, которого любишь». (Для меня это понять еще рано.)

«Золото испытывают огнем, женщину золотом, мужчину женщиной». (Глупость!)

«Собака умнее бабы, на хозяина не лает». (Пословица. Глупая.)

«Когда нужно слушать — будь первым, когда говорить — последним». (Правильно!)

«Уважение — основа дружбы».

«Лучшая поэзия не стоит худшего товарища». (Дурак выдумал это выражение.)

«Для девушки недостаточно быть чистой, надо еще, чтобы ее уважали». (Вот это да!)

«Думать — значит страдать». (Сильно!)

«Какая страшная вещь — любовь к женщине!» (Правильно!)

«Человек не может жить на свете, если нет у него ничего впереди радостного». (Кажется, Макаренко. Отлично!)

«Смех — недурное начало для дружбы и, пожалуй, лучший конец для нее».

«Мечтать — это значит предвидеть».

«Только тот счастлив, кто другим приносит счастье» (!).

«Жизнь — борьба, оружием которой является знание».

«Вино в бокале надо пить, пока оно играет, пока живется — надо жить».

«Дружба выдумана только для того, чтобы прикрыть пустое место в сердце, где нет любви».

«Молодость счастлива тем, что у нее есть будущее». (Хорошо сказано!)

«Не всегда в жизни бывает то, чего даже очень сильно желаешь». (Конечно.)

И вот в таком духе вся записная книжка. Это, по-моему, мещанство, да еще какое глупое!

24 марта. 23 ч. 25 м.

О как невыносимо тяжело и грустно! Прямо не знаю, что делать, что думать. А все это письмо! Сразу рухнули все мечты, все надежды. Да, правильно, «человек без мечты, что сокол без крыльев». Точно такое же настроение у меня было ровно год назад, когда я ушел из дневной школы. Передо мной была неизвестность, и я не знал, что делать, что у меня будет впереди. И только много времени спустя, когда я устроился на работу, я успокоился. Наконец-то передо мной была ясная цель, ради которой можно и надо учиться,— институт. И я учился. Но вот что-то постороннее властно и сильно вторглось в мою жизнь, разломало и исковеркало ее. Я вынужден был уехать. Потом история в Смоленске.

Нет, никогда, никогда в жизни я не забуду того, что в самую трудную минуту моей жизни отец, прямо говоря, выгнал меня. Как я тогда плакал, о чем я тогда только не думал! А ведь в это время передо мной был выбор: или быть честным, работать, учиться, или... (что почти вероятно!) стать на путь преступлений, и вот в этот период отец указал мне на дверь. Нельзя выразить, ни тем более описать, что́ тогда творилось со мной. Но нет. Все же нашлись добрые люди, ободрили, поддержали и устроили. Память о них я навечно сохраню в сердце.

А что сто́ят слова Володи, моего двоюродного брата? Нельзя забыть его слова при прощании со мной. Мы с ним стояли на краю дороги. Он сообщил, что завтра уезжает. Я пожелал ему доброго пути. И здесь он взял меня за руки и, смотря прямо в глаза, горячо заговорил: «Брат, ты смотри! Будь, брат, человеком! Не горюй. У всех ошибки в жизни бывают. Не забудь, Витек, что вокруг тебя много хороших людей. Советуйся с ними, опирайся на них». И я поверил, что эти слова исходили у него из самого сердца, из самой глубины души.

И вот в Брянске я кончаю десять классов. Я решил поступать в заочный юридический институт. Мама тоже была не против. Мне выслали все нужные книги, и я стал заниматься, готовил уроки в школу, учил билеты и готовился по программе в институт. Я жил, да, буквально жил мечтой об институте и вдруг — бац! В субботу пришло из дому письмо. Мама уже не советует поступать в юридический. Это выходит, что я должен поступать в машиностроительный. Но я боюсь, боюсь математики, химии. Ведь я тригонометрию вообще не знаю, хотя и имею за эту четверть «четыре». Задачи по геометрии решаю плохо, алгебру, думаю, что немного знаю. Химию с пятое на десятое знаю. Физику на тройку знаю. Куда с такими знаниями поступать? А здесь еще английский. И вот у меня уже четыре дня голова разламывается: что делать, как быть? Но нет, это мне не под силу решить. Завтра же обязательно пойду к дяде, поговорю с ним. Он мне что-нибудь хорошее посоветует.

5 апреля 1959 г.

Давно не писал. А за это время случилось весьма важное событие: первого апреля приезжал мой отец, а третьего уехал. Отец! Неужели он не мог со мной поговорить, а? Уехал, и я даже с ним совершенно ни о чем не поговорил. У меня создалось впечатление, что он избегал разговора со мной. Ну ладно, шут с ним! В общем, решено: поступаю в машиностроительный институт. Это, я думаю, тоже вернее. Уж поступать, так чтоб поступить.

А я очень влюбчивый. Влюбляюсь в каждую встречную девчонку. А все же Галя меня смущает, ей-богу. Правда, неудобно перед Вадиком, но Галя мне нравится. Ладно, потом допишу. А то сейчас писать невозможно.

8

Дорогой Витя! Получил твое письмо со старыми записками.

Эти записки говорят вот что: путаницы у тебя в голове изрядно, но основа все-таки неплохая, просто, я бы сказал, здоровая основа, и тебе жить бы да жить, да жизни радоваться и работать засучив ру-

кава. И напрасно ты напускаешь на себя печоринскую тень. Переламывай-ка в себе это и прочно становись обеими ногами на землю и шагай в жизнь. Не ерунди! Сам же ты видишь: вокруг тебя больше хорошего, чем плохого, а присмотришься, и еще более найдешь.

А потом учти и вот что.

Нельзя только требовать от людей — вот они ко мне так-то и так-то относятся. А люди-то ведь — тоже люди, они тоже от тебя хотят хорошего отношения и к себе и к тому делу, которое они творят. Решают взаимные отношения людей.

Поэтому берись-ка ты за дело, измени сам свое отношение к людям, к обществу, и они к тебе по-другому будут относиться.

Выше голову и веселее взгляд!

Помни: в конечном счете человек сам формирует себя.

Думаю, что ты правильно сделал, решив поступить в институт. Желаю тебе успехов. И пусть мысли у тебя не разбегаются, а, наоборот, собираются в крепкий пучок.

Еще раз желаю тебе всякого добра.

Г. Медынский.

10 июля 1959 г.

9



Здравствуйте, Григорий Александрович! Недавно получил Ваше письмо. Не отвечал потому, что не было желания, вернее, настроения, писать. А когда у меня нет настроения, то я навряд ли что-либо напишу.

Сейчас сидел и читал книжку (мне идти на работу в третью смену). Но так как я читаю уже четыре часа подряд, то мне надоело даже в книжку смотреть, да и спать охота.

Буду отвечать по порядку.

Я с Вами согласен, что основа во мне хорошая. Но если у меня что-нибудь не ладится, мне недолго «сойти с ума» (так я выражаюсь).

В записках у меня, если не ошибаюсь, есть такая фраза: «А все же я очень влюбчивый». И, по-моему, это первая причина, которая чуть было не привела меня к катастрофе. Еще с шестого класса я безумно (как это ни смешно) влюбился в девчонку из соседнего класса. И хотя я никогда не отличался застенчивостью в школе, на улице или дома, у меня не хватило смелости подойти к ней. Она жила недалеко от нас. Это все длилось до девятого класса. Я уже начинал на себя злиться. Я не мог без нее, без того, чтобы ее увидеть, дня прожить. Дело дошло в конце концов до того, что я начал «сходить с ума». Начал пропускать занятия, стал еще грубее и, что особенно удивительно, стал очень нервным.

Я не пошел в школу, в кино пошел. Но ведь почти каждый день ходить в кино, иногда по два-три раза в день, нужны деньги. Мать каждый раз давать не будет. Я в Грозном жил с матерью и сестрой. Завел «хороших» друзей. У матери уже начал требовать деньги на папиросы.

Я не отрицаю, класс и некоторые учителя пытались меня вразумить. Но что мне был тогда класс, ведь я же сам себе хозяин. Затем нелепая ругня с завучем. Ну, в общем, в конце концов я ушел из школы. Ушел, обманув учителей. Мне не давали документы, я им представил справку, что уезжаю, и получил документы. Пошел в вечернюю школу.

Наверно, ни одна мать не пролила столько слез, не провела столько бессонных ночей из-за своего сына, сколько моя. Но до меня тогда это не доходило.

Четвертую четверть девятого класса я окончил в вечерней школе. Мать уговорила меня уехать на лето под Оренбург, к ее родным. Я ей поставил условие: буду работать — буду учиться, не буду работать — не буду учиться.

В общем, в конце июля я снова появился на улицах Грозного. Прилетел на самолете, обманув мать на 150 рублей.

С этого времени я начинаю пить водку. Сначала пьянел, потом начал привыкать. Пошел работать учеником токаря. Пошел в десятый класс. На этом бы и поставить точку. Так нет, новая появилась любовь. Теперь это уж была девчонка из моего «бывшего» класса. Мою «любовь» она отвергла.

Я пуще начал пить. Ведь уже работал, да и «хороших» дружков хватало.

Ладно, начну закругляться, уже 12-й час, а в час на работу. Я уверен, если я сейчас не допишу, то потом навряд ли еще когда на меня найдет такая откровенность.

Четвертого января 1959 года, в одиннадцать часов ночи (я сидел читал), только что с улицы пришел, заявилась ко мне милиция в составе нашего участкового, старшего оперуполномоченного и бригадмильца. С бригадмильцем я учился с первого до пятого класса, до тех пор, пока школы не смешали. Я им отдал нож, обыкновенный столовый нож, каким хозяйки мясо режут. Он у меня был спрятан. Затем разговор в милиции.

Пошли различные слухи, мамаши моих хороших «друзей» стали на меня косо посматривать, запрещать своим деткам со мной ходить.

Кончилось все тем, что я решил немедленно уехать. В субботу сильно выпил, и мне пришла эта мысль — уехать. Бросить все, уехать, начать новую жизнь в кругу новых людей. Во вторник я лежал в купе поезда Баку — Москва и думал, думал, думал. Да, я правильно сделал, что уехал. Надо начать новую жизнь!

Приехал к отцу в Смоленск. Как он меня встретил, Вы знаете из моего первого письма. В воскресенье (я пришел в субботу) отец с женой ушли к брату советоваться в отношении меня, а я остался с двадцатилетним сыном жены отца. Он предложил мне выпить, у меня денег не было. У него деньги были. Мы сходили за его двумя дружками, купили две бутылки водки, потом еще бутылку, потом выпили какое-то вино, которое было дома.

На другой день жена отца узнала, что мы пили. Конечно, вся вина легла на меня, ведь я «бандит», приехал развращать ее сынка. А ведь сынок предложил мне выпить, а не я ему! Отец со мной вообще перестал разговаривать.

Не буду писать, как я жил неделю у родного отца. Он уходит на работу, сын тоже, жене нужно куда-нибудь идти, но ведь меня нельзя же дома оставить одного, ведь я вор, и мне тактично намекали ежедневно, чтобы я один дома не оставался. Я целыми днями бродил по улицам: ведь дом на замке.

Ладно, писать больше не буду, опаздываю на работу. Не скоро на меня найдет такая откровенность.

А ведь и здесь, в Брянске, у меня чуть было все не пошло по-старому. Здесь тоже почти «любовь» была, но теперь я ученый.

До свидания. С приветом

Витя.

21 июля 1959 г.

10

Здравствуйте, Григорий Александрович! Вы, возможно, меня забыли, но я напоминаю о себе. Я Петров Витя, помните, я присылал Вам из Брянска несколько писем? Ну вот, я тот самый и есть.

Почему я Вам сейчас пишу? Я и сам не знаю. Сейчас у меня паршивое настроение, вот я и пишу. Конечно, своими мыслями я могу поделиться с товарищами, но разве они поймут? Одни удивленно посмотрят, как на сумасшедшего, а другие... Просто неохота с ними говорить об этом. Эти другие были когда-то моими одноклассниками, учились в соседних классах, а теперь? Теперь они все работают, многие продолжают учебу. Нет, они меня не поймут, да и не хочу я.

В Брянске я не ужился. Почему? Обо всем писать долго, да и неохота сейчас. Основная причина — самолюбие, гордость. Не знаю, откуда это у меня, но я люблю везде быть первым, люблю, чтобы обо мне говорили. А что из этого вышло?

Из Грозного уехал. Хотел измениться в Брянске, но... не сумел. Сначала было желание, очень большое. А потом почему-то злость все больше и больше стала меня забирать. Вижу человека, у него правильная, уже выбранная дорога в жизни, а у меня — ничего...

В конце концов в том районе, где я жил, обо мне ребята стали говорить с уважением. Я добился этого. Что я скажу, то и делали. Весело жизнь шла. Познакомилась со мной и брянская милиция.

В апреле я взял расчет и уехал из Брянска с другом вместе. Собирались вчетвером, а уехали вдвоем — двое не поехали. Почти весь апрель ездили. Хотели где-нибудь устроиться на работу. Мы совершили ошибку.

Нам надо было ехать на север, а мы поехали на юг.

За этот месяц мы ездили и на крышах вагонов, и на тормозных площадках, и в мягких вагонах. Нас, конечно, принимали любезно, улыбались, советовали, но... не торопились предоставить работу по специальности (у меня специальность слесаря и контролера ОТК). Так было и в Москве, так было и в Шахтах. Были мы и в райкоме комсомола и в горкоме. Да что там говорить! Разве после всего этого не становится тебе свет не мил? Просто не хотели нами заняться.

После месяца скитаний пришлось мне ехать в Грозный. Тогда я решил, что все равно меня через месяц-два призовут в армию, и поехал к родным на лето, под Оренбург. Поехал и потому, что хотел быть меньше со старыми «друзьями».

В августе приехал, прошел все комиссии, но меня оставили до особого распоряжения и позже сказали, что в этом году вообще не призовут.

Опять я стал искать работу. И сейчас вот мне пообещали. Так что устроюсь после девяти месяцев «отдыха».

Но ведь все это время я был с друзьями. На днях меня задержали в главном универмаге. Мне предъявили обвинение, что я якобы пытался украсть плащ.

Сейчас меня выпустили под расписку. Но это все чепуха. Сейчас главное не это. Наказание большим не будет. Этого я не боюсь.

Мне кажется, что я даже рад. Ведь как все это произошло? Перед этим я, как всегда, поругался с двумя дружками, которые меня всегда тянули на плохое — я о них как-нибудь вам расскажу,— и я вздохнул после этого легче. С плащом я был один. Я, конечно, все отрицаю и т. д. Но не в этом суть. Мне кажется, что это наивысшая точка моего кризиса, моего падения. Если раньше я только гордился бы своим задержанием, то теперь я переживаю его. Да, я рад, что меня задержали. И теперь я уверен, что это — мое последнее задержание.

Прошло три года. Что все это мне стоило, о матери уж и не говорю. Все, что я делал, я делал назло, а кому? Или, возможно, я находил в этом удовольствие? Трудно на это мне сейчас ответить. Об этом еще не раз, наверное, буду думать. Конечно, не все сразу забудется.

Но это все позади. Мне сейчас кажется, что и дышать легче стало. Знаете, где-то я слышал слова: «К позорному прошлому возврата нет». Я буду стараться придерживаться их смысла.

Да, много пережито, много трудностей позади. Но ведь сколько я еще встречаю ребят, которых завлекает «романтика уголовного мира»!

Что-то много я расписался. Я несколько раз принимался писать Вам, но никак не кончал — как начну вспоминать все прошлое, столько в голову всякой мути лезет, что и писать неохота.

И сегодня даже не думал столько писать. Хотел просто поделиться с Вами радостью. Несмотря даже на то, что я сегодня дал подписку о невыезде и мое дело направлено прокурору, я все же рад. Да, именно рад. Рад потому, что мне сейчас кажется, что я стою на правильном пути, пусть еще неверно стою, пусть еще почва зыбкая у меня под ногами, пусть еще я не покончил с темным прошлым, но все же я рад.

Ну, вот и все.

Простите, если что не так написал. Охота много написать, но не могу.

С приветом

Витя.

2 декабря 1960 г.

11



Здравствуй, Виктор! Прочитал твое письмо и очень огорчился. Значит, ничего не получается? Обидно! Сколько у тебя было хороших намерений, и вот опять ты, как былинка в поле, гнешься и шатаешься на жизненном ветру и не можешь отделаться от мути, которая разъедает твою душу. Нехорошо это!

Берись, Виктор, за себя как следует. Помни: жизнь все-таки одна, и прожить ее нужно достойно. Тут Островский тысячу раз прав. А помнишь, как хорошо ты писал о нем в своем дневнике? Если бы ты знал, сколько я получаю тяжелых, горьких писем, исповедей, в которых люди подводят печальные итоги жизни и готовы кусать себе локти, но их не достанешь: жизнь ушла, силы иссякли, жить нечем и

не для чего! И нечего сваливать вину на кого-то, на каких-то бюрократов. Ведь, кроме вас, шалопаев, есть народ, интересы которого тоже нужно защищать. У тебя были все возможности наладить жизнь, а почему ты сорвался, и где ты шатался, и что делал?

Кончай с этим, Виктор! Оседай на место, порывай с дружками, принимайся за дело. Пока — за любое, а потом найдешь дело и по душе.

Вот тебе мой последний отеческий совет. Не послушаешься — сорвешься, и будет поздно.

Смотри. Думай.

Г. Медынский.

29 декабря 1960 г.

Поздравляю тебя с Новым годом и желаю новой жизни. Я в это все-таки верю.

12

Григорий Александрович, добрый день! Прошел год, как я написал Вам последнее письмо. Я Петров Витя, помните, я писал Вам из Брянска, затем из Грозного? Да, я тот самый шалопай, который горячо брался за дело, хотел «человеком стать», затем срывался, вновь брался, да что и писать — Вы, наверно, помните мои письма.

Начну по порядку. Ровно год, как послал я Вам последнее письмо, это было перед моим судом.

Судили меня третьего января 1961 года. За тот самый плащ. Приговор: «Год трудовых исправительных работ по месту работы с вычетом 15% заработной платы».

Суд кончился. Я вышел на улицу. Ничего не изменилось на ней. Но в душу мне что-то запало. То ли злость, то ли обида, то ли жалость к самому себе. Почему я такой, почему меня так хлещет жизнь? И почему у меня такая путаница?

Перед судом написал все отцу. Мне кажется, я никогда в жизни не писал таких писем, в нем было все, что во мне нагорело, все передуманное. Я написал ему, как отцу, как человеку с большим жизненным опытом. Просил совета: не лучше ли будет мне жить у него? От него ни ответа, ни привета. Если бы Вы знали, как я надеялся на него, как мне нужна была его поддержка, отцовская поддержка, которую я еще никогда не ощущал! И я опять глубоко ошибся, рассчитывая в трудную минуту на него.

Я замкнулся; работа и дом, книги — больше я ничего не знал. Я был глубоко обижен, я был зол на всех. И вот я решил во что бы то ни стало учиться да учиться.

Трудно пришлось мне с моим характером, привычками, очень трудно. Но в конце концов я поступил в наш нефтяной институт на промысловый факультет, дневное отделение. Если бы можно было описать те чувства, которые овладели мной, когда я увидел свою фамилию в списке зачисленных! Какие это были минуты! Потом оказалось, что до истечения срока судебного наказания я не имел права поступать в институт. Опять волнения, тревоги. Но все утряслось. Мне разрешили учиться. Я студент! Коротко, но как для меня это слово много значит!

Мне только двадцать лет, но уже в голове немало встречается седых волосинок. Вот к чему привели меня какие-то три года моей сумасбродной жизни. Вы знаете, два различных преподавателя мне сказали одно и то же, глядя на меня. Преподаватель химии, а через три дня преподаватель истории КПСС: «У Петрова вид и взгляд человека, обиженного всеми и жизнью. Как будто кто его обидел».

Да, сложная, очень сложная штука жизнь! За сравнительно небольшой период чего только человек не перенесет, не увидит, не испытает!

А с какой радостью я вчера слушал слова человека, девушки, с которой я расстался незадолго до суда и впервые вчера встретился: «Я всегда говорила, что из тебя выйдет человек, ты станешь на правильный путь».

Да, я вроде бы стал. Поступил в институт. Но что это мне дает? Говоря откровенно, мне не по душе (не знаю, как дальше) моя будущая специальность.

Нет, это мне очень много дает. Ведь у меня ясная цель — окончить институт. Да и в душе что-то ломается. Некоторые взгляды меняются, некоторые колеблются. Учусь я только четыре месяца, а сдвиги в себе замечаю; что дальше будет, через год, через четыре года?

Иной раз я спрашиваю себя: «Неужели это я, я, Петров Витька, учусь в институте?»

Вот не могу я писать, Григорий Александрович!

Я перечел Ваши письма (все у меня целы), они вызвали у меня массу воспоминаний, мыслей.

Я задумал написать Вам: нет, Григорий Александрович, не зря, совсем не зря Вы писали мне письма. С последнего письма прошел ровно год. Результат виден. Я стою, пусть еще не совсем уверенно, но обеими ногами на хорошей жизненной дороге. Впереди вижу ясную цель.

Я благодарен, глубоко благодарен Вам за Вашу заботу обо мне, за Ваши теплые, хорошие письма. Спасибо!

Ну вот, что-то получилось наподобие письма.

Еще раз благодарю Вас за все.

Поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы и для Вас все наступающие новые годы были такими же отличными, вдохновляющими, как для меня 1961 год.

Витя.

Сейчас я сдаю зачеты, из семи сдал четыре, из них три зачета досрочно.

19 декабря 1961 г.

13



Дорогой Витя, здравствуй! Напрасно ты напоминаешь мне о себе: я, мол, тот самый, который... Я о тебе всегда помню, весь этот год часто думал о тебе, и меня беспокоило то, что ты молчишь. Неужели, думаю, стряслось что-нибудь с ним? А у тебя, видишь, какие чудесные дела получились: взял голову в руки и сдал в институт! Молодец! Совсем молодец! И даже зачеты сдаешь! А ты говоришь!

«Но что это мне дает?» — пишешь ты в своем письме. Да ты что? В своем уме? Что тебе это дает? Тебе это место в жизни дает! Тебе это силу дает! Тебе это цель дает! И нечего размагничивать себя разными сомнениями, что «не по душе, мол, моя будущая специальность». Какая чепуха! Знай: все специальности хороши, кроме специальности нытика, лодыря и вора.

Добывать нефть, силу, энергию, накопленную за миллионы лет и втуне скрытую в недрах земли, добывать на пользу человеку — чем же это тебе плохо? Разве это не цель?

И на людей брось сердиться. И об отце не думай, если он такой,— становись сам на ноги, а отец на старости лет, может, сам к тебе с повинной придет. Вот видишь, и в институт тебя приняли, не имели права, как ты говоришь, принимать, а приняли. А два преподавателя, которые так чутко поняли твое настроение, а та девушка, которая сказала: «Я всегда говорила, что из тебя выйдет человек!»? Она верила в тебя тогда, когда ты куролесил и портил жизнь себе и людям.

А много ли ты-то сделал добра людям за это время, чтобы от них чего-то требовать? Вот в чем штука, Виктор.

Брось ты мотаться душой из стороны в сторону, как тряпка на ветру, становись на якорь и вгрызайся в дело. И все тогда станет на свои места, поверь мне! И солнце тогда иначе для тебя будет светить, и люди для тебя будут другие, и жизнь другая. Нужно в первую очередь не требовать от жизни, а давать ей и делать ее, и она в долгу не останется. А то разочаровался: «Я был обижен, зол на всех!..» Ты три года промотался, ничего не делал, под суд угодил, а все виноваты. А люди в это время Волжскую станцию пустили, Братскую почти построили, в космос поднялись, атомный ледокол построили — да чего-чего они только не наделали, пока ты Печорина разыгрывал!

А я, со своей стороны, посылаю сейчас тебе в подарок мою книжечку «Не опуская глаз». Она только что вышла и, думаю, будет тебе полезна.

Ну, пока всего, всего доброго. Пиши.

Г. Медынский.

18 января 1962 г.

14

Здравствуйте, Григорий Александрович! Получил Ваше письмо и книжечку,— большое спасибо за внимание, за хорошее, теплое письмо.

Первый семестр я, можно сказать, окончил успешно. Сдал все 7 зачетов и 2 экзамена. Математику на «отлично», начерталку на «посредственно». Из-за своей лени и самоуверенности я получил «удовлетворительно». Но ничего, и это хорошо.

18 и 19 января я был на суде. Судили моих бывших дружков. Когда-то мы были трое неразлучных. Я смотрел на них, сидевших на скамье, и мне было очень жаль их. Я понял, что молодость их испорчена. Ведь если бы я не порвал с ними тогда, то обязательно сидел бы рядом.

А теперь я на все смотрю с другой стороны, не как бывало раньше.

Мне кажется, что жизнь человека зависит во многом от случайностей. В жизнь вступает человек. А как? В основном не подготовлен он к такой сложной штуке, как жизнь. Оказывается в потемках. Но, как и положено человеку, он спешит, торопится. А впереди неровная дорога, развороты, углы. Он бьется о выступы, об углы. Иному хватит одного удара, и он дальше пойдет ощупью, зато уж идти будет твердо. Другому надо удариться несколько раз, и только тогда он с трудом увидит впереди себя свет, к которому будет стремиться всей душой. И только незначительное меньшинство навсегда остается в темноте в силу определенных обстоятельств. Можно еще сказать, что некоторое количество людей проходит через жизнь без единого искривления, но таких немного. Надо писать книги о тех, и других, и третьих, надо рассказывать, показывать жизнь, а то я знаю немало молодых парней, которые, наслушавшись россказней разных бродяг, мечтают походить на них.

Теперь немного о себе. Как я провожу свое время? В тот период, когда я покончил с «друзьями», мне было очень трудно. Можете себе представить, я, привыкший к окружению ребят, несколько месяцев был один. Весной постепенно нашел хороших друзей. Затем познакомился с девушкой. С ней я ходил 7 месяцев. Ни разу со мной такого не случалось. Эта девушка вначале сыграла положительную роль в моей жизни; затем произошел разрыв. О моих отношениях с ней писать очень долго и сложно. Конечно, во многом был виноват я, но в конечном счете...

Что я делаю сейчас?

У меня огромное количество знакомых. Все удивляются моей способности знакомиться с девушками. Да, это у меня выходит отлично. Но меня они не увлекают. Мне даже доставляет удовольствие увлечь немного девушку, а затем бросить ее. Вы скажете: пошло, низко и т. д. Я это сам понимаю, но делаю.

Но мне хочется найти хорошую девушку. Мне будет легко с ней, она мне необходима. Как мне было легко, когда я ходил с моей «бывшей любовью»! Вообще в «сердечных делах» у меня огромная путаница, и это мне очень вредит. Но ничего, как-нибудь порядок наведу.

О моих друзьях? Их у меня полно и тех и других. Хорошие мои друзья намного старше меня. Им по 27—30 лет, а мне только лишь 20. Конечно, молодых хоть отбавляй, но все же именно эти «старые» — мои лучшие друзья. Один из них, Ваня, женат, имеет ребенка, у него четыре судимости. Отсидел в общей сложности 9,5 лет. Другой, Жора, 30 лет, три раза был женат, сейчас холост; и третий, Саша, 27 лет, холостой. Когда я стал учиться, я с ними реже стал видеться, но дружба от этого у нас не ломается.

Но все же иной раз я хандрю. Становится почему-то очень скучно, обидно и... жаль себя. Кажется, что меня обидели, обошли.

Главная моя слабость, что меня и связывает с моими друзьями,— я люблю выпить. Разумеется, это все не то, что было раньше. Тогда я пил зверски. Возможно, я хотел заглушить тоску, убить, спрятать дальше совесть, прикрыть страх. А я всегда боялся, хотя по мне никто этого не видел.

Я всегда и везде шел и был первым. Мне говорили, что я счастливый, что мне везет. Нет, просто мне всегда помогала моя наглость и самоуверенность.

Мать меня ругает за выпивку, но я никак не могу отказаться. Тем более, когда у меня паршивое настроение. А вообще-то об этом нечего писать.

В основном у меня все идет хорошо. И я хочу надеяться, что в дальнейшем будет еще лучше, ведь учеба только началась.

Витя.

17 февраля 1962 г.

15



Григорий Александрович, здравствуйте! Написать письмо, в котором можно как-то попрямее, правдивее изложить свои мысли, думы,— задача, оказывается, не из легких. Я несколько раз брался, но все не получалось. В конце концов с грехом пополам написал, но еще дня 3—4 носил с собой, все не решаясь отправить.

Сейчас живу с матерью. Она работает на швейной фабрике мотористкой. Мать для меня делала и де-

лает много хорошего. Правда, я с ней не совсем вежливо обращаюсь (такой уж грубый у меня характер), но я ее очень уважаю. Мать малограмотная, но мне и сестре она всеми силами стремилась дать образование. А ведь нам иной раз было очень трудно. Как она переживала за меня! Когда я «сходил с ума», она даже заболела от расстройства. Да что там и говорить, много, очень много досталось ей горя в жизни! И она, конечно, законно гордится, что сестра и я имеем за плечами десятилетку. Я уже учусь в институте, а сестра окончила техническое училище и работает на Брянском камвольном комбинате ткачихой и готовится также поступить в институт.

Григорий Александрович, в Вашей книжечке «Не опуская глаз» приведены слова из моего письма, которое я писал Вам в 1959 году. Эти слова характеризуют слабость моей силы воли, слабость характера. Но с тех пор прошло почти 3 года. Каким я стал? Как я боролся это время за себя, за человека в себе? А главное, я порвал со своими старыми дружками; вот это, по-моему, и есть решительный сдвиг в моей жизни.

И вот я поступил в институт. Это — поистине потрясающее событие в моей жизни. Я с гордостью говорил: «Я студент!» Мне нравилось учиться, я изголодался по учебе. Когда я захожу в институт, я меняюсь: становлюсь вежливым, стесняюсь. Институт поставил меня на ноги, уже изрядное количество мути выбил из моей головы, и я верю, что недалек тот день, когда моя голова будет совсем свободна от всей этой мути.

И правильно Вы говорите, что если у человека есть цель в жизни, есть за что драться, то его не сломаешь. Сейчас моя цель — окончить институт. И будьте уверены, я его окончу, окончу во что бы то ни стало. Сейчас меня навряд ли что-нибудь собьет с пути.

Я так сейчас изменился, что знаю: даже по пьянке я навряд ли пойду на какое-нибудь «дело». Ведь это уже ни к чему для меня. Я ведь студент. Мое будущее впереди.

Главное, я увидел, что я тоже человек, пусть не совсем стоящий, но все же я за свою цель сейчас буду зубами драться с любым, кто на нее посягнет. От всех своих друзей я только и слышу: «Давай, Витек, учись!» И я буду учиться.

Насчет девушек я пока не буду ничего писать. Здесь я чрезвычайно запутался. Черт знает, что со мной случилось! Ведь закон мой был: ставить их ниже себя,— я и сейчас его держусь. Но в одном у меня вышла загвоздка. И я никак не могу решить, что это значит. Но навряд ли это любовь. На такую пылкость я, кажется, не способен (самоуверенность).

Ну, пока хватит, а то расписался!

С приветом

Витя.

8 марта 1962 г.

16

Дорогой Витя, здравствуй! Очень, очень рад всем твоим успехам — и экзаменам и зачетам. И я присоединяю свой голос к тому, что говорят тебе друзья: «Давай, Витек, учись!»

Но я также всем сердцем хочу сказать тебе и другое: «Давай-ка, Витек, по-серьезному браться за самого себя!» Что ты сделал много, это очевидно, это ты и сам знаешь. Но кто не идет вперед, тот идет назад; мир целей безграничен, и настоящий человек никогда не может сказать себе: «Остановись, мгновенье,— все! Я достиг того, что нужно, и больше мне нечего хотеть». Это может сказать только душевно мертвый человек. Да и вообще полный покой бывает только на кладбище, а до кладбища нам с тобой еще далеко, и по жизни тебе еще топать и топать. А потому, раз ты уже взялся за свою жизнь, давай ее осмысливать до конца.

Мне не совсем нравятся некоторые нотки в твоем вообще умном и хорошем письме.

«Сейчас меня *навряд ли* что-нибудь собьет с пути»,— пишешь ты. И в другом месте: «Я так сейчас изменился, что знаю: даже по пьянке я *навряд ли* пойду на какое-нибудь «дело».

Как это «навряд ли»? Что это еще за формулировочка? Ты должен отсечь всякие возможности сбиться с пути. Раз и навсегда! Как мужчина! Понял? И изволь дать мне это слово.

«Даже по пьянке»,— говоришь ты, сам, видно, понимая, что по пьянке можно все сделать; можно и жизнь погубить, скажу я тебе. И я тебя прошу: кончай с этим! Теперь ты стал на ноги, кончай, пока не поздно! Ты парень сильный, у тебя есть воля, разум, ты сможешь все сделать, если поймешь и захочешь.

Кстати, насчет друзей. Не пора ли тебе заводить других, более стоящих, с широкими интересами?

Хотелось бы мне и еще о многом сказать тебе, но пока довольно. Скажу только о двух вещах — о грубости и отношении к девушкам.

Когда-то тебе грубость, может быть, и нужна была для утверждения в жизни, а теперь... Как же можно жить с людьми и не уважать людей?

То же и о девушках. Человеку дан рубль, а его можно разменять на гривенники, копейки и гроши, и вот от него ничего не останется. А другого не будет. Силу души тоже нужно беречь и не тратить по мелочам. А благородный человек должен быть благородным во всем.

Ну пока, всего доброго. Пиши.

Г. Медынский.

26 марта 1962 г.

17

Здравствуйте, Григорий Александрович! Очень давно получил Ваше письмо и очень по-свински поступил, что сразу не ответил. Все откладывал и дошел до того, что мало времени стало: конец семестра, зачеты.

Но вот сейчас решил (хотя времени намного меньше) обязательно написать.

Что я сейчас делаю? Сдал зачеты, и сейчас экзамены. Все бы ничего, да очень ленив я. Ведь я совершенно не занимаюсь. Вот не могу себя заставить.

Насчет пьянства я с Вами согласен. Я знал да и сейчас знаю людей, которых пьянка довела, как говорится, «до ручки». Один даже (неплохой друг был) умер от выпитого количества водки и одеколона. Нет, я и друзья мои не пьяницы, но мы любим в свободное время выпить бутылку-другую вина. Водку мы не пьем.

Будьте уверены, Григорий Александрович, с хорошей дороги, на которой я сейчас стою, не сверну даже по пьянке. Уж в этом я твердо уверен.

Но сейчас я закончу свое письмо: все же надо еще почитать математику. Ведь как бы ни везло, а если знать ничего не будешь, то «неуд» схватить легко.

Последний экзамен у меня 12 июня.

До свидания. Жду ответа.

Витя.

4 мая 1962 г.

18

Дорогой Витя! Письмо твое коротенькое, но радостное — значит, дела идут, экзамены сдаются и первый курс подходит к концу. Молодец!

Но меня удивляет другое. Ты пишешь: «Я совершенно не занимаюсь». Как же так? Это меня очень тревожит.

Здесь речь идет о двух вещах. Из института в жизнь тебе нужно выйти хорошим и, следовательно, подготовленным специалистом — это, во-первых, а во-вторых — и это самое главное,— тебе нужно «доделывать» свой характер. Ты же сам сознаешь, что тебе просто везет. А если не повезет? Если сорвешься? Ведь для тебя это вопрос жизни, Виктор!

Поэтому, пожалуйста, не успокаивайся на одних заверениях: «будьте уверены», «я твердо уверен» — и не полагайся на «авось». Повторяю: характер нужно доделывать, закалять и оттачивать.

Надеюсь, что по окончании экзаменов ты подробно напишешь мне о всех своих делах, друзьях, настроениях и планах.

Желаю тебе твердости и вообще всякого добра

Привет маме.

Г. Медынский.

12 июня 1962 г.

19

Добрый день, Григорий Александрович! Спешу поделиться с Вами радостью. Получил пять зачетов и сдал три экзамена. Две оценки «хорошо» и одна «удовлетворительно». (Это я сам виноват, знал на больше, но...) Но ведь главное то, что я без хвостов окончил первый курс и сейчас являюсь студентом второго курса. Скажете, хвалится; нет, горжусь, очень горжусь.

Знаете, сдал я последний экзамен, иду домой, и вдруг меня словно осенило: я уже студент второго курса! Даже трудно рассказать, что для меня значит каждый успех в учебе. Ведь я, на которого подозрительно смотрели соседи да и некоторые друзья, считая конченным, учусь, вернее, держусь за хорошую жизнь обеими руками, зубами, и никогда, верьте мне, Григорий Александрович, никогда никто не заставит меня свернуть с этого пути.

Вот так обстоят дела у меня с учебой. С 4 по 17 июля я буду на геологической практике. Август у меня будет свободным, и, вероятно, я буду проездом в Москве.

А вот непосредственно моя жизнь еще оставляет желать лучшего, возможно, что мне так кажется. Я все еще никак не могу отвыкнуть от того, чтобы выпить. Возможно, это — преувеличение, да, по-моему, это так и есть. Ведь я не напиваюсь до омерзения, а просто 5—6 раз (бывает, и меньше) в неделю по вечерам выпиваем по бутылке-другой вина. Нет, давайте лучше на эту тему не будем говорить.

Каково мое настроение? Конечно, отличное. Да и как оно может быть у меня плохим, если все так хорошо устроилось!

Сейчас у меня и взгляд прямей и шаг тверже. А раньше мне все делали упрек, что вечно хмурюсь и злой. Правда, очень плохо то, что я вспыльчив. Я очень с матерью ругаюсь. И причем я знаю, что не прав. А так получается: стоит только ей что-нибудь сказать мне, сделать замечание, и я ее очень грубо обрываю. Мне даже друзья замечания делают. Этим я не хвалюсь. Я, знаете, все же стараюсь сдержаться, смолчать, ведь она почти во всем права. И это приносит свои результаты. За последние месяц-полтора я резко сократил число ссор дома.

Видите ли, сейчас у меня совсем (почти) другое понимание действительности. До меня сейчас доходит со всей ясностью, сколько горя, сколько слез пролито, сколько всего пережито моей матерью, и как я к ней несправедливо относился, да еще и сейчас отношусь. Да, я в очень большом долгу перед матерью. Ее седина — плод моей глупости. И я стремлюсь сейчас к тому, чтобы лишнего грубого слова матери не сказать.

Как видите, Григорий Александрович, еще у меня всего хватает — и хорошего и плохого. Но главное — надо понимать, где хорошее, а где плохое, тогда со временем будет все только хорошее. Вы можете сказать: «Ты давно в этом разбираешься, но толку что-то мало». Но ведь не сразу же Москва строилась, так точно и человек—не сразу он делается хорошим.

Витя.

16 июня 1962 г.

20

Дорогой Витя, здравствуй! Еще раз поздравляю тебя с успешным окончанием года и вместе с тобою радуюсь, что ты второкурсник. Радуюсь и росту твоего человеческого самосознания.

Но опять не могу пройти мимо вопроса о выпивках. Я не хотел этого касаться, чтобы не надоедать, но когда прочитал, что ты выпиваешь пять-шесть раз в неделю, то, прости,— немножко множко. Ведь на это нужно и время, и силы, и деньги. Вероятно, из-за этого у тебя и получаются недоразумения и с матерью (кстати, напиши, из-за чего ты с ней ссоришься).

Ну, больше об этом не буду. Верю, что ты все обдумаешь и найдешь правильное решение и силы.

И еще вопрос. В своих первых «брянских» письмах ты много писал о литературе, искусстве, о своих общих настроениях, отношении к жизни. Как у тебя дела с этим сейчас? Читаешь ли что, что думаешь? Мне было бы тоже интересно.

Желаю успешно провести практику и отдохнуть за лето. Если будешь в Москве, буду рад тебя видеть.

Крепко жму руку. Всего доброго.

Г. Медынский.

22 июня 1962 г.

21



Добрый день, Григорий Александрович! Письма Ваши для меня замечательные — пусть хоть понемножку, потихоньку, но они делают свою работу (особенно последнее время). Я с радостью получаю Ваши письма: ведь каждое письмо от Вас заставляет меня иногда лишний раз подумать.

И пусть это не очень сильно заметно, но все же я

сам ощущаю отличное влияние Ваших писем. Мне очень понравились строки письма, где Вы пишете, что я должен «доделывать» свой характер.

Настроение мое, в общем, удовлетворительное. Теперь очень редко случается, что на меня нападает, как я сам выражаюсь, хандра.

Что я сейчас читаю? Ничего. Было время — у меня даже в школьной характеристике это написано,— я очень много читал. Сейчас нет. Читаю очень редко и притом только советскую литературу. Терпеть не могу фантастику. Старая русская литература не нравится потому, что все описываемое было давно, а иностранная — это происходило не у нас (пусть даже современная). Конечно, Вам такие рассуждения покажутся странными, но у меня такое мнение.

В кино хожу чрезвычайно редко. Очень уж у нас штампованные фильмы. Не успеешь посмотреть начало, а уж заранее скажешь и содержание и конец фильма. В этом отношении иностранные фильмы мне больше нравятся. А у нас одно «воспитание», да притом совершенно одинаковое во всех фильмах.

Не отрицаю, есть исключения, но очень мало. «Судьба человека», «Чистое небо», «Битва в пути». Вот если бы побольше было таких фильмов, воспитание шло бы в тысячу раз лучше. А наши так называемые кинокомедии! Сидишь и за весь сеанс не улыбнешься. Такое мнение о фильмах не у меня одного.

Зато я очень интересуюсь политикой. Она мне нравится.

Ну, вот вроде бы и все.

Если я куда поеду, то обязательно буду в Москве в период с первого по пятое августа.

Витя.

30 июня 1962 г.

Дорогой Витя! Я очень рад тому, что ты сказал о моих письмах.

Посылаю тебе несколько писем от тех, кто кается мне в своих прошлых грехах. И как часто источником этих грехов, кстати сказать, является «злодейка с наклейкой»! Вот несколько писем об этом я тебе про всякий случай и посылаю. Прочитай и верни мне.

Несколько удивило меня твое признание, что ты сейчас мало читаешь. Почему? Но, с другой стороны, заинтересовало то, что читаешь только советскую литературу. Раньше, помнится мне, ты ее не очень жаловал. Если сможешь, напиши, что́ ты читал последнее время, что́ тебя заинтересовало и что́ ты вообще думаешь о советской литературе.

И, наконец, о воспитании. Ты это слово берешь в кавычки. Напрасно. Воспитывать-то ведь нужно. Другое дело — как. Нудное, назойливое поучение принесет, пожалуй, больше вреда, чем пользы. Тут я с тобой согласен. Но воспитание, как воздействие, направление,— как же без этого можно взрастить нового человека?

Повторяю, если будешь в Москве, жду к себе. Буду очень рад.

Г. Медынский.

16 июля 1962 г.

23

Здравствуйте, Григорий Александрович! Получил я Ваше письмо как раз в день приезда с геологической практики. Письмо очень хорошее.

Сейчас я не буду Вам ничего писать, так как надеюсь на скорую встречу в Москве.

Я уже взял билет на 1 августа.

Ну, вот и все. До скорой встречи.

Витя.

27 июля 1962 г.

24

Добрый день, Григорий Александрович!

Вот снова я дома.

Я особенно вспоминаю сейчас тот теплый, сердечный прием, который оказали мне Вы, Ваша жена и родные, когда я был проездом в Москве. Я вспоминаю наши откровенные разговоры и всю нашу с Вами переписку, которую Вы, оказывается, сохранили, и я перечел ее с большим интересом.

Особенно интересна она мне потому, что от Вас я опять поехал к отцу.

Что изменилось там за прошедшее время? Все осталось по-старому: равнодушие, полнейшее равнодушие и нежелание даже ни о чем разговаривать.

Правда, однажды как будто бы у него мелькнула ко мне «любовь». Как мне кажется, он с гордостью представил меня своим как своего сына. Но из этого получился конфуз: родной мой отец забыл даже, в каком я городе родился и сколько мне лет. Да, отец влюблен в себя, он никого и ничего не хочет знать. Мне ясно его лицо — влюбленного в себя гордеца.

Но голову мне сейчас вешать не к лицу.

Я тысячу раз приношу Вам свою благодарность. Вы, Григорий Александрович, которого я считаю своим духовным отцом (не к пышной фразе), сделали чрезвычайно много для меня, для становления моего характера, который, может быть, еще окончательно не сформировался, но прочная здоровая база для него есть в голове бывшего «шалопая», как Вы меня однажды назвали, и за это, обидевшись, я целый год Вам не писал.

Я уверен, что если бы такое чуткое, сердечное отношение было у всех людей к разным «шалопаям», их было бы меньше, значительно меньше.

Если бы Вы знали, как важно человеку в трудный период жизни,— когда не знаешь, куда идти, как думать, что делать, когда все непонятно, а порой даже враждебно,— как важно в это время получить и хороший совет и самые искренние наставления, а главное, хорошую, дружескую заботу и душевное отношение! А ведь мне кажется, что главное в жизни — человеческое отношение. Такое отношение — чертовски важная штука. Разве я забуду учителя Василия Алексеевича Скворцова или своего двоюродного брата и обоих дядей за ту поддержку, которую в противоположность отцу они оказывали мне в период моей «сумасшедшей жизни»! Нет, это никогда не забудется.

Но самое главное — мать. Сколько волнений причинил ей я! Не счесть. В ее болезнях, в ее рано появившейся седине виноват я и только я. Мама простила меня, но сам я себе никогда не прощу. Я вечно в долгу перед ней.

Сейчас я оглядываюсь на свою такую маленькую, но на самом деле совсем не легкую жизнь, и в голове тысячи вопросов: что, как, почему, отчего? Да, от-

чего, почему я сразу не стал человеком? Может, на это оказало огромное влияние то, что я «безотцовщина»? Но почему должны страдать дети, если их родители что-то между собой не поделили? А может, и другие причины? Не знаю. Сейчас это мне еще не под силу решить, но я буду об этом думать.

Но зато я твердо знаю: никакая сила больше не заставит меня свернуть с таким трудом давшегося мне хорошего пути.

Разрешите закончить письмо строками из стихотворения, которое я прочел у Вас, когда знакомился с Вашей обширной перепиской. Это — письмо той девушки, о которой — помните? — Вы мне рассказывали.

Без борьбы, без слез и без сомнений
Никогда к нам счастье не придет.
Счастье вслед за совестью идет!

И сейчас, на пороге второго года моей учебы в институте, мне хотелось сказать еще раз спасибо и Вам, и книгам, и учителям, и всем, кто помогал мне выбраться на правильный путь.

Привет от мамы.

До свидания.

Витя.

15 августа 1962 г.

25

Дорогой Витя! Хочу сказать тебе важную вещь. Я показал всю нашу переписку товарищам из журнала «Юность», и она их очень заинтересовала. Они собираются ее печатать под нашими двумя фамилиями. Как ты на это смотришь?

Г. Медынский.

20 августа 1962 г.

26



Григорий Александрович! Ваше сообщение о публикации нашей переписки меня и порадовало и... испугало. Порадовало — понятно почему: это, конечно, очень интересно и лестно. А испугало... Не знаю, как начать!

Вы помните наш разговор у Вас на веранде? И вот, когда я поехал домой и сел в Москве в поезд, я стал о многом думать и многое еще вспомнил, и вот Ваше письмо. И я решил, что я обязан Вам сейчас все рассказать: ведь был случай, когда я хотел убить одного лейтенанта. Я всю ночь тогда думал об этом, эта мысль не давала мне покоя. Проснулся — и опять то же, те же воспоминания. С тех пор я хожу сам не свой. Меня пронзила мысль — совесть. Вы понимаете, ведь я сам, сознательно шел на все. Меня не сманивали. Нет, все сам, по доброй воле. Мне никто не грозил. И вы представляете, я сознательно шел на убийство. Что же это такое? Почему? Ведь меня правильно воспитывали в школе, дома. Почему я так морально опустился? Не знаю. Да, я многого еще не понимаю. И я никогда не задумывался над тем, что я делал. Никогда.

На всю жизнь запомнил этот эпизод. Я, видите, даже писать ровно не могу: рука трясется. И вот теперь с тех пор мне нет покоя. Нет, я не убивал, я никого не убил и не ограбил. Но почему меня сейчас мучит совесть? Значит, эта совесть просыпается во мне. Но почему она раньше не проснулась? Где она была? Почему спряталась? Возможно и то, что я стал краснеть,— это тоже совесть.

Почему я дошел до этого? Почему? Ведь в жизни все было для меня, мне. А я хотел убить человека совершенно ни за что, из-за пистолета. И только какая-то добрая сила удержала меня в последний момент: я вспомнил, как этот лейтенант прощался с девушкой возле кино.

Нет, сейчас это для меня немыслимо. Возможно, я успокоюсь и через некоторое время еще Вам напишу. А сейчас я не могу. Я очень волнуюсь.

Вот она какая, совесть. Нет, я кончаю, я не могу больше писать. Да, *«счастье вслед за совестью идет»*.

Аж голова заболела.

Большой привет Марии Никифоровне и Вашей сестре.

До свидания.

Витя.

25 августа 1962 г.

От волнения даже адрес перепутал.

Черт возьми, как разболелась голова!

27

Здравствуйте, Григорий Александрович! Сейчас у меня дела идут погано. Не знаю отчего, но я здорово захандрил. Эх, если бы Вы только знали, как все же мне трудно! На людях я всегда весел, а вот один, один на один трудно живу. Последние 3—4 дня пил, особенно здорово напился в субботу. Тяжело все же мне сдерживаться. Нередко здорово ругаюсь дома, и почти всегда виноват я, но такой уж я человек, до того истаскан, что не могу никогда сдержаться. Вот уже несколько дней меня мутит, и я не сдерживаюсь, пью.

Занятия я запустил совершенно, ничего не хочется делать.

Прошел призывную комиссию. 4 декабря пойду в армию. Но заниматься надо, за два месяца еще все может измениться.

Очень жалею, что я не раскрылся Вам до конца во время нашей встречи. Может быть, мне легче было бы.

На этом кончаю. Если говорить честно, то пойду сейчас выпью вместо того, чтобы идти на занятия. И почему меня тянет Вам правду говорить? Мне сейчас кажется, только лишь потому, что Вы один меня хорошо понимаете.

Эх, черт возьми, говорить до конца правду, так слушайте! Еще мне предлагают одну авантюру с выгодой в 20 рублей, но я не решаюсь и не должен решиться, если только не сойду с ума.

На этом действительно кончаю. Только, пожалуйста, напишите ответ скорее. Ваши письма мне очень помогают.

Возможно, я на днях успокоюсь и напишу еще.

С приветом

Витя.

3 сентября 1962 г.

28

Ну, Виктор, скажу откровенно, я даже не знаю, с чего начинать.

Первым чувством было негодование и ужас, негодование на тебя и ужас вообще. Значит, действительно в людях есть что-то неисправимое и безнадежное, это ужасно! Это подрыв всего, во что я верил, на что я, не жалея, тратил свои последние стариковские силы. Ведь я старик, я преспокойно мог бы получать пенсию и жить просто так, для себя, ни о чем

не думая. А я вожусь с одним, другим и третьим, я выслушиваю сотни воплей, клятв и заверений. А думаешь, это легко? Ты знаешь, иногда хочется плюнуть на все и пойти в кино, просто пойти погулять со своей Марией Никифоровной, но вот... Вот передо мной новая пачка писем. Что с ней делать? Верить или не верить людям? Можно добром победить зло или его нужно давить, уничтожать силой? Вот о чем идет речь.

Я до сих пор верил, что я делаю нужное и полезное дело, и ты, ты был одной из опор этой веры, и Саша, переписку с которым ты у меня читал, и та девушка, и ряд других. И вдруг!.. Нет! Это просто не вмещается в душу! Это какое-то наваждение!

Преодолеть все, добиться вуза, учиться, увидеть раскрывшиеся горизонты жизни и вдруг на все на это опустить черное покрывало... «Черное крыло жизни»,— как писал ты когда-то.

Нет, я просто не хочу этому верить и не могу! Ты просто не в своем уме.

Нет, это просто предательство! Предательство себя, предательство меня, а главное, предательство всего, что есть хорошего на свете,— самых лучших и чистых идей. Значит, человек действительно зверь и в любую минуту ни с того ни с сего может полететь, как говорил Достоевский, вниз головой и кверху пятками?

Нет, этого не может быть, Виктор. Оглянись и одумайся.

Видимо, ты очень большой груз душевный взял на себя своим признанием, и потому заговорила твоя взбунтовавшаяся совесть. Она взбунтовалась против твоих собственных грехов. Но зачем же лететь кверху пятками? Как ты мог принимать какие бы то ни было разговоры о каких-то авантюрах? Ты знаешь, что значит эта авантюра? Как ты смел? А может быть, ты просто не можешь отказаться, раз ребята зовут? Помнишь: «Куда меня позовут, туда я и пойду»,— как ты писал мне раньше.

Одним словом, Виктор, возьми себя за уши, и встряхни, и поставь, *сам себя* поставь на ноги. Никто, кроме тебя, этого не сумеет сделать. И не полагайся на службу в армии. Решает человек, а не служба.

Я хочу обратить внимание на вырвавшееся у тебя слово: «Я до того истаскан». Именно истаскан! Вот почему я так настойчиво писал тебе о вреде пьянки: она истощает нервную систему, и человек перестает владеть собой. Говорю тебе, как мужчине, и верю в тебя, как в человека: ты должен найти в себе силы, чтобы покончить со всем этим *решительно и сразу*. В конце концов я имею право этого от тебя и потребовать. Учение, спорт, чтение — и ничего больше. А там смотри. Ты можешь, конечно, пустить все под откос, но помни, что жизнь человеку дается один раз.

Г. Медынский.

8 сентября 1962 г.

29

Григорий Александрович, здравствуйте! На днях я послал Вам совершенно сумасшедшее письмо и, не дожидаясь ответа, спешу написать другое.

Мои дела снова вошли в колею, настроение нормальное. Вчера я проснулся, и у меня в голове ясные мысли, все стало на свои места, я снова взялся за учебники и даже ответил по химии.

Вы извините меня за беспокойство. Но ведь, по-моему, Вам лучше знать всю правду о своем «пациенте» — и плохое и хорошее. А тем более сейчас, я Вам доверяю во всем, поэтому я и решился написать такое письмо. На авантюру я не согласился: видите, даже в трудный момент выстоял. Правда, колебался, но ведь «не сразу Москва строилась».

Сейчас я очень жалею о том, что во время встречи с Вами я не «раскрылся» полностью. Но на это были свои причины. И Вы, я думаю, поймете их и не очень меня осудите. Я не ожидал такой сердечности с Вашей стороны, и это меня очень озадачило. Вернее, я растерялся. Я, честно говоря, сомневался, что такой человек, как Вы, будет всерьез заниматься таким «грязным» делом. Я убедился в противном, но понял это на день-два позже, и было поздно: я уехал. Сейчас я очень об этом жалею и тысячу раз извиняюсь перед Вами, дорогой (позвольте мне так Вас назвать) Григорий Александрович! Я виноват.

На днях встретил своего бывшего классного руководителя, замечательного учителя Василия Алексеевича Скворцова. Вел он у нас математику и много старался для меня, очень много. Часа полтора мы с ним проговорили, и это была для меня отличная зарядка.

Занятия пока идут успешно, вот только могут призвать в армию. Мне очень неохота сейчас прерывать учение. Сейчас я понял, что такое учеба, и вдруг — армия.

Разрешите на этом кончить. Желаю успехов в Вашей полезной работе, но самое главное — здоровья. Большой привет Вашей замечательной Марии Никифоровне.

Привет от мамы. До свидания.

Витя.

10 сентября 1962 г.

30

Здравствуй, Виктор! Получил твое второе, «спокойное» письмо. Я очень рад, что твоя «вспышка» оказалась короткой, но в то же время она, конечно, не может не встревожить ни меня, ни тебя. Все, что о ней можно сказать, я сказал в прошлом письме, и ты, по-моему, поймешь его, как нужно, должно.

Вполне согласен, что ты должен, обязан был написать мне в эту минуту «взрыва», чтобы я именно все знал о тебе. В этом ты очень прав. Но *основное и главное* ты должен решить теперь, раз и навсегда. Ты должен поставить себя так, чтобы ни одна гадина ни с каким предложением разных авантюр *не смела* подойти к тебе, как она не смеет подойти ни ко мне, ни к Марии Никифоровне, ни к кому другому.

Пиши.

Г. Медынский.

20 сентября 1962 г.

31



Здравствуйте, дорогой Григорий Александрович! Теперь вот я не знаю, с чего начать, получив Ваш ответ на мое «сумасшедшее» письмо. Извините меня, Григорий Александрович, я очень виноват перед Вами, может быть, мне не нужно было писать его. Я прочел раз пять подряд Ваше письмо и остро осознал, сколько горя принес Вам.

Нет, люди исправимы, и безнадежных нет. Верьте в это, Григорий Александрович. Если человек встал на ясный путь, если он видит цель своей жизни,

если он сердцем, душой осознал, понял, где хорошо, а где плохо, трудно, а вернее, невозможно сбить его с пути. Правда, люди есть разные, характеры разные: одни мягче в своих взглядах, другие жестче. Последних не собьешь, к ним не подходи, а первые (к ним отношусь и я), у них не хватает *мужества* сразу и *безоговорочно* порвать со всем тем, что мешает им на правильном пути. Им труднее, много труднее, чем тем, твердым. Но в этом они сами виноваты, и никто, кроме них самих, им не поможет. Вот поэтому я и страдаю.

А людям верить нужно. Какой прилив добрых чувств испытываешь, когда тебе верят! Доверием и добром можно победить зло в человеке, у одного, может быть, быстрее, у другого медленнее. Правда, в иных случаях нужна исключительно только сила, подавление. Но таких случаев чрезвычайно мало.

Да, давно ушло от меня «черное крыло жизни», нет его надо мной, и не нужно оно мне. Но у меня вырвался вопль ужаса, а может, я на время «сошел с ума», как Вы пишете. Ведь не так-то легко мне все дается, на все нужно время и, главное, нервы, которые у меня нередко не выдерживают.

По-моему, слишком уж сурово называть меня предателем. Я верю в лучшее и хорошее, я стремлюсь к этому, но я опять повторяю, не все гладко у меня, трудно выдерживать такое сильное напряжение, и... результат Вам известен. Мне кажется, что Вы все же не до конца понимаете, как тяжело мне бывает, как остро и болезненно я реагирую на каждую мелочь. В сентябре во мне взбунтовалась совесть, о выпивке я даже не думал, нет, мне было не до того. А сейчас у меня просто не выдержали нервы. Как трудно контролировать каждый свой шаг, каждое движение, каждое слово! И вот я не выдержал. Я не хочу и не имею права себя оправдывать, но и не надо, Григорий Александрович, так жестоко, сурово обвинять меня. А впрочем, может быть, такая жестокость и к лучшему.

«Кверху пятками» я не полечу, об этом я Вам писал, и все же Вы мне не поверили, а зря. Я много разной дряни выслушиваю, различных авантюр, но это меня совершенно не волнует. Правда, случайно я остановился на одной, но уже в то время я знал, что все равно ни на что не пойду. Я знаю много «блатных» ребят, но рядом с ними мне иной раз стыдно идти, и только по чистой случайности раз-два в неделю пройду как-нибудь по улице. И то если случайно встречу, а то и вообще избегаю. Нет, в товарищах я сейчас очень разборчив. Однажды мне пришлось провести вечер в кругу старых знакомых, так я чувствовал себя «не в своей тарелке», я не знал, как быстрее вырваться от них.

Конечно, Вы правы: пьянка очень мне сильно вредит и играет свою паршивую роль, надо сдерживаться. Только поймите меня: очень трудно это. Да, вы вправе и потребовать от меня решительного и, главное, *окончательного* поворота в жизни. По сравнению с тем, что я сделал, мне осталось очень мало, и надо стараться. Я был бы самым последним человеком на земле, если бы пустил все «под откос».

Вы правы, ссылаясь на Островского. «Жизнь дается человеку один раз»... Так, значит, зачем же ее портить, кому это нужно, что толку от того, что ты умрешь, не оставив после себя хорошей памяти?

Я не берусь, Григорий Александрович, снова убеждать Вас в чем-то, сейчас Вы имеете право не верить мне, но я думаю, что это был мой последний срыв, и притом самый резкий за последние два года.

Витя.

1 октября 1962 г.

32

Ну что ж, Виктор? Буря, кажется, прошла, поговорим пообстоятельней.

Прежде всего снимем пока вопрос о публикации наших писем и давай разбираться по существу, почеловечески и поглубже. Что же, таким образом, получается? Все, что ты писал мне до этого, значит, какая-то полуправда? Прошу понять меня правильно: я не думаю подозревать и упрекать тебя во лжи. Нет, я тебе полностью и во всем верю. Слышишь? Полностью! Но ведь лгать можно не только другим, лгать можно и самому себе, как говорится, «театр для себя». Опять пойми и поверь. Я не хочу тебя в чем-то заподозрить и упрекнуть. Я говорю, как бывает, как может быть, и прошу проверить себя: всегда ли ты был искренен со мной? Не в том смысле, что ты мне не все говорил,— вероятно, у каждого человека есть какие-то лимиты и границы правды, очевидно, колеблющиеся в зависимости от того, с кем он имеет дело,— но в том, что ты говорил, всегда ли ты был искренен? Прежде всего перед самим собой.

Как сказал в одном из своих писем большой писатель, бывший, можно сказать, обнаженной совестью России, Владимир Галактионович Короленко: «Когда никто не увидит и никто не узнает, а я все-таки не сделаю,— вот что такое совесть!»

Вот почему теперь, когда наши с тобой отношения силою вещей вступили в более углубленную и, на мой взгляд, более интересную фазу, я и хочу поставить некоторые вопросы перед тобой.

Ты где-то бродил, творил какие-то свои дела и делишки, жил, дебоширил, как ты выражаешься, «сходил с ума» и где-то в антрактах писал мне «хорошие», «благонамеренные» письма. Они меня радовали, как особенно порадовало, конечно, твое поступление в институт. Но ведь это результат. А вот *как*, через какие, мягко говоря, ступени, срывы и сбросы, через какие внутренние «водовороты» пришел ты к этому результату, начинает выясняться только теперь. А ведь это самое главное — и для меня и для тебя. И прежде всего для тебя. «Перед самим собой!»

Пусть это будет самораскрытием. Нужно осмыслить все это с точки зрения той самой совести, о которой говорил Короленко. И ты сам ставишь эти же самые вопросы в своем первом «покаянном» письме: что это такое? Почему?

Вот на эти вопросы и нужно ответить. Не захочешь отвечать мне, ответь себе, но ответить на них ты обязан.

А мое «то» письмо пусть тебя особенно не расстраивает. Все мы люди, все человеки, у тебя взбунтовалась совесть по одному поводу, у меня по другому. Вопросы для меня связаны со всем этим действительно очень большие, и твоя вспышка, особенно после наших с тобой таких хороших летних разговоров и после того исключительно приятного впечатления, которое ты произвел на всех моих родичей, эта вспышка была такая неожиданная, что я тоже в какой-то степени вспылил, хотя ни от одного слова из «того» письма я не отказываюсь.

Мне кажется, что в результате этих «вспышек» мы лучше поняли друг друга, и давай это доведем до конца, по существу, по-душевному, без всяких оглядок на публикацию. А в связи с этим еще раз повторяю. Когда ты говоришь: «Мне не нужно было писать такое страшное письмо»,— ты не прав. Пиши всегда обо всем. Артиста в тебе я не хочу видеть, комедии и трагедии мне тоже не нужны, я их сам

могу сочинить. Мне нужна жизнь, и тебе нужна жизнь. По-моему, так! А если что возникнет, будем разбираться дальше. На то жизнь. Будем ее строить и, я уверен, построим.

Г. Медынский.

18 октября 1962 г.

33

Григорий Александрович, здравствуйте! В двух местах своего письма Вы уверяли меня, что «полностью верите мне». Зачем это так утверждать? Ведь я не маленький и люблю, когда мне говорят правду в глаза. На это я никогда не обижаюсь.

Я вижу, что Вас чрезвычайно напугала моя «вспышка». Ну что ж? Неужели Вы думали, что если я поступил в институт, так сразу же, моментально исправился? Конечно, во многом я исправился и сильно поумнел. Но такая штука, как жизнь, быстро не делается, и Вы это, конечно, знаете лучше меня.

Все письма, которые я писал, были самые искренние. В них я давал волю всему хорошему, что теплилось где-то у меня на дне души, под наносной грязью. Ведь как-то Вы писали мне, что «основа во мне заложена хорошая». Да, это так. Отсюда и надо плясать. Я делал много плохого, и за это плохое ребята меня «уважали». Вот что страшно. Но во мне было — вернее, чуть теплилось — что-то хорошее. Но некому было показать это хорошее, да тогда я еще и не мог. И вот появились Вы. И я нашел выход. Я стал писать Вам, что у меня на душе, что я думаю, чего бы я хотел. Как видите, можно сказать, что я жил двойной жизнью. Открытой плохой и скрытой хорошей в письмах к Вам. Напишу Вам письмо — и мне легче, вроде как бы очищаюсь, причем чем честнее, тем легче. Да, Вам писал честно, а этого во мне уже давно никто не видел в то время.

И вот после всего этого Вы усомнились в моей искренности. Ну что же, на то воля Ваша. Но если бы Вы знали, как дались мне эти письма, сколько сил души я вложил в них! Бывало тяжело, скверно на душе, неспокойно; сядешь, напишешь — и как вроде бы свежим воздухом подышал. Вы теперь не поверили в меня, хотя Вы, Григорий Александрович, как никто другой, знаете, что значит искренность и честность того, кто что-то повидал и что-то испытал. Не верите? Ну, что ж поделаешь?

С уважением

Витя.

24 октября 1962 г.

P. S. Сейчас положение и настроение мое вполне нормальное.

34

Ну, Витя, здравствуй, дорогой мой! Получил твое письмо и сразу вижу: разобиделся. А зря! По-человечески я тебя понимаю. Но только обиделся ты зря: я ни на минуту не сомневался в твоей искренности. Проверка ведь не всегда означает недоверие. Когда я в прошлом письме предложил вернуться к нашей прошлой переписке, это означало не недоверие, не сомнение, а стремление разобраться в твоей прежней откровенности с точки зрения новой, более высокой и полной, которую ты проявил после нашего личного свидания и того «покаянного» письма.

Ты бывал в горах и вот представь. Ты стоишь на высоте, и у тебя уже захватывает дух. «Кавказ подо мною. Один в вышине...» Но вот ты поднимаешься еще выше и выше, и та высота, с которой ты озирал распластавшийся пред тобой «Кавказ», вдруг сама уже лежит где-то далеко внизу, и ты видишь ее и все ее окрестности совсем по-другому, сверху.

Так и здесь. Возьмем последнее твое письмо. Как хорошо разобрал ты свою «двойную жизнь»: внутреннюю — хорошую и внешнюю — плохую! А я в связи с этим напоминаю твои же записи в дневнике о спекулянтах и милиции. Какой сложный переплет хорошего и плохого, добра и зла!

Человек растет, добро в нем борется со злом и в конце концов побеждает, черт возьми! Ну, ты, я думаю, понимаешь, что значит добро. Это и есть *наше*, коммунистическое.

Хочу коснуться слов, на которые ты не один раз ссылался и которых не избежал и в последнем письме: не все сразу, не сразу Москва строилась и т. д.

Я с тобой согласен: человек не мертвое тело и не алгебраическая формула, он живой организм и живая, развивающаяся и часто мятущаяся душа. Луна не дышит, на ней нет никаких взрывов, она мертва. А солнце живое, оно бурлит и вспыхивает феерическими фонтанами протуберанцев. Так и человек. Но протуберанцы бывают разные. Это во-первых, а во-вторых, солнце одно, и то его «шалости» доходят до нас, грешных сыновей земли, и отражаются на нашей жизни. Человек живет с людьми, и взрывы в его характере и поведении далеко не безразличны другим, а через них и ему самому. Вот почему ему нельзя не умерять «дыхания» своей натуры, не контролировать его и не вводить в берега. Это закон жизни. Говоришь, трудно? Трудно. А что легко? Легко катиться под гору, и то, пожалуй, только на санках, а если на собственных боках, так, пожалуй, чувствительно. Почитай письма Чехова, где он, этот добрейший, деликатнейший для всех человек, сознается, что на самом деле у него совершенно бешеный характер и только тренировка, постоянная и упорная работа над собой позволяют ему владеть этим характером.

Ну, вот, кажется, и все. Желаю тебе сердечно во всем успеха, верю в него, в тебя и твое будущее.

Г. Медынский.

30 октября 1962 г.

35

Здравствуйте, Григорий Александрович! Получил Ваше письмо. Не отвечал потому, что не мог собраться с мыслями, откровенно сказать, не было настроения. То, что нужно, я вроде бы все написал, все остальное зачем ворошить? Не потому, что оно тяжело для меня, а просто не хочется сейчас ни о чем плохом думать. Разумеется, я понимаю всю пользу Вашего дела,— ведь над горькими ошибками других люди задумываются и выбирают себе лучшую дорогу в жизни. Хороших дорог в жизни очень много, но почему-то некоторые быстрее становятся на плохую. Что это? Романтика? Мода? По себе я знаю, нет никакой романтики, когда по пустынному ночному темному шоссе в 20 шагах за твоей спиной идут двое, которые в лучшем случае оставят тебя живым, но, вполне возможно, калекой. Идут специально, это я знаю; главное, мне надо сдержать себя, не показать, что коленки-то у меня дрожат и спина мокрая от страха. Мне повезло,— именно моя выдержка и находчивость спасли меня. Так было не раз. Так какая, к черту, это романтика, когда трясешься за свою жизнь, которая может оборваться ударом ножа такого же дурака, как и я сам! Значит, все это модно. По-моему, так!

Как нравится 15—16-летним подросткам стоять где-нибудь за углом, подняв воротники и засунув руки в карманы, в которых ничего нет, кроме носового платка, и слушать «похождения» «бывалого» вора! Он держится независимо, все подобострастно хихикают, а многие его боятся.

Я знал людей, себе подобных, которые занимались «темными» делами, а в душе были совершенно другие. Вообще нельзя упрощенно смотреть на человека.

Разумеется, мне трудно, ну, так что ж, в этом я сам виноват. Вы знаете, после всего, что со мной произошло в начале осени, я себя чувствую так, вроде бы сбросил с плеч какую-то тяжесть. Значит, теперь-то мне легче. «Ну, а раз легче, значит, ноги в руки и топай к ясной цели»,— скажете Вы, и это будет очень правильно. Буду топать!

11 декабря мне исполнится 21 год. Привет от мамы.

Витя.

15 ноября 1962 г.

36

Добрый день, Григорий Александрович! Получил Вашу поздравительную телеграмму. Спасибо.

Не писал я Вам потому, что все еще не было ясно с армией. Только вчера мне сказали, что в армию не возьмут.

Уже неделю я очень упорно наверстываю упущенное и думаю почти все сдать в срок. Со 2 января у нас зачеты, а с 9 января — экзамены. Так что только заниматься, что я и делаю.

Настроение у меня сейчас бодрое, а это для меня самое главное.

Я не комсомолец, но надеюсь, что следующее письмо буду писать Вам уже как член комсомола. 14 декабря должны принять.

Вы знаете, Григорий Александрович, почему-то в числе лучших студентов меня выдвинули на общественную работу. Это для меня огромная неожиданность, так как я не очень стремлюсь куда бы то ни было выдвигаться, а все получилось без моего ведома. Меня вдруг вызвали в горком комсомола и сказали, что включили в тройку. Мы будем ходить по общежитиям, заводам, предприятиям и проверять, как поставлена общественная работа, как люди проводят свой досуг, чем занимаются и т. д. Как видите, меня где-то, кто-то оценил и сразу направил, не комсомольца, в горком комсомола. Но это для меня лучше, так как накладывает ответственность за проведение своего досуга, да и должен же я быть или даже *обязан* быть хоть маленьким, но примером в поведении, в учебе и т. д.

По письму Вы можете судить, что страшная буря, которая потрясла меня осенью, прошла. Тогда я раскис, зашатался. А теперь склонен думать, что это уже конец, я переварил все и окончательно вошел в колею нормальной жизни. Впереди комсомол, учеба.

Нет, черт возьми, все же хороша жизнь!!! А???

Я сейчас сам себя не понимаю, целыми днями занимаюсь, аж голова болит, и почему-то доволен всем. Даже трудностями в учебе.

Ну, на этом я кончаю.

Григорий Александрович, я давно не получал от Вас писем и почему-то соскучился по ним. Ведь Ваши письма — отличная зарядка для меня, а сейчас я вроде как голодный. Так и жду очередного хорошего заряда, толчка.

Передавайте большой привет Марии Никифоровне.

Привет от мамы.

Витя.

13 декабря 1962 г.

37



Здравствуйте, Григорий Александрович!

14 декабря меня приняли в комсомол, утвердил институтский комитет, он у нас на правах райкома.

Уже ходил на проверку общежития.

Вы меня извините, но писать совершенно нет времени, все занимаюсь. Дела двигаются, и есть хорошие проблески на горизонте.

Настроение бодрое, все в порядке.

Поздравляю с Новым годом, желаю здоровья, бодрости, новых творческих сил в 1963 году.

Витя.

18 декабря 1962 г.

38

Дорогой Витя!

От всей души поздравляю с вступлением в комсомол и вообще рад всем твоим успехам и всей душой верю, что они прочные.

Дорогу ты выбрал правильную, прямую. Все дело теперь в том, чтобы не сбиться, чтобы утвердиться на этой дороге и не соскользнуть с нее. Именно не соскользнуть. Печальный опыт тех, кто во множестве пишет мне, и жалуется, и стонет, и клянется,— печальный опыт их говорит, как незаметно, как, кажется, совершенно случайно получается это. Все было хорошо, все благополучно, и вдруг на тебе, один миг — и все полетело вверх тормашками. Миг! А разберись — нет, не миг.

«Любое правонарушение, преступление — это не какая-то минутная вспышка развинченной натуры, не личный произвол преступной воли, а очень долгий и сложный процесс нравственного падения».

Это пишет мне человек «оттуда», умный человек, думающий человек, но, к сожалению, слишком поздно прозревший. И вот, чтобы не было «поздно», нужно помнить одно. Судьба города на войне решается главным образом на подступах; если враг подошел к его стенам, уже трудно город отстоять. Так и в жизни: все решается «на подступах», на тех мелочах, которые только кажутся мелочами, а на самом деле именно на них-то и формируется и закаляется характер человека, а зачастую и определяется судьба.

«Идеальных» людей мало — все люди, все человеки, все имеют свои слабости и свои грехи. Но в каком направлении развивается, вернее, развивает себя человек; цели — высота или низменность — вот что решает. Сознание — это отражение жизни, но отражение не простое, не зеркальное, в том весь и секрет. В зеркале не остается никаких следов, но то, что хотя бы один раз запечатлелось в мозгу человека, оставило в нем след — один, другой, третий... Следы наслаиваются, приобретают прочность, устойчивость, и вот они уже начинают давать себя знать, определять сознание, направление поведения, волю. Вот почему я говорил тебе о самовоспитании: «Поступок рождает привычку, привычка — характер, характер рождает судьбу».

Ну вот, по-моему, и все. Никаких вытекающих отсюда поучений я тебе делать не буду,— ты не маленький, и не дурак, и не враг себе, сам разберешься, что к чему. Стоишь ты на правильной дороге, ну и топай, Витек, топай дальше и, если памятовать золотую суворовскую заповедь, «повелевай счастьем»!

Г. Медынский.

23 декабря 1962 г.

Константин ВАНШЕНКИН



Непонятливая Лика

О поэзии и поэтическом вкусе

У замечательного русского писателя Ивана Алексеевича Бунина в рассказе «Лика» (позднее этот рассказ вошел целиком, как глава, в автобиографическую повесть «Жизнь Арсеньева») есть такая сцена: Арсеньев читает своей возлюбленной Лике стихи:

«— Послушай, это изумительно! — восклицал я...

Но она изумления не испытывала.

...Я читал:

Какая грусть! Конец аллеи
Опять с утра исчез в пыли,
Опять серебряные змеи
Через сугробы поползли...

Она спрашивала:

— Какие змеи?

И нужно было объяснять, что это — метель, поземка».

Тонкую, поэтическую натуру Арсеньева-Бунина раздражало такое непонимание поэзии, возмущала самая необходимость объяснять. Интересно, что Бунин и через много лет, в рассказе «Холодная осень», вернулся к подобной ситуации.

Молодой человек приезжает в имение к невесте проститься с нею перед отъездом на фронт (в первую мировую войну).

«Одеваясь в прихожей, он продолжал что-то думать, с милой усмешкой вспомнил стихи Фета:

Какая холодная осень!
Надень свою шаль и капот...

— Капота нет,— сказала я.— А как дальше?

— Не помню. Кажется, так:

Смотри — меж чернеющих сосен
Как будто пожар восстает...

— Какой пожар?

— Восход луны, конечно».

(Замечу в скобках, что здесь Бунин улучшает Фета. У Фета: «Смотри: из-за дремлющих сосен как будто пожар восстает». «Дремлющих» — здесь маловыразительное, аморфное слово. Луна, встающая «меж ч е р н е ю щ и х сосен»,— какая резкая, рельефная картина! Бунин, вероятно, не просто ошибся. Его герой на вопрос: «А как дальше?» — отвечает: «Не помню. К а ж е т с я, так...» Но это — между прочим.)

Герой уезжает на войну, прощается, как выясняется потом, навсегда, и героиня поэтому не раздражает его, как Лика — Арсеньева. Но здесь, как и в первом случае, как бы подчеркивается, насколько она далека от героя — милая, добрая, любимая, но далекая-далекая.

«Какие змеи?», «Какой пожар?» Их наивные вопросы настолько схожи, насколько обе они ничего не смыслят в поэзии и, видимо, не чувствуют в ней ни малейшей потребности. А ведь они, казалось бы, интеллигентные девушки.

Конечно, понимание поэзии, интерес к ней, количество людей, читающих стихи, неизмеримо выросли с тех пор. Но и теперь многие, сталкиваясь так или иначе со стихами, не понимают их. Поэзию они воспринимают как некую условность. Это наблюдается с той давней поры, когда древнейший литературный жанр — поэзию — постепенно, конкурируя с ней все более, начала вытеснять проза. Прозу читают все. Поэзию — по сравнению с читателями прозы — лишь немногие. Но в нашей стране читателей поэзии становится все больше. Тиражи стихотворных книг увеличиваются, раскупаются они очень быстро. На поэтические вечера трудно попасть. Проводятся даже специальные Дни поэзии. Когда готовился первый такой день, один любитель стихов спросил на поэтическом вечере:

— А салют будет?

И хотя салюта в День поэзии, конечно, не было, но этот день в какой-то мере для многих тоже стал праздником.

Однако до сих пор многие, читающие стихи, слушающие их, интересующиеся ими, не очень, как мы говорим, понимают в стихах, часто не могут, не умеют отличить настоящее, поэтичное от пустого, поддельного, мелкого. Про таких людей говорят, что у них дурной вкус или вовсе нет вкуса.

Отсутствие вкуса, отсутствие культуры вкуса — главная беда и Лики.

Говорят:

— У него хороший вкус.

— Я доверяю его вкусу.

— Наши вкусы сходятся.

Поэтический вкус — чувство понимания прекрасного — у одних может быть врожденным, как музыкальный слух. Другие развивают его постепенно, совершенствуют. Поэтический вкус можно привить человеку, можно «поставить» его, как «ставят» голос.

Но для того, чтобы «поставить» вкус, надо сперва приобщить че-

ловека к этому новому для него миру, нужно чтение не только самих стихов. Нужно читать и о стихах. Нельзя понять музыки, не слушая ее, не размышляя о ней.

Во все времена художники были озабочены уровнем вкуса литературы и читающей публики. У всех у них была боязнь изысканности, красивости, напыщенности. Этим наполнены письма, статьи, дневники.

«Здесь нет красноречия, здесь одна поэзия; никакого наружного блеска, все просто, все прилично, все исполнено внутреннего блеска»,— пишет Гоголь о стихах Пушкина.

Верлен восклицает: «И красноречье! Сверни ему шею!»

«Всякое преднамеренное стремление к оригинальности имеет следствием вычурность»,— говорит Чернышевский. И он же: «Поэзия и болтовня — вещи противоположные».

Не знаю, кто лучше Пушкина сказал о художественном вкусе: «Истинный вкус состоит не в безотчетном отвержении такого-то слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности».

Как чудесно сказано!

Итак, настоящая поэзия, истинная поэтичность — в естественности. Но что такое естественность? Если человек бездарен, то хоть он и будет естественным, он останется бездарным, даже еще более подчеркнет это. Поэзия — естественность таланта.

Л. Н. Толстой, по свидетельству Гольденвейзера, как-то говорил: «Это странная вещь,— я стихов не люблю, но понимаю, что ими можно выразить часто гораздо короче и сильнее то, чего иначе так сказать нельзя...

— Как это у Тютчева?

И паутины тонкий волос
Лежит на праздной борозде [1].

— Здесь это слово «праздной» как будто бессмысленно, и не в стихах так сказать нельзя, а между тем этим словом сразу сказано, что работы кончены, все убрали, и получается полное впечатление».

(Интересно, что, по рассказам современников, Толстой часто признавался в нелюбви к поэзии, однако он очень много и заинтересованно говорил о стихах.)

«Не в стихах так сказать нельзя» — это прекрасно сформулировано. Действительно, если бы это было сказано в прозе, получилось бы выспренне и ложно.

У прозы, как у каждого другого жанра, свои законы.

«Прозаик целым рядом черт — разумеется, не рабски подмеченных, а художественно схваченных — воспроизводит физиономию жизни: поэт одним образом, одним словом, иногда одним счастливым звуком достигает той же цели, как бы улавливает жизнь в самых ее внутренних движениях; без этого, у древних названного божественным, во всяком случае, необыкновенного, дара напрасно станет писатель пригонять рифму к рифме и строчку к строчке; ему не поможет ни так называемая легкость стиха (в нынешнее время тот только не пишет легкими стихами, кто вовсе не хочет их писать), ни некоторое изящество выражения, более или менее доступное всякой образованной и мыслящей натуре: все это еще не поэзия». Так говорил Некрасов.

То, на что в прозаическом изложении уходят целые страницы, в поэзии часто выражается в нескольких строках. Приведу строки из стихотворения Лермонтова «Спор»:

...Вот у ног Ерусалима,
Богом сожжена,
Безглагольна, недвижима
Мертвая страна;
Дальше, вечно чуждый тени,
Моет желтый Нил
Раскаленные ступени
Царственных могил...

Какая удивительная, яркая картина! Кажется, самые слова раскалены. И — странная вещь! — мы видим не только то, о чем упоминает поэт, мы как бы видим больше: и знойное марево над застывшими песками, и медлительных верблюдов, и пирамиды где-то вдали.

Мы словно сами сейчас там. А всего-то сказано несколько слов. Такова сила поэзии!

У современного поэта Я. Смелякова в одном из лучших его стихотворений, «Кладбище паровозов», говорится об уже отработавших свое «мамонтах пятилеток»:

В ваших вагонах длинных
Двери не застучат.
Женщина не засмеется,
Не запоет солдат.

Вихрем песка ночного
Будку не занесет.
Юноша мягкой тряпкой
Поршни не оботрет.

И опять целая картина. Мы представляем себе ночь, и летящий поезд, и женщину, смеющуюся в полумраке вагона, и задумчивого солдата, тихонько поющего где-то в тамбуре, и машиниста, глядящего во тьму, и есть во всей этой ночной картине какая-то таинственность, какая-то смутная тревога.

Но часто это раздражает неподготовленного читателя, который считает, что если «не в стихах так сказать нельзя», то и в стихах так нельзя сказать тоже. Это его главная ошибка!

Критики Пушкина — не лучше Лики! — не понимают его метафор, и он возражает, отбивается, объясняет, что

«Младой и свежий поцелуй

вместо поцелуй молодых и свежих уст — очень простая метафора», что «кибитка удалая опять метафора» и проч.

Даже Белинский — и когда! В 1844 году — отнес к разряду «неточных выражений» пушкинскую строку: «Удары шашек их ж е с т о к и х». А ведь это тоже очень простая метафора.

Метафоры Пушкина смелы и неожиданны:

Как пахарь, битва отдыхает —

не воин отдыхает, как пахарь, но вся битва, как пахарь.

Или: «Перстами легкими, как сон...» Пальцы — как сон?

Или о Петре: «Могуч и радостен, как бой». Один человек — как бой? То есть как столкновение неприятельских отрядов?

Лика, конечно, и здесь бы недоумевала, но она, вероятно, никогда не перечитывала Пушкина. Она не могла бы понять этого, потому что она мыслила только прозаическими понятиями, а приведенные пушкинские строки, если бы их можно было воспринимать как прозу, действительно выглядели бы странно. Скажем: «Идет, могучий и радостный, как бой, человек».

«Не в стихах так сказать нельзя».

А вот строки нашего современника — Ст. Щипачева:

И ты сидишь в фойе кино
На сквозняке зеркал.

Лика бы опять ничего не поняла (под этим именем я уже подразумеваю целую категорию читателей, не интересующихся поэзией и не понимающих ее). Сквозняк зеркал?

---

[1] Гольденвейзер (или Толстой) неверно цитируют. У Тютчева:

«Лишь паутины тонкий волос
Блестит на праздной борозде».
(К. В.)

А по-моему, очень хороший образ: сидит женщина, многократно, как бы встречно, отражаясь сразу в нескольких зеркалах, она как на сквозняке,— зеркала друг против друга, как окна, и фойе кажется громадным от этих зеркал.

«Поэзия,— писал еще Белинский,— есть искусство, художество, изящная форма истинных идей и верных (а не фальшивых) ощущений: поэтому часто одно слово, одно неточное выражение портит все поэтическое произведение, разрушая целость впечатления».

Вот как критик Л. Аннинский разбирает, например, стихотворение «Дуэль», написанное Б. Ахмадулиной:

И снова, как огни мартенов,
Огни грозы над темнотой.
Так кто же победил —
Мартынов?

Первая же рифма, пишет критик, заставляет вас вздрогнуть: это не совсем то, к чему вы готовились, слова оказались слишком похожи. Как? Величественные зарницы плавящейся стали и ничтожество, разрядившее пистолет в гения, неужто это так близко, так почти неразличимо называется? Мгновенно мысли вашей дан обратный ход, слышимая похожесть взорвана изнутри. Это и есть «мастерство»: парадокс первой рифмы подготовил все стихотворение, и вот оно стремится вперед, бунтуя и переворачивая несправедливый ход событий: «другой там победил, другой».

Разъяснения эти очень странны и совершенно неправильны.

Что здесь не т а к, в цитируемых строчках Ахмадулиной? Давайте попробуем разобраться. Автор видит ночную грозу, это наводит его на мысль о дуэли Лермонтова, после которой тоже разразилась страшная гроза, и поэт размышляет: кто же все-таки победил, Мартынов или Лермонтов? Все как будто так. Но ведь не так.

Автору картина грозы напоминает огни мартенов, современный индустриальный пейзаж. И логически ну никак не вытекает отсюда мысль о Лермонтове. При чем здесь Лермонтов и Мартынов? Это не неожиданность, а фальшь. А почему? В стихах был Мартынов, понадобилась рифма, понравилось созвучие: «мартенов» — и пожалуйста! «Так проклятая рифма толкает всегда говорить совершенно не то» (С. Чиковани). Конечно, и другую рифму для Ахмадулиной найти было бы нетрудно, это просто сила инерции.

В заслугу критику Аннинскому следует поставить то, что он уловил здесь какую-то «несообразность», а в вину — то, что он не сумел или не решился объяснить ее и «подтасовал» объяснение. И объяснил он путано и необязательно. «Парадокс первой рифмы» не «подготовил все стихотворение», эта рифма сбивает с толку. Ничего там не «взорвано изнутри»! «Величественные зарницы плавящейся стали и ничтожество, разрядившее пистолет в гения», — это «дикое сближение несближаемых предметов» (Белинский), нелепость, не создающая, а разрушающая общую картину.

Поэтесса талантлива, и стихи талантливы, но вот действительно «одно слово, одно неточное выражение портит поэтическое произведение, разрушая целость впечатления».

Правда, это замечательное утверждение справедливо не всегда. Есть стихи такой поразительной силы, такого всепроникающего воздействия, что «одно слово, одно неточное выражение» не может испортить их.

В одном из лучших стихотворений Лермонтова, «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана»), юная жена на пиру, погруженная «в грустный сон», видит долину Дагестана и своего любимого с чернеющей раной в груди (это невозможно пересказать в прозе даже теми же словами).

И там сказано:

И снилась ей долина Дагестана,
Знакомый труп лежал в долине той...

«Знакомый труп» — это, по-моему, неудачное выражение, но стихи в целом оказывают на читателя столь сильное впечатление, что он этого провала не замечает.

Интересны те изменения, которые вносят в стихи ч и т а т е л и, сами того не замечая. Читатель переиначивает и запоминает более привычное для себя,— часто это происходит еще в детстве. Так, большинство детей (и выросших) говорит:

С первого щелчка
Прыгнул поп до потолка;
Со второго щелчка
Лишился поп языка;
и т. д.

А ведь у Пушкина — щ е л к а, не щелчка,— насколько лучше! — щелчок — это что-то слабенькое, а тут чувствуешь силу Балды.

Или говорят:

Шалун уж отморозил пальчик,
Ему и больно и смешно,
А мать грозит ему в окно...
(Описание зимы в «Евгении Онегине»).

А у Пушкина — з а м о р о з и л пальчик — гораздо точнее. Если бы о т м о р о з и л, то уже не было бы «смешно». Но глагол «заморозить» применяется сейчас в других значениях («заморозить фонды»), звучит здесь непривычно, и поэтому запомнили не так.

Говорят:

Или дремлешь под жужжанье
Своего веретена?
(«Зимний вечер»).

Потому что «под жужжаньем» — непривычный оборот.

Четвертая глава «Онегина» начинается так:

Чем меньше женщину мы любим...

Спросите у ваших знакомых: «А как дальше?» — и вам ответят:

Тем больше нравимся мы ей.

А у Пушкина не так, у Пушкина:

Тем легче нравимся мы ей.

Совсем другой смысл. Ведь дальше идет:

И тем ее вернее губим
Средь обольстительных сетей.

А это неточно и примитивно — «меньше — больше»!

Это все примеры невольного ухудшения стихов читателем, попытки нивелировать стих, сделать его «попривычней».

Среди пушкинских записей есть такая: «Государыня Екатерина II говаривала: «Когда хочу заняться каким-нибудь новым установлением, я приказываю порыться в архивах и отыскать, не говорено ли было уже о том при Петре Великом,— и почти всегда открывается, что предполагаемое дело было уже им обдумано».

Так же почти все, о чем мы говорим и спорим — в области поэзии,— встречается у Пушкина, и, поражаясь, убеждаешься, что многое давно «было уже им обдумано».

Есть у Пушкина малоизвестный прозаический «Роман в письмах». И вот его герой — Владимир — пишет своему другу:

«Намедни сочинил я надпись к портрету княжны Ольги...

Глупа, как истина, скучна, как совершенство. Не лучше ли:

Скучна, как истина, глупа, как совершенство.

То и другое похоже на мысль».

Это гениальная пародия. Сперва

действительно кажется, что это мысль. Попробуйте прочесть одну из этих строк знакомым, и они скажут: «Здорово!» (Я пробовал.)

Я, грешным делом, уверен, что Пушкин сначала написал это «не для Владимира», а «для себя». Ведь такое, как говорится, не придумаешь. Но потом сразу же увидел, что это лишь с виду броско, что это, собственно, ничего не выражает и может быть даже переставлено. И, увидев это, Пушкин удивительно точно сформулировал: это лишь «п о х о ж е на мысль».

Это главная беда и главная опасность поэзии — «похоже на мысль», похоже на чувство, похоже на художественность.

Вот, скажем, такие стихи молодого и не лишенного способностей поэта С. Куликова:

Ты рос,
Косматым солнцем, гулом рос.
Таскал
Обломки неба, вечность скал.
Задул
Горячий мрак ружейных дул.
Ты жил,
В багровом напряженье жил.
Миры
Встают из зорь, тобой мудры.

Такие вещи возмущают. Это же чепуха, вздор, бессмыслица. Как это все путает читателя, портит его вкус! Здесь все нелепо, безвкусно, холодно, пошло, если хотите. И называется это произведение «Сыну века».

— Непонятно? — могут возразить мне.— Но ведь еще Пушкин говорил, что «Байрон не мог изъяснять некоторые свои стихи» (говоря так, сам Пушкин мог, я думаю, объяснить свои), еще Лермонтов писал:

Есть речи — значенье,
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно.

Да, но та «непонятность» идет от колоссальной силы чувства, от того, что порой эта сила не вмещается в стих, от «перегрузки» стиха ею.

В данном же случае более к месту высказывание Салтыкова-Щедрина: «Пора и поэтам понять, что они должны прежде всего отдать самим себе строгий отчет о том, что они желают сказать».

Интересно, что такие поэты, как Б. Пастернак и Н. Заболоцкий, многие (талантливые, в отличие от стихотворения «Сыну века») ранние стихи которых похожи на ребусы, часто вообще неразрешимые, пришли в дальнейшем к ясному, прозрачному стиху.

Твардовский пишет в «Автобиографии»:

«Лет тринадцати я как-то показал свои стихи одному молодому учителю. Ничуть не шутя, он сказал, что так теперь писать не годится: все у меня до слова понятно, а нужно, чтобы ни с какого конца нельзя было понять, что и про что в стихах написано,— таковы современные литературные требования. Он показал мне журналы с некоторыми образцами тогдашней — начала двадцатых годов — поэзии. Какое-то время я упорно добивался в своих стихах непонятности. Это долго не удавалось мне, и я пережил тогда, пожалуй, первое по времени горькое сомнение в своих способностях. Помнится, я, наконец, написал что-то уж настолько непонятное ни с какого конца, что ни одной строчки вспомнить не могу оттуда и не знаю даже, о чем там шла речь».

Твардовский никогда не мог простить этого — не тому учителю, конечно, который и сам-то, скорей всего, говорил все это по наивности, а тем, кто порождал и исповедовал подобные взгляды и создавал подобные «непонятные ни с какого конца» образцы, тем, кто в штыки встретил Твардовского, ибо его приход был для них равносилен гибели.

Вот стихи, а все понятно,
Все на русском языке...

Сказано не для красного словца, это — раздражение здорового и ясного таланта всяческой литературщиной и фальшью. Это хорошо и точно сказано, потому что некоторые, защищая от критики нечто серое, путаное, проще говоря, бездарное, снисходительно цедят: «Помилуйте, но это же стихи!..» Они прячутся за этой фразой, потому что у поэзии действительно свои, особые, удивительные законы, способы и средства выражения, недоступные непонятливым «ликам».

Александр Михеев



Как-то утром ко мне пришел молодой человек с пачечкой стихотворений. Отец его погиб в дни Великой Отечественной войны, мать — колхозница. Сам он тоже работал в колхозе, был печатником в районной типографии, а теперь учится в МГУ.

Стихотворения его, несмотря на некоторую неуклюжесть, а может быть, и благодаря этой неуклюжести, мне понравились: он воспринимает мир как поэт и как рабочий человек.

Предлагая вниманию читателей три стихотворения Александра Михеева, надеюсь, что он будет развивать свой талант в хорошем направлении.

Ярослав СМЕЛЯКОВ

На стройке

За шагом шаг,
за шагом шаг.
Мы носим Землю
на плечах.

За шагом шаг, за следом след.
И кажется, что путь наш вечен:
О, сколько зим и сколько лет
Легло за плечи человечьи!

Все годы, годы без числа,
Века немыслимых усилий.
Нас столько лет Земля несла,
И столько мы ее носили.

За шагом шаг, за следом след.
Мы не в долгу перед планетой.
Из мириадов всех планет
Пока одну выносим к свету.

Дрова

И мы на жизнь имели право.
А жизнь давала нам права,
Чтоб, надрываясь, наши мамы
Возили из лесу дрова.

Я только помню санки, санки,
Скрипучий по морозу след.
Топились целый день времянки
И согревали белый свет.

Тепла на свете было мало —
О, этот вечно стылый кров! —
И спотыкались наши мамы,
Коленки обдирая в кровь.

А по ночам, холодным, белым,
Им снились радостные сны —
День наступающей победы
И наступающей весны.

Мы открываем к солнцу рамы,
Зима та не вернется вновь.
Я верю,
мамы мои,
мамы,
Мир стал теплей от ваших дров.

Дороги

На сотни лет мы смотрим вдаль...
Почтовые и скорые
Гремят, грохочут поезда
Во все четыре стороны.

А за окном поля, луга,
Встает Земля с рассветами,
И в небо целятся стога
Сверхдальними ракетами.

Двадцатый век, двадцатый век!
По рельсам, по орбите ли
Беря в грядущее разбег,
Летят твои строители.

Они спешат, они спешат
К вершинам гор, к глубинам шахт,
К глубинам дум, к глубинам тайн,
Спешат путями млечными,
Чтоб утверждать на небе, там,
Земное, человечное.

На сотни лет, на сотни лет
Им строить мир и здания...
Бегут дороги по Земле,
Уходят в мироздание.

«...ТОЛЬКО БОЛЬШЕВИКИ МЕНЯ ПОНИМАЮТ...»

Новые материалы Дома-музея К. Э. Циолковского в Калуге

Недавно в Музее Революции в Москве появился новый экспонат—копия памятника К. Э. Циолковскому в Калуге. Его подарила музею старая коммунистка Мария Сафроновна Селиверстова — близкий друг семьи отца космонавтики.

— Последние дни перед кончиной Константина Эдуардовича,— вспоминает М. С. Селиверстова,— я неотступно дежурила у его постели в хирургическом отделении Калужской железнодорожной больницы. Записывала каждую фразу и каждое слово, сказанное им тогда. Однажды в палату приехал секретарь Калужского райкома ВКП(б) Борис Ефимович Трейвас. Поздоровавшись, он передал Константину Эдуардовичу привет от секретаря Московского комитета партии Никиты Сергеевича Хрущева (Калуга входила тогда в состав столичной области). Циолковский попросил Бориса Ефимовича подробнее рассказать о Никите Сергеевиче. Ученый внимательно слушал секретаря райкома. А потом продиктовал слова привета и благодарности Н. С. Хрущеву. Когда Трейвас кончил писать под его диктовку, Константин Эдуардович приподнялся на подушках, взял карандаш и дописал лично несколько строк.



Константин Эдуардович Циолковский среди своей семьи. Крайний справа — его внук Алеша Костин.

Из рассказов научного сотрудника музея Алексея Леонидовича Костина — внука К. Э. Циолковского—выясняется, что Б. Е. Трейвас был оклеветан и трагически погиб в 1937 году. Тогда же были уничтожены все его бумаги и в том числе подлинник письма К. Э. Циолковского Н. С. Хрущеву, хранившийся в сейфе у секретаря райкома. А номера газет со статьями Трейваса о Циолковском были вырваны из подшивки.

Полный комплект газеты «Коммуна» сохранился в Государственной библиотеке имени В. И. Ленина. В библиотеке мы узнаем, что статья Трейваса была напечатана в газете «Правда» 21 сентября 1935 года. В статье приводится текст письма ученого к Н. С. Хрущеву.

Вот она, эта статья из газеты «Коммуна»:

«Дней за 15 до смерти я передал тов. Циолковскому привет от руководителя московских большевиков тов. Хрущева. По его просьбе я ему рассказал про жизнь Никиты Сергеевича и о его работе. Несмотря на болезненное состояние, он весь оживился. Стал веселым и улыбающимся. «Только

такие люди, люди труда и крепкой воли, создают новую жизнь. Напишите ему привет и благодарность»,— сказал он. Потом сам поднялся, достал карандаш, бумагу и дописал конец. «Вся моя надежда на людей, подобных Вам. Я всю жизнь рвусь к новым победам и достижениям. Вот почему только большевики меня понимают. Я бесконечно благодарен партии и Советскому правительству».

Во всех беседах К. Э. Циолковского с нами чувствовалась огромная любовь к партии, к своему классу, к своей Родине.

«Сенаторы и старые профессора меня не признавали, а рабочий класс быстро меня понял. У нас с ним стремления одни: он стремится ввысь, я туда же».

На районном совещании знатных людей он говорил: «Что вы мне аплодируете? Я вам должен аплодировать. Вы уже создали огромное богатство и построили такую роскошную страну. Мне всегда стыдно, как мало я еще создал для своей Родины.

Желаю вам радостной, роскошной жизни, у вас всех счастливое время и доживете еще до более счастливых дней в нашей социалистической стране».

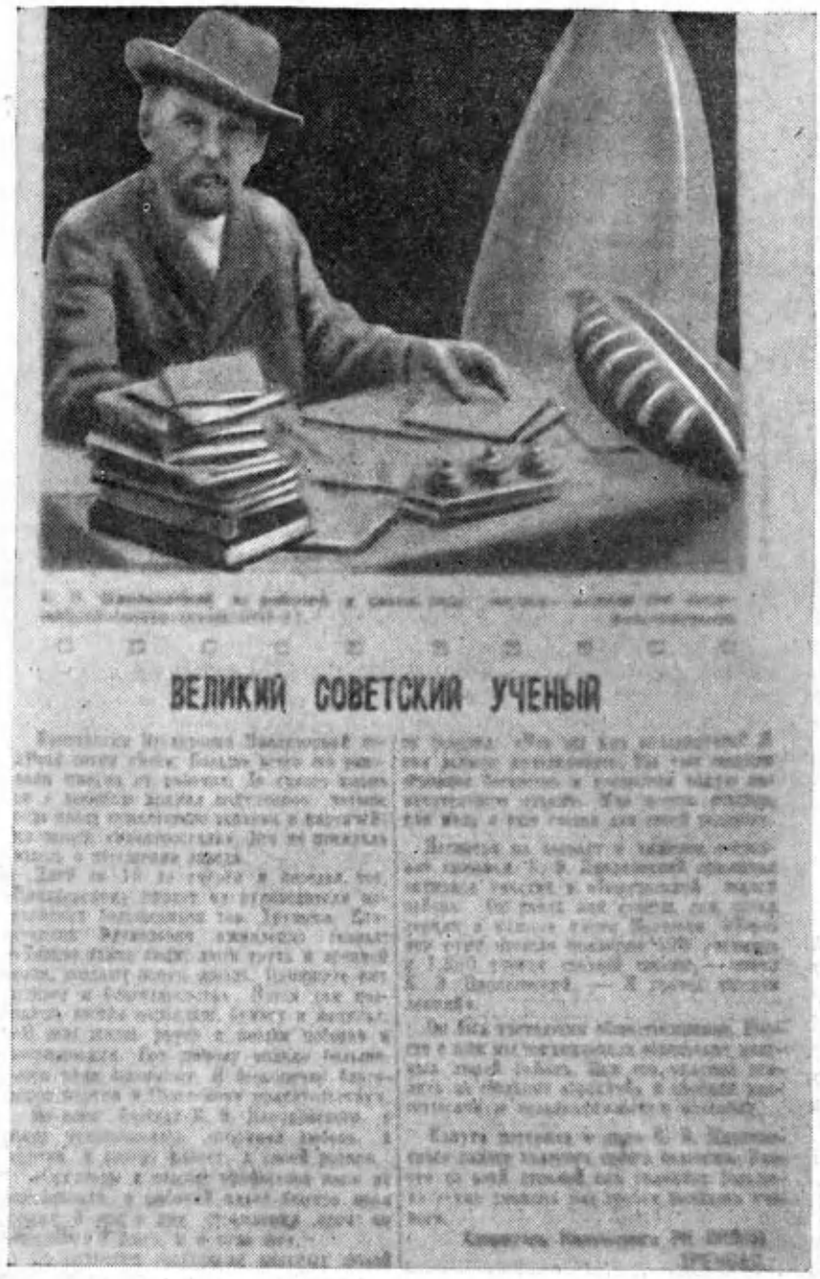
Несмотря на возраст и тяжелое состояние здоровья, К. Э. Циолковский принимал активное участие в общественной жизни района. Он давал нам советы, сам читал лекции в колхозе. «Через мои руки прошло примерно 500 учеников и 1 500 учениц средней школы,— писал К. Э. Циолковский.— Я прочел не менее 40 000 лекций».

Он был настоящим общественником. Вместе с ним мы организовали совещание знатных людей района. При его участии взялись за создание аэроклуба и провели многотысячную осоавиахимовскую массовку.

Калуга потеряла в лице К. Э. Циолковского самого знатного своего человека. Вместе со всей страной она склоняет большевистские знамена над гробом великого ученого.

Секретарь Калужского РК ВКП(б) Трейвас».

Фотокопия статьи Б. Е. Трейваса с текстом письма К. Э. Циолковского к Н. С. Хрущеву сегодня выставлена в музее. А рядом с ней разместились новые экспонаты, новые документы о жизни и деятельности отца космонавтики.



ВЕЛИКИЙ СОВЕТСКИЙ УЧЕНЫЙ

Статья Б. Е. Трейваса о К. Э. Циолковском в газете «Правда».

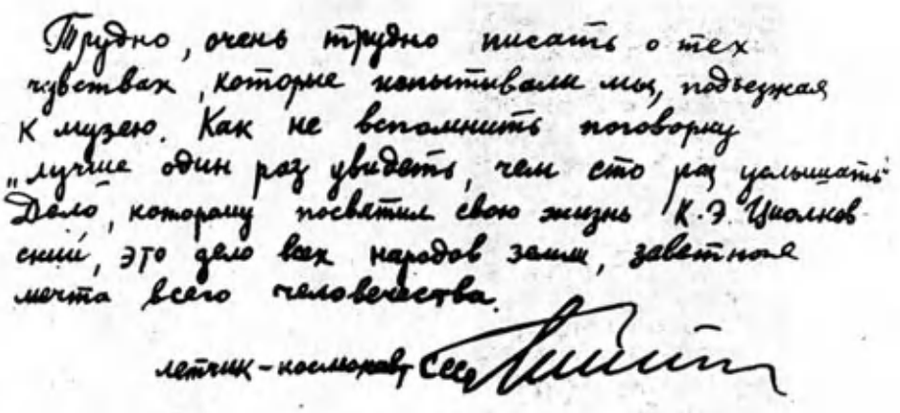
Так, например, несколько недель тому назад было обнаружено два новых, доселе неизвестных письма Константина Эдуардовича. История их такова.

В начале XX века петербургский литературовед А. Яцимирский решил выпустить сборник, посвященный жизни выдающихся людей-самоучек. В печати появился призыв к таким людям сообщить составителю свои автобиографии. На имя Яцимирского пришло более двух тысяч писем. Среди них были и такие, на которые никак не рассчитывал составитель. Многие же талантливые люди не откликались. Не было письма из Калуги, которого так ждал Яцимирский. Константин Эдуардович Циолковский не прислал своей биографии.

Составитель книги решил обратиться к изобретателю с особым письмом. Он написал о целях и задачах издания сборника «Галерея русских самородков» и просил Константина Эдуардовича ответить на предложенные вопросы.

Ответ пришел быстро. Циолковский писал:

«Я бы с удовольствием исполнил Ваше желание, если бы: 1) я был твердо уверен, что я действительно самородок, 2) если бы мне не было совестно писать о самом себе и показывать свою физиономию публично, как нечто заслуживающее внимания, 3) и, наконец, если бы я не был занят по горло моими опытами по сопротивлению воздуха, производимыми на средства Академии наук и по поручению ее.



Автограф Космонавта-2 Германа Титова.

Правда, здоровье мое плохо (или, вернее, некрепко) и я не молод (43 года), но... я еще надеюсь потрудиться над тем, что я считаю наиболее важным.

Недурно, конечно, оставить автобиографию простую, наивную, без тени лжи и скрытности: она поучительна для потомства, если даже написана человеком обыкновенным. Но издание такой биографии возможно только после смерти автора.

Если мне не удастся написать автобиографию и завещать потомству для напечатания после смерти, то ведь беда не велика, большинство даже знаменитых людей осталось без автобиографий, что, пожалуй, делает им только честь, потому что доказывает, как они мало думали о себе и как много о других. Их живая деятельность на пользу ближних и есть биография.

Смешно же (и постыдно) положение человека, выставившего себя на показ и не оставившего добрых плодов... Я боюсь остаться таким, исполнив Вашу просьбу...»

А. Яцимирский настойчиво добивался своего и прислал в Калугу новое письмо с прежней просьбой.

Ответ и на него пришел так же быстро. На этот раз Константин Эдуардович был более категоричен. Он писал:

«Я не хочу видеть в печати ни моей биографии, ни тем более автобиографии, потому что считаю появление ее теперь преждевременным.

Вы совершенно ясно и учтиво мне сделали свое предложение, и я самого лучшего мнения о цели Вашей «Галереи». Мне было бы весьма приятно быть одним из лиц, описанных в ней, если бы не преждевременность этого.

За Ваше предложение я Вас благодарю и считаю его большой честью. Скажу Вам чистосердечно, что оно на некоторое время влило в меня бодрость и поддержит меня в моих трудах. Вашим предложением Вы сделали вполне хорошее дело. Я вижу, что есть добрые люди, которые хоть чуть меня ценят. Но на предложение Ваше я не могу, к сожалению, ничем ответить, кроме как категорическим отказом».

...Своеобразными и, пожалуй, не менее интересными новыми экспонатами музея можно считать две записи в Книге отзывов посетителей.

Одна из них сделана год назад, когда в Калугу приехали Герман Титов, Андриян Николаев и другие космонавты, о которых мы скоро узнаем. От имени всех звездных братьев писал Герман Титов.

«Трудно, очень трудно писать о тех чувствах, которые испытывали мы, подъезжая к музею. Как не вспомнить поговорку: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Дело, которому посвятил свою жизнь К. Э. Циолковский, это дело всех народов земли, заветная мечта всего человечества».

Вторая запись сделана совсем недавно ученицей седьмого класса средней школы № 8 города Калуги.

«Все пишут, что завидуют первым космонавтам Ю. А. Гагарину и его небесным братьям. А я не завидую, а восхищаюсь. Пройдет немного лет, и первые космонавты проводят нас в полет по маршруту, завещанному нам, калужанам, самим К. Э. Циолковским, в полет по трассе «Калуга — Марс». Мы в своей школе уже начали подготовку по программе космонавтов. Консультируемся у Германа Степановича Титова по фильму «Снова к звездам». Я его очень люблю. Это он сказал, что девушки тоже могут стать звездными сестрами».

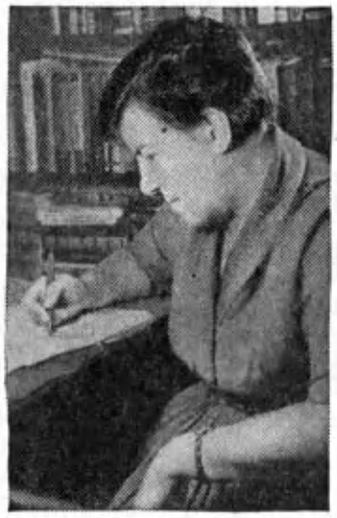
Космонавт «006»
Лидия БАБУШКИНА».

Переписав это заявление, мы бросились искать космонавта «006» и нашли ее в окружении ребят на космодроме «Калуга». К старту готовилась многоступенчатая ракета «Калуга—Марс-006», созданная юными конструкторами школы. Запуск ее прошел удачно. Сверкая на солнце, серебристо-алая сигара вышла на «орбиту» и оставила след над сквером Мира, где стоит бронзовый Циолковский и смотрит в космическую даль. Он как бы вновь и вновь повторяет свои слова:

«Человечество не останется вечно на земле, но в погоне за светом и пространством, сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство».

Школа и жизнь

Любовь КАБО



ПОЭЗИЯ И ПРОЗА ЛУЧШЕГО НА СВЕТЕ РЕМЕСЛА

Фото автора

I

Звонит будильник: девочки, вставайте, девочки!..

До знакомой калитки—метров двести по скользкой, словно намыленной дороге. От звонких ребячьих голосов, разом плеснувшихся навстречу,— привычный теплый толчок в сердце: «Вот они, мои...» Еще и проснуться толком не успеваешь, а уже приступаешь к работе: «Томочка, почему у тебя пуговица оторвана? Кто у тебя шеф? Петя, в каком ты виде!..»

В общем, это только родная мать не успевает проснуться, а уже всей душой в своих детях. В столовой — завтрак; кто-то не так вошел, не так сел; третий класс слишком возбужден, шестой не справляется с дежурством... Кропотливое домашнее воспитание, адресованное не единственному обожаемому ребенку, а десяткам и сотням детей. В обычной школе учитель только еще торопится к первому уроку, а в школе-интернате уже целое утро за плечами: все постели заправлены, все косички заплетены...

Идут уроки. Или столичное образование теперь таково, или Московский государственный пединститут имени Ленина не поскупился — действительно прислал сюда лучших, но уроки на подбор: живые, талантливые; на заинтересованных, думающих, активно работающих ребятишек приятно смотреть.

В печати в свое время появилось сообщение о том, как группа выпускников Ленинского педагогического института решила осуществить идею молодежной школы-интерната, то есть такой школы, где все учителя — выпускники одного и того же института, люди, сблизившиеся еще на студенческой скамье. С этой целью и приехали они сюда, в поселок Горняк, Алтайского края, летом 1961 года, восемнадцать товарищей, молоденьких, только что испеченных учителей.

В печати освещалось и то, как встречены были молодые энтузиасты, как местное начальство заставило неопытного директора принять недостроенное помещение; как трижды в день приходилось водить ребят в переполненную рабочую столовую, а мыть в поселковой бане; как не было еще ни мастерских, ни этого вот огромного физкультурного зала, и классов тоже не было, и уроки приходилось давать в спальнях. А ребята — что же! — свезенные из различных детских домов, ребята бесились от всей этой неразберихи и неустройства, выворачивали водопроводные краны, грубостью и претензиями отвечали на самоотверженность и доброту.

Всему этому сейчас трудно поверить. Нормальный день в нормальной, хорошо поставленной школе. Приветливые детские лица: «Вам помочь? Вас проводить?» Стриженая девчурка доверчиво льнет к руке теплой головенкой: «Вы к нам в гости, ага?..»

Обед, часы отдыха (для ребят) — и снова продолжается рабочий день. В пионерской комнате заседает совет командиров. Ведет его девочка очень наступательного склада. Она говорит: «Не за что восьмому классу присуждать вымпел: у них мальчишки от шефства отказываются...» «Неправильно!» «Правильно! Вот и «Справедливые» скажут»...

«Справедливых» по классам выбирали по особому такому признаку — за справедливость. «Справедливая» из восьмого класса встает: «Все правильно, проигрываем соревнование...» Во взглядах ее одноклассников — уважение и бессильная ярость: место в соревновании — это не просто красный самолетик или зеленая черепашка на фанерной доске — это поездка в Москву или в Горный Алтай, на Телецкое озеро...

Внизу, в мастерских, пожилой мастер объясняет завороженным слушателям, как надо выжигать по дереву. Сам простодушно увлечен, останавливает двинувшегося было корреспондента: «Подождите, сейчас будет самое интересное»,— хочется ему и приезжего человека научить чему-нибудь дельному...

Рядом, из физкультурного зала, доносятся мягкие толчки бегущих ног: «Хоп, хоп!..» Светлана Волкова любовно расправляет послушные ребячьи тельца: «Ноги прямей, вот так! Спину выгни...» Этажом выше группа малышей истово репетирует с куклами сказку «Колобок»: «Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел...» Вот бы сюда кого — Рину Зеленую!..



...а в интернате уже целое утро за плечами... (Люся Дзюба).

Словом, куда ни пойдешь — везде своя серьезная, очень важная жизнь; к кому ни обратишься — каждый занят делом. «Ага, вот!» Личность лет десяти решительно ничем не занята, вяло ковыряет стенку в учительской. «Ты что здесь?» «Прислали». «Небось, натворил чего-нибудь?» Человек огорченно шмыгает носом: «Подумаешь! Ничего такого и не сделал — наврал...»

Крошечное государство, живущее по чистым и милым законам, не знающее снисхождения к человеческим слабостям, сурово творящее суд и расправу!..

Идет так называемая самоподготовка. Пятиклассники трудятся на совесть, что-то пишут, помогая себе губами и языком, а у батареек мнется человек шесть притихших малышей-первоклашек, уважительно поглядывают на старших своих друзей. «А малыши что здесь делают?» Классный воспитатель Нина Мамиконова с трудом сдерживает улыбку: «О, это очень серьезные нарушители!..» Оказывается, пятиклассники наказали своих подшефных, самозабвенно бродивших по лужам,— пусть теперь стоят у батареек и сохнут; пусть-ка они поглядят, между прочим, эти первоклашки, как умеют себя вести порядочные люди...

Бедный корреспондент! Он проделал пять тысяч километров, чтоб с кем-то там из учителей поговорить по душам, а говорить ему не с кем: все заняты. Заняты неотрывно, целый день. После ужина? После ужина Нина Щеглова и Маро Хачатурян проводят вечер Моцарта. Остальные учителя могли бы, пожалуй, уйти: ребята все собраны в одном зале, а чисто «сторожевые» функции — стоять и наблюдать,— эти функции здесь не в ходу как-то; остальные могли бы, повторяю, уйти, но вот так, «по-человечески», хочется узнать что-нибудь новое о Вольфганге Моцарте и хорошую музыку послушать...

К себе, в общежитие, учителя возвращаются только после отбоя, после десяти часов. В семь часов утра ушли из дому, после десяти вечера возвращаются. Все ли читателю понятно? Ох, братцы, если хотите легкой жизни, не идите в учителя! Не идите: вся жизнь растратится на этих вот ребят, вся, без остатка, другой жизни вам никто не подарит; и сколько же терпения надо, и доброты, и любви к детям — подобного самоотвержения, пожалуй, не знает ни одна другая профессия в мире. Будем говорить прямо: ведь рабочий день не нормирован совершенно, и не только в школе-интернате, а и в обычной школе — это только кажется, что там он нормирован; и будем говорить прямо: миллионеров среди учителей мы как-то еще не встречали...



«Таких ребят, как у нас, нигде нет, не верите?..» (Светлана Волкова).

Вот учителя вернулись в свое общежитие, вымотанные и веселые, а разговоры, господи, разговоры-то опять о ребятах! И ведь надо еще готовиться к урокам!..

Я написала вначале: «Или столичное образование таково, или институт действительно прислал сюда лучших...» Вот в чем секрет прекрасных уроков — в тщательнейшей подготовке, в неутомимом труде. Сколько они еще просидят, эти девушки,— до часу, до двух, до трех? В половине седьмого прозвонит будильник...

Нашей печати как-то пришлось выступить в защиту этих девушек от всяческих наговоров. Обывательская фантазия — она ведь не бог знает как богата, на каком бы посту ни грешили ею: конечно, «моральное разложение», «ночные сборища»... Бедные подружки, а когда им и собраться, если не за полночь, отвести душу, поговорить? Понимают ли их бюрократические недоброжелатели, что это значит — круглосуточная интернатская вахта?..

Было, было и «моральное разложение», что таить!.. Ниночка Щеглова снимала порой с гвоздя гитару — и молодость вырывалась наружу, и столько было при этом смеха, и непринужденнейшего веселья, и дружеской теплоты. Очень славно среди сердечных людей, хорошо поют в поселке Горняк, Алтайского края!..

Мы с тобой вернем еще назад
Эти ночки звездные.
Нам с тобой о встрече говорят
Гудочки паровозные...

II

И еще один интернат — совсем другой, вовсе не в Алтайском крае. Обыкновеннейшая деревня: саманные домишки жмутся один к другому, от палисадника до палисадника степенно прохаживаются чьи-то куры... В одном домике живут, предположим, мальчики пятого класса, в другом — мальчики шестого, в этом, безобразно удлиненном, ступеньками карабкающемся на сопку,— малыши...

По единственной улице непрерывно снуют ребята, торопливо пробегают, не забывая бросить на



«О, это очень серьезные нарушители!..» (Нина Мамиконова).



«...Пропоют еще не раз нам гудочки паровозные...» (Нина Щеглова и Маро Хачатурян).

ходу «Добрый день!» или «Добрый вечер!». Изредка пройдет учитель — пальто внакидку, стопка тетрадей прижата к груди.

Самый угол целинной степи — где-то между Кокчетавом и Атбасаром. Ровная, как скатерть, степь вдруг начинает коробиться, мяться, ершится лесом, извергает из недр своих камни и каменюги. Чем глубже в лес, тем земля вздыбливается причудливее и круче, свирепее нагромождение скал. А за лесом — степь, а за степью — еще лес, за горизонтом — еще горизонт... Как это у Гоголя: «Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться и пройтись ему?»

Называется все это великолепие «Сандыктав» — «Щедрые горы»; самое место, согласитесь, для такого вот ребячьего мирка. В окна классов неотступно просятся сосновые ветви. Порхнет с ветки на раму расшалившаяся птаха, выбьет по стеклу торопливую строчку: «Ребята, я вот она!..» Шмыгнет белка, сметая осеннюю паутинку развернутым, как флаг, хвостом. Сидеть изо дня в день в таком вот классе, наблюдать между делом, как грустно опадает лист за окном, или, наоборот, как весело проклевывается весенняя зелень, рассеянно улыбаться этой вот шаловливой строчке по оконному стеклу. Кажется, никакой воспитательной работы и не нужно больше: ребячья душа добра, и светла, и не омрачена ничем — сказка!..

«Ага! — разочарованно скажут сандыктавские учителя. — Мы так и знали: и вас потянет на сказку!»

Они очень молоды, сандыктавские учителя, во всяком случае, большинство из них — вчерашние выпускники одесского, уральского, местных вузов. Их одолевают не только сегодняшние дела, но и завтрашние заботы.

«Что делать? — Это говорит Маргарита Васильевна Рахматулина, председатель Сандыктавского методобъединения математиков, прелестная девушка (да простит меня уважаемый председатель), с чистыми, как озерца, глазами.— Вот спорим о передовом учительском опыте — о Липецке, о Ростове.

А ведь и нам тоже хотелось бы расти дальше, многое уметь, организовать всю эту взаимную выучку. Посудите сами — когда? В течение дня вздохнуть некогда...»

Все ли понятно? Говорили мы о поселке Горняк, Алтайского края, о дружной группе выпускников одного и того же вуза, взявших на себя интернат; сейчас говорим о поселке Сандыктав, Целиноградской области, о первом попавшемся интернате, об учителях, набранных, что называется, «с бору по сосенке»,— нарочно говорим об очень разных интернатах и очень разных местах. Видите, беды одни и те же.

Две совершенно различные школы. Так и вписывается в эти вот «Щедрые горы» здание из алюминия и стекла, а стоят здесь, увы, жалкие саманные домишки. Смотрит унылая солончаковая степь в огромные окна «горняцкого» интерната. Очень разные интернаты. В поселке Горняк, например, напряженно ищут, что бы такое придумать, чтоб труд ощущался ребятами как насущнейшая необходимость,— не получается как-то; в Сандыктаве необходимость эта возникла сама собой. В Сандыктаве едят то, что взращено и вскормлено на собственном подсобном хозяйстве, носят то, что сошьют сами,— от трусиков и косынок до ватных пальто; здесь каждая мелочь создана ребячьими руками; даже эту вот площадку для игр сделали старшие для малышей — карусель и качели и совсем настоящий корабль, носом разрезающий валы шелестящих листьев. Но никак здесь не найдут истинных форм самоуправления: учительская мысль, добрая, живая учительская воля все равно перехлестывает ребячью инициативу. Зато там, в Горняке,— боевые советы командиров, система шефства, постоянное ощущение ответственности за весь коллектив... Короче говоря, у каждого интерната свое.

Нас сейчас интересует то, что является повсеместным: эта вот страшнейшая учительская перегрузка.

Вот мы говорим: «Самоотверженнее нет труда...» А может, все проще, и, может, пора положить конец этому нашему грошовому умилению: «Ах, подвижничество, ах, самоотверженнее нет труда...» Профессия как профессия — всё! И требовать от человека она должна столько же, сколько и любая иная. Пора положить конец этой перегрузке — ничем не оправданной и, с самой высочайшей государственной точки зрения, глубоко вредной; об этом говорится на всех учительских конференциях.

Она очень многое может выдержать, учительская молодежь,— сегодня мы говорим в первую очередь об учительской м о л о д е ж и,— и спать пять часов в сутки и работать остальные девятнадцать, но ведь надо успеть и привести себя в порядок, и к окружающим ровесникам присмотреться, не все только к своим ученикам, и, прямо сказать, влюбиться, завести семью. Но останемся в пределах профессионального разговора: сколько может учитель повторять институтские лекции? Всякая наука идет вперед, за нею надо следить. Надо разбираться в искусстве и литературе, быть самым сведущим, всесторонне развитым человеком, образцом для окружающей молодежи, иначе какой же ты учитель? Как бы ни перестраивалась школа, что бы и как вокруг нее ни решалось, ос-



«Очень хочется расти дальше, учиться...» (Маргарита Рахматулина).

нова основ в этом — в профессиональном уровне учителя, в самой личности его.

Очень много хорошего писали местные газеты о молодом сандыктавском математике, выпускнике Одесского университета Вадиме Анатольевиче Могильницком; это уверенный в себе, знающий учитель, человек ироничный, умный,— ребята за такими, как правило, идут в огонь и воду. А он сердит: за лестными газетными строками ему не без основания чудится легкомыслие и неосведомленность. Кто вникнет в глубины профессионального самочувствия? Учитель один, всегда один за закрытыми дверями класса. Каждый новый урок ставит перед ним еще не решенные человечеством проблемы, и даже самый опытный воспитатель однажды в год — первого сентября — отправляется на открытие и завоевание неведомых земель...

А вечная профессиональная неудовлетворенность — вечная! Долгие годы ждет учитель видимых результатов своего труда. Сколько раз за это время покажется ему, что все идет прахом, все, земля разверзается под ногами! И снова терпеливо, любовно, по кирпичику воссоздает учитель рухнувший было мир. Опытному легче, он уже знает радость общения с людьми, которые из строптивых учеников стали пожизненными друзьями. Опытный умудренно смотрит на сегодняшнюю зеленую поросль: «Перемелется — мука будет; дурите, как вам вздумается, вот вы у меня где все...» Неопытному нечем себя утешить.

Учитель, особенно молодой, голоден по профессиональному общению; ему необходимо чувствовать себя среди единомышленников, в коллективе. Не потому ли так оживился Вадим Могильницкий, узнав о далеком поселке Горняк, об опыте Ленинского пединститута: «Молодежный интернат — вот здорово! Может, это то самое, что нам нужно?»

III

Может быть! Ведь говорил когда-то Антон Семенович Макаренко, что истинное воспитание осуществляется не единственным педагогом, будь он хоть расхороший, а целым учительским коллективом. К ученику должны быть обращены не Иван Иванович и Петр Петрович, люди разные, каждый по-своему требующие своего, а Единый Большой Воспитатель. Что может быть более



Много лестного писалось о Вадиме Могильницком...

едино и цельно, чем такой вот коллектив молодежи, сдружившейся еще на студенческой скамье?

А как он безотказен, такой коллектив, сколько может взвалить на свои молодые плечи! Он готов работать творчески, и только творчески; вот уж где возможность профессиональных контактов не ограничена! А какова возможность игры!.. Да, да, той самой, о которой опять-таки говорил Антон Семенович,— с учащимися, дескать, надо постоянно играть, играть молодо и увлеченно. Не потому ли на вопрос, кого бы он предпочел: опытного, пожилого учителя или начинающую девчонку,— Антон Семенович, не задумываясь, отвечал: «Девчонку». Преимущество молодости и непосредственности было для него очевидно.

Одним словом, подобный опыт уже есть — молодежного интерната в поселке Горняк, Алтайского края,— мы не вправе с этим не считаться. Мы для того и заглянули на целину, в Сандыктав, в первый попавшийся интернат, чтоб лишний раз убедиться: молодые учителя, где бы они ни были, смутно мечтают о чем-то подобном.

О чем же говорит опыт Горняка? Он говорит: очень оправдан самый метод засылки выпускников на места «обоймами» — от этого выигрывают и сами выпускники и будущие их учащиеся.

В самом деле! Вам приходилось когда-нибудь из урока в урок сидеть в одном каком-нибудь классе? Господи, вспомните свои школьные годы! Умные, талантливые, великолепно работающие на уроке математики люди через какие-нибудь десять минут, на уроке черчения, например, по мановению ока превращаются в зверенышей с разнузданными инстинктами — все зависит от того, каков противостоящий им учитель. Здесь, в Горняке, то, о чем мы писали вначале, тот самый Единый Воспитатель: ученик словно в добрые клещи попадает — не вырваться! Требования одного учителя подхватываются и осуществляются настойчивостью другого; то, что не успел сделать предметник на уроке, осуществит пришедший на смену ему воспитатель. «Они у нас умные, молодые, красивые — очень хорошие!» — с гордостью говорят «горняцкие» ребята о своих учителях. «Они»! Выделить кого-нибудь особенно ученики не в силах,— все учителя веселы и ласковы, все более или менее одинаково учат (один педагогический выпуск!), у всех приблизительно одни и те же взгляды на жизнь. О профессиональном самочувствии этих учителей мы тоже уже писали — нужны ли им особые методсовещания при постоянном дружеском деловом контакте?

Но опыт Горняка говорит и о другом: в молодом коллективе должен быть обязательно человек с немалым педагогическим стажем, с умудренной душой,— директор ли, завуч, старший ли воспитатель; ьо всяком случае, человек, имеющий вкус к работе с молодежью. Именно такого директора, кажется, обрел «горняцкий» коллектив в лице А. Ф. Точилина, пожилого, опытного и доброжелательного человека,— в конце концов, обрел!.. Первый директор, Виктор Опалихин, вчерашний студент, с этой работой не справился, о втором, Федоре Пыжьянове, тоже вчерашнем студенте, мы еще будем иметь случай говорить... Молодые учителя уважают и любят А. Ф. Точилина; он, в свою очередь, не нахвалится молодым коллективом. Вот что показал пример Горняка: опыт и энтузиазм великолепны в союзе; ведь и Антон Семенович набирал «девчонок» в с в о й коллектив.

Итак, оправдано создание педагогических коллективов еще в институтских стенах. Формироваться они должны не меньше, чем за полгода до окончания вуза, знакомиться на какой-то общей работе, стажироваться заблаговременно в лучших интернатах. А дальше — постоянная помощь и контроль со стороны alma mater; все это вовсе нетрудно организовать, особенно на базе областных педвузов.

Ох, они непременно должны знать друг друга, будущие члены

педагогического коллектива! Чтоб не получилось так, как в Горняке, когда на место первого директора, Виктора Опалихина, был назначен его товарищ, энергичнейший Федор Пыжьянов. Откуда что взялось вдруг — грубые окрики, самодурство, легкая клевета в адрес бывших своих друзей! Оказывается, студенческий демократизм давно уже претил Пыжьянову; власть есть власть в конце-то концов!.. Обо всем этом уже писалось в «Комсомольской правде» — о том, как Федор Пыжьянов с благословения местного руководства подмял под себя молодой коллектив. С тревогой писалось: почему Пыжьянов делает в районе бурную карьеру? Через несколько месяцев он уже был назначен заведующим роно! Отвлекусь в сторону: несмотря на выступления центральной печати, Пыжьянов продолжает делать карьеру — случай беспрецедентный! Некем заменить, что ли; уж не оскудела ли русская земля дельными и талантливыми людьми?

И тут напрашивается еще один вывод, может быть, важнейший: какова воспитательная роль вузовских комсомольских организаций?

Как могли выпускники столичного вуза не разглядеть п о л и т и ч е с к о г о смысла происходящих вокруг них событий, почему всю историю с Федором Пыжьяновым они рассматривали только как личные свои неприятности и лично над ними нависшую угрозу? Гражданственности, политической активности — вот чего «горняцким» учителям не хватило.

И кое в чем, увы, были правы обвиняющие их недоброжелатели. Как случилось, что целый отряд образованной столичной молодежи, при всей чистоте своих намерений и безусловной добросовестности, не стал своего рода культурным центром в этом отдаленном районе? Неопытность, неумение организовать свое время, безусловная занятость — все это так, но и студенческая привычка вечно вариться в собственном соку. Все те же вопросы вузовского воспитания: недостаток подлинного демократизма, высокой гражданственности.

Незнание жизни — кто в нем виноват? Не является ли задачей вузовских комсомольских организаций — подготовить будущих педагогов к предстоящей жизни, уберечь их от первых толчков и разочарований? Не беспомощно администрировать, как это порою делается в комсомольских организациях, не оглядываться бесконечно на распоряжения деканата и приказы ректора,— нет, быть хозяевами студенческой жизни. Добиваться разнообразнейших связей с жизнью, с будущей специальностью — системой шефства, дежурствами в детских комнатах, деловой организацией воспитательской практики. Учитель! Это всегда высший авторитет для окружающих, не только для своих учеников — для всего населения; во всяком случае, должен быть таковым.

IV

«С тех пор, как вы уехали, прошло уже четыре дня. Но эти дни для меня показались, как будто я не видел вас целый год. Уже сейчас ребята по вас скучают и часто грустят, стоя у окна...»

Получали ли вы когда-нибудь такие письма? И чтоб на конверте было крупно написано: «Почтальон, быстрей!..» И чтобы кончалось оно стихами: «Только вперед, к штурму высот!..» — сразу видно, что письмо это писал мужчина.

Такие письма получает одна из горняцких учительниц, вынужденная по болезни на несколько месяцев покинуть своих ребят.

«Наши девочки ходили и вздыхали, как бы чего не случилось с вами в дороге. Напишите, где вы сейчас, дома или в больнице? Как себя чувствуете, как доехали?» Письмо явно написано сердобольной женской рукой.

Целая куча вопросов. Что делать с девочкой, которая лазает по чужим тумбочкам? Обнаружилась же такая история, и класс взволнован. Как поступить с мальчиком, который очень, просто очень нравится автору письма, а он между тем ко всему равнодушен — не к автору письма, а именно «ко всему»? Как его воспитывать — «не могу же я подойти к нему первой»? И как вообще жить дальше на белом свете?..

Хотите получать такие письма — и д и т е в у ч и т е л я!.. Что-то, видно, есть в нелегкой этой специальности: из нее не уходят.

Наша литература любит показывать этакого смиренника учителя, в скромной своей доле неизвестно зачем хранящего старые тетрадки своих питомцев; питомцы эти, непременно преуспевающие, достигшие каких-то там высот, с ученической робостью мнутся у учительского порога. Эти разговоры: «А помните, как вы меня выгнали из класса?», «А помнишь, у тебя всегда был ужасающий почерк?»... Этакий благостный и, право же,



«Знаете что, идите в учителя!» (Валерия Реут).

унизительный для учителя шаблон!.. Словно он не думающий, не интересующийся многим на свете человек, этот учитель, не активнейший гражданин, словно так уж и не о чем с ним говорить!..

Все не так, все иначе — значительней, лучше. Прекрасное чувство, не каждому доступное: эти умные, интересные люди, бывшие ученики,— иные из них могли быть всякими, а выросли вовсе неплохими; в этом есть и твоя, учительская заслуга. Кое-чем они действительно обязаны тебе, но и ты, в свою очередь, им обязан: изо дня в день они отдавали тебе свою доброту, свое понимание, свою юность. На человеческом языке все это, кажется, называется очень просто: дружба. Живые человеческие связи, сохраненные на всю жизнь,— если, конечно, ты, учитель, достоин этого. Постоянно расширяющаяся сфера дружеского общения, постоянное ощущение воздействия своего на людей — пусть даже иногда и небольшого, а иногда и очень большого! — вечный загад в завтрашний день, дыхание молодости — вот в чем самая сущность лучшего на свете учительского труда.

Идите в учителя, несмотря на все трудности, на все недостатки этой профессии!.. Идите! И подросток с ломающимся баском, навсегда убежденный вашими словами, будет смотреть на вас откуда-то с задней парты угрюмоватым, влюбленным взглядом. И какая-нибудь девчурка, не знающая материнской ласки, будет льнуть к вашей руке теплой стриженой головенкой: «Вы к нам насовсем, ага?..»

Большое в малом

Владимир БЕЛОВ

ЧЕРЕЗ ГОДЫ И КИЛОМЕТРЫ

Рисунки Ю. Вечерского.

Я люблю возвращаться в Москву из далекой командировки. Люблю, переступив невидимую черту, отделяющую дорогу от дома, пройти по улицам, помахивая небольшим чемоданчиком, ощущая за спиной сотни километров. Мне не раз признавались и геологи, и моряки, и туристы — те, кто странствовал больше других,— что им знакомо это чувство тайного превосходства над людьми, всю жизнь прожившими на одном месте.

Недавно я понял: в основе этого лежат не километры и не экзотика, а познание мира, которое нам дают встречи с людьми. Я понял это, когда совершил путешествие, не покидая Москвы.

Апрель 1963 года. Подъезд гостиницы «Центральная». На втором этаже табличка: «Уполномоченный ВЦСПС». Здесь я листаю списки передовиков движения за коммунистический труд, прибывших на всесоюзное совещание.

Хабаровский край. Молдавия. Амурская область. Туркмения. Карелия. По этим записям можно изучать географию Советского Союза.

В аккуратных графах — название предприятия, фамилия, имя, отчество участника совещания, его должность. Многое ли узнаешь из этих списков?

Так отложим бумаги и отправимся к людям в далекое путешествие через годы и километры.

ВСТРЕЧА ПЕРВАЯ

Идет Маша по улице Кишинева: каждый дом знаком, в каждом живут свои, фабричные. Сами строили эти дома. «На строительство вот этого,— вспоминает Маша,— вышли всей сменой». На этой улице и Маша получила квартиру — комната, кухня. Хорошо в ней жилось. А теперь здесь пока будет жить Катя. Так получилось... У Кати муж ушел в армию, ребенок родился. Как его возьмешь в общежитие? Сама Катя в детском доме выросла, не помнит ни отца, ни матери. Думала, свекровь матерью будет, а та — кто ее знает почему — невзлюбила Катюшу. Да и живет свекровь далеко, в деревне... Вот и надо как-то выручать человека.

Идет Маша по кишиневским улицам, постукивает веточкой по водосточным трубам.

Стрекочут, стрекочут швейные машины. Маша ловко, четко отработанным движением подкладывает под иглу рукава мужских пиджаков. Кто-то дернул сзади за косынку.

— Комсомол докладывает парторгу смены Марии Скрипник: Катя опять ходит по фабрике веселая. Даже песни поет!

И снова послушно ложатся рукава и стрекочет, бормочет машина, словно рассказывает про Машину жизнь.

Маша не помнит, как мать получила похоронку: слишком маленькой была тогда. Зато помнит другое: пришел в дом отчим, и появились у Маши младшие братишка и сестренка. Ну, что ты притихла, машина, или не хочешь рассказывать, как черноглазая девочка почувствовала себя совсем чужой в своем доме?

Это как будто красиво звучит: в двадцать три года восемь лет производственного стажа — и уже парторг смены. Но, право, совсем не так сладко в пятнадцать лет, еще совсем девчонкой, начать работать. Правда, фабрика встретила ее ласково, стала ее домом.

И если теперь коллектив послал ее на совещание ударников коммунистического труда в Москву, это заслуга не только Маши, но и всех ее «мам» с фабрики коммунистического труда.



Маша вспоминает и улыбается. Она рада, что помогла Катерине так же, как восемь лет назад ей помогли на фабрике старшие товарищи.

В сложной эстафете жизни она не уронила палочку. «...Вся суть жизни в том, сколько человек получает человечности в единицу времени. И сколько отдает ее...» Эти слова из рассказа Виктора Конецкого имеют, по-моему, прямое отношение к движению ударников коммунистического труда.

Человечность, забота о товарищах, взаимовыручка не только на производстве, но и за пределами фабрик, заводов и шахт—все это сформулировано в короткой строчке Программы нашей партии: «Человек человеку — друг, товарищ и брат».

Холл гостиницы, мягкие кресла. Дежурная сонно покачивает головой. Маша похожа сейчас на грустную птицу.

Завтра утром интересное заседание, вечером его участники будут слушать «Садко» в Большом театре. А Маше невесело.

— Что с вами, Маша?

— Понимаете, я потеряла перспективу. Раньше была работа и школа. Школу я окончила, а дальше? Фабрика готова направить меня в любой институт легкой промышленности и будет выдавать мне стипендию. Но я хочу быть врачом, врачом и больше никем. А в медицинском стипендия маленькая. Мне же бабушке помогать надо. Как же мне быть?..

Да, у нас есть очень хорошие положения о стипендиатах заводов. Лучшие производственники, поступив в институт, получают заводскую стипендию, которая, как правило, выше студенческой. Но это главным образом тогда, когда избранная специальность совпадает с профилем предприятия. А если металлург мечтает стать географом, токарь — геологом, а швея — врачом?

Великий французский скульптор Огюст Роден писал: «Страстно любите свое призвание. Нет ничего прекраснее его. Мир будет счастлив только тогда, когда у каждого человека будет душа художника, иначе говоря, когда каждый будет находить радость в своем труде».

Коммунизм это и есть тот счастливый мир, в котором у каждого человека будет душа художника...

ВСТРЕЧА ВТОРАЯ

Комсомольск-на-Амуре—город подвига комсомольцев тридцатых годов... Теплоэлектроцентраль. Отсюда идет ток на все предприятия Комсомольска. Дома, магазины, фабрики, соседние заводские поселки — все связаны с ТЭЦ тонкой паутиной проводов.

Машинный зал. Полы поблескивают чистотой. Негромко гудят турбины, пахнет озоном. Два человека стоят друг против друга.

— Должно получиться,— убеждает Лев Павлович Реснянский, машинист котлов.— Я читал, проверял.

— А я сказал нет, так оно и будет,— повторяет мастер.— Ты что, моему опыту не доверяешь? Или я меньше твоего болею за нашу станцию? Сколько лет ей отдал! Ты сам знаешь, пробовали делать эти твои паранитовые прокладки на других ТЭЦ — ничего не вышло. Зачем же зря оборудование тревожить?

— Не вышло, значит, делали плохо, а мы хорошо сделаем. Ведь вы сами знаете, что вентили с асбестовыми прокладками нет-нет да и пропустят пар, а паранитовые надежнее.

— А я тебе говорю: нет!

Реснянский упрямо заявляет:

— Тогда я пойду к начальнику цеха, пусть он решает.

Начальник цеха — молодой инженер Лев Глазунов — круглощек и подвижен. Он сам работал машинистом котлов и понимает: если удастся сделать надежные паранитовые прокладки, то стоит повозиться. И обойдутся они совсем недорого: отходы паранита есть на каждой ТЭЦ.

— Что ж, пробуй. Только смотри...

— Буду смотреть,— откликается Реснянский.

Это было около года назад. Сейчас можно уверенно сказать: опыт увенчался успехом. Вентили с паранито-графитовой прокладкой вошли в быт электростанции.

Ни один из них не пропустил пара.

И опять два человека стоят друг против друга.

Упрямо нагнул голову Реснянский. Мастер хмуро усмехнулся и на все доводы отвечает с твердостью:

— Я сказал нет, значит, нет. Ты что хочешь, чтобы у нас аварии были?



Теперь спор идет о составе обмуровки маленьких люков в котлах.

Периодически, во время профилактических осмотров, эти люки надо открывать, чтобы внимательно осмотреть трубки экранов, вокруг которых обычно бушует пламя. Затем их вновь закрывают и обмуровывают. Состав для обмуровки проверен временем. Он надежен, но рабочие не любят его. Когда открывают люк, приходится долго и тщательно очищать металл перед новой обмуровкой. Эта нелегкая и кропотливая работа удлиняет время профилактических осмотров.

Реснянский предлагает ввести новый состав из стекла и графита, уже не раз рекомендованный техническими журналами.

О чем же тогда спор, может удивиться читатель, и в чем, собственно, заслуга Реснянского? В том, что он читает технические журналы?

Рассуждение как будто верное, но, к сожалению, между открытием и его внедрением нередко лежат годы. Вечный спор между прогрессом и косностью.

Человек, внедряющий новое, должен в совершенстве знать материал или конструкцию, которую он собирается внедрять. Но ему также необходимо учитывать психологию людей — тех, кто будет работать с этим новым. И, самое главное, человек, внедряющий новое, должен быть истинным бойцом, твердо уверенным, что делает нужное дело. Без такой уверенности он после первых же неудач махнув рукой, произнесет классическое: «А что, мне больше других надо?» — и сдастся на полпути.

Но оставим в стороне общие рассуждения и вернемся к спору, который ведет Реснянский.

Арбитром вновь стал начальник цеха Лев Глазунов.

— У нас станция коммунистического труда,— горячится мастер.— Все последнее время мы работаем без аварий. А если мы введем новую обмуровку люков и она не выдержит?! Не было у нас аварий, так будут,— убежденно заканчивает он.

Начальник цеха задумчиво потирает подбородок:

— Я думаю, на этот раз мы в самом деле не будем рисковать.

— Правильно, Лев Павлович,— подхватывает мастер.— У нас труд коммунистический. Как же это мы станем рисковать оборудованием из-за того, что приходится побольше поработать при обмуровке? Не государственный это подход к делу, так я считаю.

— Если бы человек все время жил по правилу «как бы чего не вышло», не было бы даже и сохи,— размышляет Реснянский.— Пойду к главному инженеру.

— Может, и стоит попробовать,— медленно говорит главный.— Подождите. Я внимательно посмотрю всю литературу по этому вопросу.

Сейчас, когда Реснянский вернется в Комсомольск-на-Амуре, спор будет продолжен.

Ударник коммунистического труда. За этими словами стоит много разных качеств, которые мы считаем неотъемлемыми у работника будущего. И одно из

важнейших качеств — способность на деле бороться за технический прогресс, против консерватизма и рутины, за подлинное новаторство.

ВСТРЕЧА ТРЕТЬЯ

Алексей Паньков стоял на автобусной остановке, подняв воротник пальто. Покачивая желтыми щупальцами света, подошел автобус.

Алексей блаженно протянул замерзшие ноги к калориферу под сиденьем, откинулся на удобную спинку кресла и, повернувшись к окну, стал дышать на снег. Подтаявшую тонкую корочку льда старательно соскреб пальцем.



За окном под тяжестью снега неподвижны ветви сосен. Но вот автобус качнулся в сторону, прижался к темной стене леса, стряхивая с ударившей по борту хвои пушистый снег, и ветви вздрогнули, протянулись к окнам.

«Словно черные пальцы электродов»,—подумал Алексей, вспоминая эпопею борьбы за экономию сварочных электродов.

Тридцать пять — пятьдесят миллиметров — вот максимальная длина огарка, который полагается оставлять после сварки. Такова норма. Но когда «Комсомольский прожектор» Онежского тракторного завода взялся проверять, почему так велик на предприятии расход сварочных электродов, оказалось, что сварщики нередко оставляют огарок длиной в сто пятьдесят и даже двести миллиметров.

Комсомольцы объявили этому войну. Сварщикам стали выдавать новые электроды только после сдачи нормально использованных. В результате завод экономит сейчас по пять тысяч рублей каждый месяц.

Теперь комсомольцы добиваются, чтобы огарок электрода не превышал десяти миллиметров. Еще тысячи рублей добавочной экономии получит завод! Это тоже будет заслуга ребят из «Комсомольского прожектора».

Алексей — председатель штаба «КП». Каждую, пусть небольшую победу он оценивает не только рублями экономии. Его радует, что комсомольцы становятся рачительными хозяевами на заводе.

Тысячи рублей, сбереженные на электродах, возможно, кажутся копейками в бюджете огромного завода. Но представьте себе их воплощенными в новые детские сады или велосипеды, мячи, теннисные ракетки для школьников, а может быть, в новый дом отдыха... Так пусть же здравствует экономия, экономия во имя человека!

Работа во имя человека. Поэтому и ездит Алексей за девяносто километров через лес до испытательного полигона. Эта дорога уже стала привычной для конструкторов экспериментальной лаборатории.

Дороги трелевочного трактора нередко трудны и необычны, они идут через лесосеки в тайге, далеко от человеческого жилья. Поэтому особенно важно, чтобы снегоочиститель ведущей звездочки (деталь, которая в этих условиях особенно часто выходит из строя) в случае аварии трактористу было легко заменить. Над этим и работает конструктор Алексей Паньков.

Белые волны укатанных сугробов. Идет крупный снег. Очень хорошие условия для эксперимента. Трактор, вздрагивая от нетерпения, рванет через снежные сугробы, чтобы на высшем напряжении испытать маленькую, как будто второстепенную деталь — снегоочиститель ведущей звездочки.

...С результатами испытаний Алексей вернулся на завод. На созванном консилиуме была утверждена новая конструкция снегоочистителя. Задача тракториста в случае аварии будет значительно облегчена.

В каждую работу можно вложить свое отношение к людям. Творчество конструкторов так же, как работа врачей и педагогов, требует заботливого отношения к человеку, который будет пользоваться спроектированной вещью. Конструктору нужно учесть физические силы человека, обстановку, подумать о его времени и даже об эстетическом воспитании. И тогда маленькая вещь сможет рассказать много хорошего о своем творце.

Заканчивая дела со снегоочистителем, Алексей занимается кучей вопросов, возникших за день в штабе «КП», и только к вечеру выходит из заводских ворот.

Может быть, читатели спросят:

— Это обыкновенные сутки обыкновенного инженера.

Почему о нем пишут?

Да, это обыкновенный советский инженер. Сидя за пульманом, он помнит о людях, для которых работает. Он считает своим делом все дела своего завода. Во все неполадки, встречающиеся на его пути, он вникает для того, чтобы участвовать в их исправлении.

Было время, когда на завод нерегулярно поступали двигатели из Рыбинска. Завод лихорадило: то простои, то штурм. Дошло до того, что пятьсот пятьдесят дизельных тракторов не могли уйти с завода. Пятьсот пятьдесят машин, необходимых в сибирской тайге, в лесах Карелии, ждали комплекта.

Кажется, при чем здесь конструктор экспериментальной лаборатории Алексей Паньков? Но как председатель штаба «Комсомольского прожектора», Алексей вместе с товарищами написал об этом в «Правду». И помогло!

— Что ж тут особенного, все это совершенно естественно,— скажете вы.

И я с вами согласен.

Но ведь и коммунизм — это тоже естественное, нормальное состояние человечества, освобожденного от предрассудков предыдущих эпох, от угрозы войн и голода. Постоянное движение вперед, превращение труда из простого средства существования в радостную, творческую жизненную потребность — важнейшая черта коммунизма.

И естественно, то, что людей, именно так относящихся к делу, называют ударниками коммунистического труда.

Таких людей становится все больше и больше.

Всего три вечера провел я с участниками совещания, но у меня было ощущение, будто я вернулся из далекого путешествия, путешествия через годы и километры.



Традиционная выставка в редакции «Юности» на этот раз была посвящена работам молодых графиков Сибири и Дальнего Востока. Двадцать один художник представили на выставку свыше 40 гравюр, линогравюр, офортов.

←
А. Остроушко (Хабаровск).
Взлет.

Михаил РОЙТЕР

МОЛОДЫЕ ХУДОЖНИКИ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Сибирь.. Всего несколько десятилетий назад — огромный неведомый край тайги, звериных троп, неукрощенных могучих рек, неприступных горных хребтов и редких поселений. Сибирь сегодня — величайшие электростанции и промышленные комбинаты, новые города, гул и рев моторов, научные и культурные центры... Сибирь стала краем передовой техники, науки, культуры.

Мне хочется коротко рассказать о молодых художниках Сибири и Дальнего Востока. Речь пойдет о графиках различных творческих манер и дарований.

За последнее время техника эстампа в Москве, Ленинграде, Прибалтике, Грузии выросла прямо на глазах. Но вместе с тем отдельные молодые художники этих городов и республик увлекаются подчас чисто формальными поисками в натюрмортах или отвлеченных пейзажах.

В отличие от таких художников молодые графики Сибири и Дальнего Востока верно понимают значение эстампа. Совершенствуя с каждым годом свое мастерство, они отказываются от примитивного видения окружающего, как это было в прошлые годы, от протокольной передачи его в композиции. Их последние листы характерны своей идейной насыщенностью, образным решением, богатством цвета, интересным силуэтным решением. Темы своих произведений они находят непосредственно в окружающей их действительности — на стройках, участниками которых они являются, в совхозах и колхозах, где они живут и работают.

Александра Сахаровская (Улан-Удэ) родилась в далеком бурятском селении. После окончания Ленинградского института имени И. Е. Репина она вернулась в родной край, чтобы в своих гравюрах воспеть его. Много лет работала она над иллюстрациями к бурятскому эпосу «Гэсэр». А сейчас она готовит серию работ о современной Бурятии. Продуманно использует художница технику линогравюры для декоративных и плоскостных решений своих композиций. Ей удается сохранить красоту национального орнамента, органически связывая его с сюжетом. Умело применяя черно-белый цвет в его разнообразии, она добивается ощущения богато насыщенной цветовой гаммы. А. Сахаровская — художник яркого самобытного таланта.

На выставке в «Юности» представлены также работы двух молодых художников из далекой Якутии.

Один из них — Ефим Шапошников — работает учителем в далеком стойбище оленеводов Якутской АССР. На основе своих многолетних наблюдений он создал интересную серию линогравюр из жизни колхозников Севера.

Второй якутский художник — Л. Ниофитов — в своей работе «После дождя» великолепно передал национальный колорит родных мест.

Художник Николай Сальников из Красноярска много ездит по своему краю. Его цикл линогравюр «За Полярным кругом», рассказы-



Р. Берг (Кемерово). С рабочего поезда.

(Западносибирский металлургический комбинат).

местных графиков, где нашли свое отражение основные этапы грандиозной стройки. Значительная часть работ в этом альбоме принадлежит Сальникову и Шепелевичу. Альбом продавался в Дивногорске в день перекрытия, непосредственно на берегу реки. И несколько тысяч экземпляров его были моментально раскуплены на память покорителями Енисея.

Работы Вальтера Николаева из Новосибирска отличаются романтикой и поэтичностью. В них он стремится передать чувство воздуха, пространства, не утрачивая при этом цельности композиции.

Комсомольцы В. Туманов и Ю. Кабанов из Барнаула — соавторы. Их хорошо знают и любят на Алтае. Неразлучные друзья создали в прошлом году серию портретов лучших целинников края и цикл гравюр из совхозной жизни. Молодые художники хорошо освоили технику автолитографии с ее богатством белого цвета и легкостью карандашного тона. В серии эстампов «Рассказ о детях» они сумели передать оптимизм, темперамент и лукавство малышей. Сейчас художники готовятся вновь к длительной поездке по колхозам и совхозам края.

Кемеровский художник Р. Берг видит особенности пейзажа Западной Сибири в приподнятой монументальности. Интересен цветной лист молодого художника из Иркутска В. Пинигина «Красноярский затон». Он передает величие индустриального города. Прекрасно чувствует природу своего края Б. Лобас из Владивостока. Это хо-

вающий о людях Севера, проникнут глубоким чувством современности. Особенно выразительны листы «Каюр» и «Старый друг». В настоящее время Сальников работает над серией гравюр о жизни строителей Красноярской ГЭС.

Интересны работы Евгения Шепелевича. Этот молодой художник, живущий в новом городе Дивногорске со дня его основания, сам является строителем Красноярской ГЭС. Все свободное время посвящает Шепелевич любимому делу — офорту. Он как бы создает летопись великой стройки, в которую вложена немалая доля и его труда. Большие чувства и большие события переданы в его офортах «Перед штурмом Енисея» и «Красноярская ГЭС строится».

К торжественному дню перекрытия Енисея Красноярское издательство приготовило строителям приятный подарок — альбом пяти



Е. Шапошников (Якутск). Переход на новое пастбище.



А. Сахаровская (Улан-Удэ).

Бурятский эпос «ГЭСЭР». Народный праздник.

рошо заметно в его пейзаже «Золотой рог» и композиции «Утро». Л. Остроушко из Хабаровска много и давно работает над серией линогравюр из жизни летчиков. В листе «Взлет» своеобразно увидены атмосфера и настроение аэродрома утром.

Художник С. Васильев из Ангарска воспевает в гравюрах свой молодой город.

Работы, представленные на стендах «Юности», не претендуют на то, чтобы стать творческим отчетом всех художников Сибири и Дальнего Востока. Их число значительно больше. Мы лишь выбрали работы тех из них, кто за последнее время создал новые интересные произведения в графике.

Линогравюры, офорты, автолитографии молодых художников Сибири и Дальнего Востока, выставленные на стендах «Юности», привлекли внимание многих читателей нашего журнала, среди которых было немало писателей, художников и искусствоведов столицы. В дни выставки в коридорах редакции и конференц-зале всегда было людно. Посетители внимательно рассматривали работы сибиряков и дальневосточников, радуясь их творческим поискам и удачам.

Поэтому и обсуждение выставки, состоявшееся 5 июня с. г., было страстным и заинтересованным. В нем приняли участие и многие авторы выставленных работ, находившиеся в это время в Москве.

Приятной неожиданностью для москвичей было хорошее профессиональное мастерство молодых художников Сибири и Дальнего Востока, где до недавних пор искусству гравюры уделялось не так уж много внимания. Это отметил член редколлегии «Юности» художник **В. Н. Горяев**, открывая обсуждение выставки.

Главный художник издательства «Советский писатель» **К. М. Буров** в своем выступлении обратил внимание собравшихся на интересную особенность этой выставки: на ней представлены работы из таких новых советских городов Сибири, как Ангарск и Дивногорск. Они совсем недавно появились на карте нашей страны, а молодые художники уже талантливо воспели их в своих произведениях.

Чем привлекают работы молодых художников? Прежде всего своей искренностью, непосредственностью, многообразием тематики, вдумчивым отношением к форме. Отмечались и недостатки: эскизность, техническое несовершенство отдельных гравюр, некоторая композиционная скованность.

Много внимания молодым графикам Сибири и Дальнего Востока уделяет Союз художников РСФСР. В прошлом году в Красноярске был организован семинар графиков-сибиряков. Москвичи помогали им овладевать техникой эстампа. Многие сибиряки были направлены в Дома творчества для совершенствования своего мастерства.

К сожалению, центральные газеты и журналы до сих пор уделяют недостаточное внимание их жизни и работе. Об этом говорили и иркутский художник **Н. Протасов**, и барнаулец **Ю. Кабанов**, и другие. Они отмечали, что в Сибири и на Дальнем Востоке много молодых энтузиастов, ищущих и талантливых художников, которые, живя вдали от Москвы и Ленинграда, делают большое и нужное дело. Но художники-графики Сибири и Востока подчас испытывают трудности в работе из-за того, что они разбросаны малочисленными группами в различных городах и у них нет возможности совместно обсуждать свои произведения, делиться опытом и устраивать тематические выставки.

Если бы Союз художников РСФСР создал секцию графиков Сибири и Дальнего Востока, это положительно сказалось бы на работе молодых талантливых художников.

В обсуждении выставки приняли участие тт. **Рогожнев (Тюмень), М. Ройтер (Москва), Ю. Цишевский (Москва)** и другие.

Ярослав ГОЛОВАНОВ



Бегущие по волнам

Рисунки И. Оффенгендена.

Научные и технические прогнозы — штука неточная. Не так давно мне показали цветные почтовые открытки, изданные в конце прошлого века. Художник пытался изобразить на них 2000-й год. Широкие площади городов были заполнены народом. По улице катили золоченые автомобили, напоминающие пролетки. Улыбающиеся мужчины с аккуратно подстриженными бородками, белокурые, затянутые в корсеты дамы радостно улыбались в окружении взволнованных путешествием детей и лохматых собачек. Над домами, построенными, кстати сказать, с большими архитектурными излишествами, плыли гигантские воздушные шары и летели самолеты. Самолеты тоже были очень большие и очень странные: самолеты в стиле рококо.

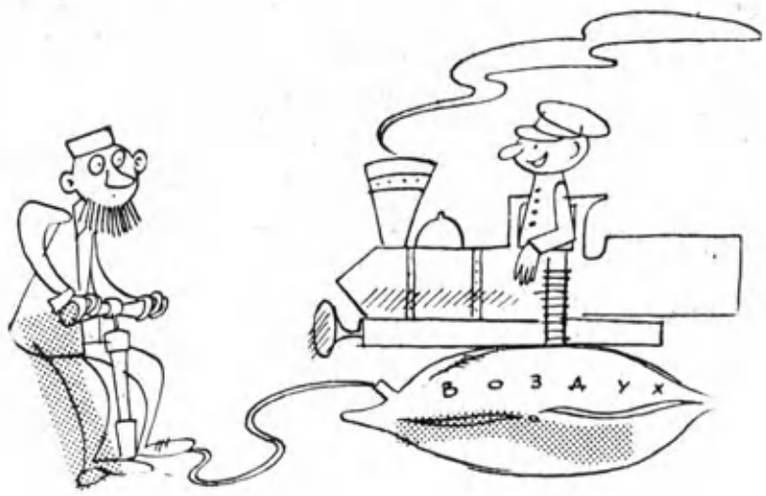
Вполне возможно, что в XXI веке и будет мода на бороды. Но что касается транспортных средств, тут художник просчитался: золоченые «автопролетки» не только до 2000 года, но и до 1930-го не дожили.

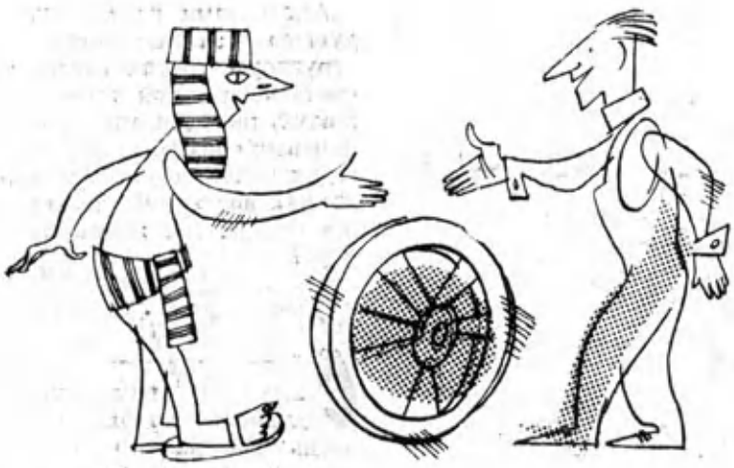
Каким же будет транспорт конца XX и начала XXI века?

Человеческая фантазия все-таки очень ограниченна; она почти не выходит за рамки уже известного. Попробуйте, например, придумать фантастическое чудовище, населяющее другую планету. У вас обязательно получится гибрид, составленный из деталей, позаимствованных у известных вам животных. Родится «нечто» с телом свиньи, головой лебедя, лапами тигра, крыльями майского жука и хвостом ящерицы. Фантазия — это, как правило, изменение реально существующих масштабов и соотношений. Поэтому, когда мы напрягаем нашу фантазию, стараясь представить себе транспорт будущего, мы тоже исходим из уже известного. Вполне может случиться, что завтра будет открыт и получит широкое распространение некий совершенно новый принцип устройства транспортных средств, который перечеркнет все наши аргументированные прогнозы. Впрочем, уже сегодня мы являемся свидетелями прогресса принципиально нового вида транспорта.

☆

В истории науки найдется не так много ученых, которые смелостью своих идей могут соперничать с Константином Эдуардовичем Циолковским. Его роль в становлении космонавтики ныне хорошо известна. Фундаментальные теоретические работы в этой области (например, формула движения ракеты) сочетались у него с инженерными решениями гениальной прозорливости (например, схема многоступенчатой ракеты). Однако далеко не все знают об





одной идее, которую Циолковский подарил человечеству,— этой идее принадлежит большое будущее уже не в космосе, а на земле.

В середине двадцатых годов К. Э. Циолковский выпустил книгу, которая называлась «Сопротивление воздуха и скорый поезд». Константин Эдуардович писал:

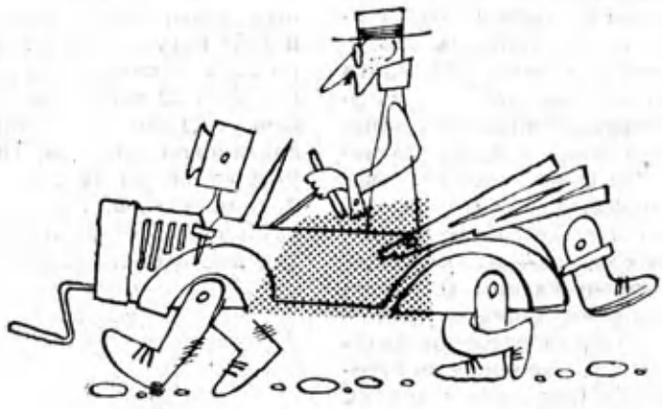
«Трение поезда почти уничтожается избытком давления воздуха между полом вагона и плотно прилегающим к нему железнодорожным полотном. Необходима работа для накачивания воздуха, который непрерывно утекает по краям щели между вагоном и путем. Она невелика, между тем как подъемная сила поезда может быть громадной... Не нужно, конечно, колес и смазки. Тяга поддерживается задним давлением вырывающегося из отверстия вагона воздуха...»

В этих словах зерно подлинной транспортной революции.

Гениальное изобретение глубокой древности — колесо — эксплуатировалось человечеством многие тысячелетия. Все виды наземного транспорта — от колесниц египетских фараонов до легковых автомобилей последних марок — движутся благодаря колесу.

Были попытки отказаться от колеса. Английский инженер Брентон изобрел «ногатый автомобиль». Этому изобретению вместе с весельным пароходом американского часовщика Фича и «рукастой» швейной машиной французского портного Тимонье суждено было пополнить копилку технических курьезов. Бессмертное колесо безраздельно царствовало на земле. И вот Циолковский предложил нечто совершенно невиданное, качественно отличное от всего существующего: бесколесный наземный транспорт.

Гений Циолковского обгонял свою эпоху. Так случилось и с этим его предложением: поезд на воздушных струях построен не был. Но семена были брошены, и они проросли. В Новочеркасске, в одной из лабораторий Технологического института, профессор В. И. Левков начал разрабатывать различные схемы вездеходов на «воздушной подушке». Несколько лет спустя он построил первый такой аппарат, который успешно испытывался над пашней, снегом, песком. Несмотря на это, новый тип транспортного средства не был признан и оценен по достоинству. Технический уровень тех лет не мог еще обеспечить экономических показателей, которые позволили бы новому виду транспорта конкурировать с колесом. Но в разных странах мира энтузиасты продолжали совершенствовать аппараты

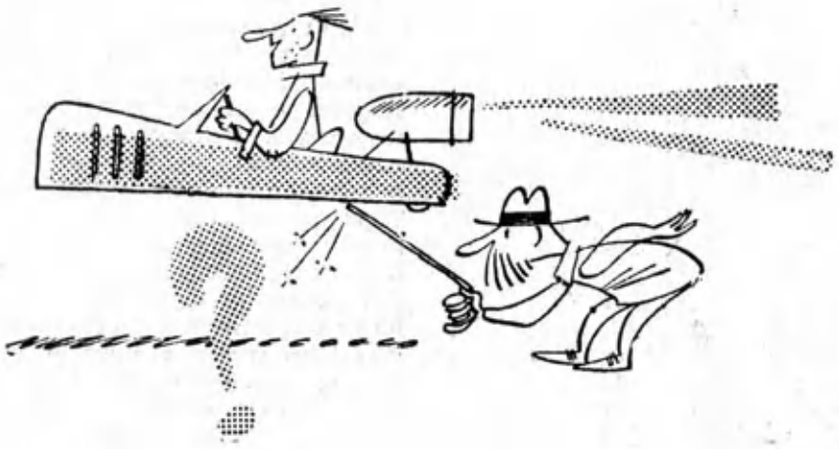


нового типа. Наибольших успехов добились инженеры Советского Союза, Соединенных Штатов и Англии.

В 1955 году в Хлебникове, под Москвой, полетел автомобиль Геннадия Туркина. Двадцатилетний студент Нефтяного института превратил свою квартиру в научно-исследовательскую лабораторию. Он даже соорудил дома испытательный бассейн с низкими стенками, в котором делала первые «шаги» четырехкилограммовая модель автомобиля. Уже на первых испытаниях она поднимала 12—16 килограммов груза. Вместе с друзьями— Сергеем Демушкиным и Павлом Морозовым — Геннадий построил машину в натуральную величину. Первые опытные пуски выявили недостатки конструкции: гнулись валы, которые передавали вращение от двигателей к вентиляторам. Туркин решил обойтись вовсе без валов: перенести двигатели прямо к вентиляторам. И вот свершилось долгожданное: однажды на берегу Клязьминского водохранилища автомобиль повис в воздухе и пошел вперед. Геннадию этого было мало. Тотчас, сию же минуту, он хотел испытать автомобиль над водой. Но едва машина сошла с илистого берега, один мотор заглох. Расстроенный изобретатель вылез из автомобиля. Он сделал несколько шагов и упал мертвым: больное сердце не выдержало нервного напряжения.

Из рук Туркина эстафету подхватили другие изобретатели. Вездеход А. Мельникова, В. Меньшова, И. Скрипченко шел уже не только над ровной землей и водной поверхностью, но и над рыхлым снегом, грязью, кочками. На Горьковском автозаводе конструктор А. А. Смолин построил свой воздушный вездеход, кандидат технических наук В. Н. Кажохин — свой. В Ленинграде конструктор Владимир Афанасьевич Липинский разработал проект «Невы». Не так давно «Нева» спущена на воду. Впрочем, почему на воду? «Нева» может преодолевать лесосплав, может «выходить из берегов». Этот вездеход только начинает свою жизнь, а его создатель уже думает о новой машине, которая будет вмещать около 120 пассажиров(!).

От ленинградцев стараются не отстать сормовичи. В сентябре 1962 года первый полет над Волгой совершила «Радуга» — пятиместный катер на «воздушной подушке», созданный коллективом конструкторов под руководством В. Р. Шенберга. Главный конструк-



тор завода «Красное Сормово» А. А. Животовский рассказывал во время испытаний этого судна, что ведутся работы по созданию сорокаместного катера подобного типа.

В 1957 году начались испытания летающего автомобиля в США. Они разочаровали конструкторов: машина отлично двигалась по гладкому полу, но уже спичка была для нее непреодолимым препятствием — слишком малым оказался воздушный зазор. Но работы продолжались. Очень скоро они заинтересовали Пентагон. В январе 1962 года английская газета «Файнэншл Таймс» и журнал «Нью Сапентуст» опубликовали серию статей, посвященных разработке транспортных средств на «воздушной подушке». В одной из этих статей можно было прочесть любопытное признание: «В США почти все работы в области ховеркрафтов (так англичане называют аппараты нового типа.— Я. Г.) проводятся по заказам военных ведомств... Проектируются и строятся ховеркрафты для самых различных военных целей — одноместные и более крупные катеры для переправы через реки, морские десантные суда, суда для разведывательной службы, для военных перевозок и снабжения действующих частей снаряжением и боеприпасами. Считают, что можно создать бронированные машины на «воздушной подушке», включая танки».

За океаном, как видите, развитие нового дела шло, мягко говоря, несколько однобоко: автомобили на «воздушной подушке» спешно призывались в армию и облачались в военную форму.

Одна из американских фирм рекламировала постройку океанского судна на «воздушной подушке» с ядерной силовой установкой, которое будет способно развивать скорость в 100 узлов. Но реклама остается рекламой. Тем более, реклама американская. Англичане отнеслись к этим широковещательным заявлениям, подобно коту из крыловской басни, который, как известно, «слушает, да ест».

Пока американский автомобиль штурмовал спичку на полу, английский конструктор Кокерель создал машину, которая несколько раз пересекла Ла-Манш. Кокерель установил на ней авиационный мотор мощностью в 435 лошадиных сил и довел скорость до 60 километров в час.

За первым опытом последовали другие. К работам подключались все новые и новые фирмы, было проведено много теоретических расчетов, позволяющих установить закономерности изменения различных параметров новой машины. В 1959 году на выставке в Фарнборо английский ховеркрафт перевозил уже 20 пассажиров. Недавно в печати появился снимок новой английской машины. Она вмещает уже от 56 до 76 пассажиров или 8 тонн грузов. Несколько машин различной конструкции создано для исследовательских целей.

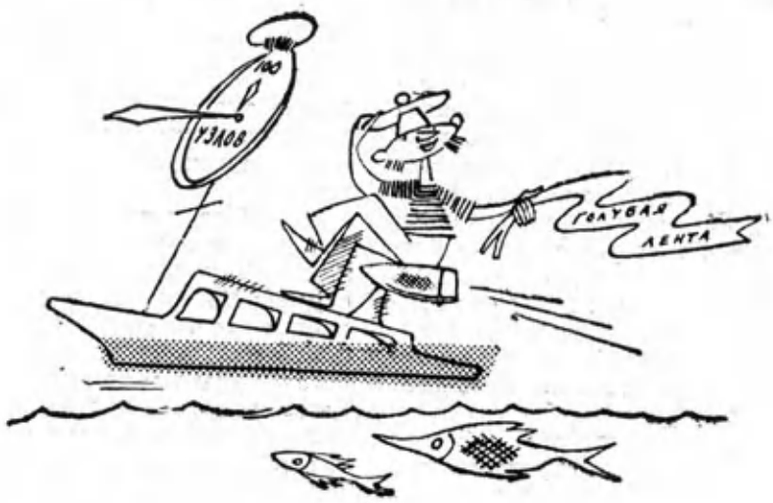
Аппаратами на «воздушной подушке» заинтересовались конструкторы других стран. Если не считать ракетной техники, то, пожалуй, ни один другой вид транспортных средств не переживает сегодня такого стремительного взлета, как воздушные вездеходы. Что же можем мы ждать от них завтра?

☼

Сейчас существуют два основных типа аппаратов на «воздушной подушке». Кстати, очень это длинно и нескладно: «аппарат на «воздушной подушке». Давайте для краткости называть эту штуку сокращенно «авопод». Так вот, существуют два основных типа авоподов: сопловой и камерный.

Еще Геннадий Туркин утверждал, что машина должна работать так, чтобы «воздушная подушка» растекалась как можно меньше. По его идее, сжатый воздух подавался в узкую кольцевую щель большого диаметра. Невидимые стенки из воздушных струй запирали воздух, находящийся внутри. И вот на эту-то «запертую» воздушную колонну и приходится основная нагрузка. Три-четыре таких столба в разных местах днища авопода—и машина становится такой же устойчивой, как будто она опирается на добрые старые колеса. Такая схема называется сопловой. По ней работали машины Туркина и Кокерель, ховеркрафты английской фирмы «Уильям Денни энд бразерс», сормовская «Радуга», недавно испытанный «Вихрь».

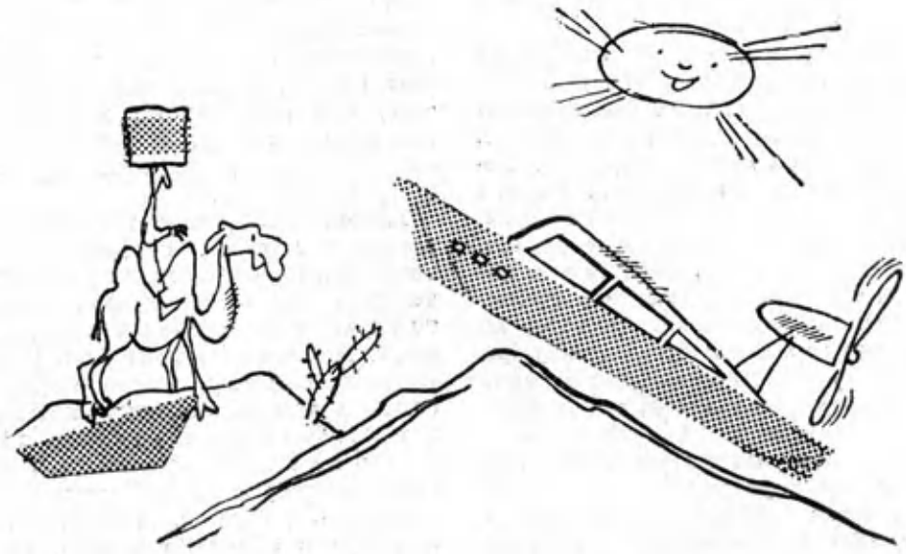
Камерная схема в вульгарном упрощении — это перевернутое корыто, в которое подается воздух. Как только давление внутри станет больше, чем снаружи, возник-



нет подъемная сила, которая поднимет корыто в воздух. По этой схеме работал авопод профессора В. И. Левкова, работают «Нева» и многие зарубежные модели.

Естественно, возникает вопрос: а какая же схема лучше? И столь же естественно напрашивается ответ: раз строят и так и этак, значит, и та и другая имеют свои преимущества. Не будем предугадывать, какая схема наконец восторжествует. Очень может быть, не камерная и не сопловая, а какой-то их гибрид или не гибрид, а нечто принципиально новое.

Авопод — ребенок. Очень трудно точно предсказать будущее ребенка. Не будем заниматься астрологией. Отложим в сторону звездный атлас, возьмем логарифмическую линейку и пузатые технические справочники.



✲

Экономичность того или иного вида транспорта зависит от соотношения между полезным и полным весом. Для пассажирских судов обычного типа эта полезная нагрузка составляет лишь 5 процентов полного веса корабля, для самолетов — от 15 до 20 процентов, для легковых машин — от 20 и выше. Полезная нагрузка авопод может достигать 40—50 процентов!

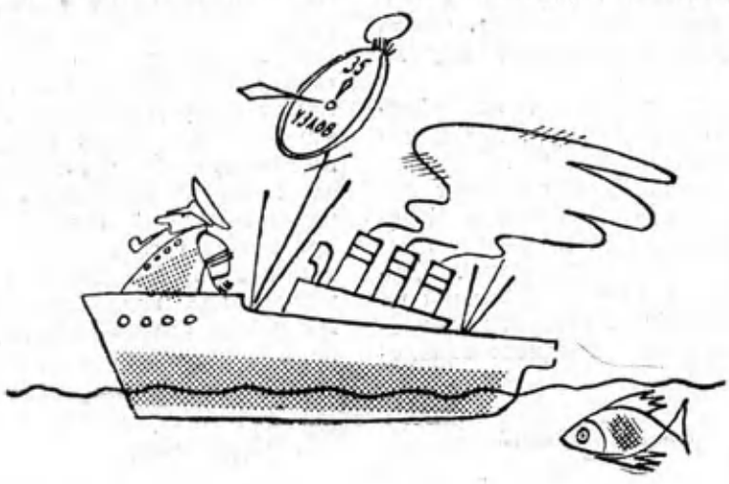
Расчеты английских специалистов показывают, что по мере увеличения размеров ховеркрафтов до полного веса в тысячу тонн прямые эксплуатационные расходы сокращаются.

Вряд ли обычные корабли смогут выстоять в борьбе со столь сильным противником. Один ховеркрафт весом в тысячу тонн сможет взять на борт 4—5 тысяч пассажиров. Работая, например, на трассе Франция—Англия, он смог бы заменить 10 обычных судов. Получается, что пассажирский ховеркрафт весом 100 тонн за день перевезет через пролив Ла-Манш столько же людей, сколько корабль водоизмещением в 4 тысячи тонн.

Убедительные цифры в пользу авопода!

А скорость? Уже сегодня авоподы-«дети» перегоняют обычные, «взрослые» суда. Наивыгоднейшей и, безусловно, достижимой для них скоростью будет 70—100 узлов. Существует приз «Голубая лента Атлантики», который дается кораблю, показавшему рекордное время на линии между Старым и Новым светом. Так вот сейчас «Голубая лента» — у американского лайнера «Юнайтед стейтс». Его рекорд скорости — 35,59 узла. 35 и 100! 100 узлов — это значит: от Алушты до Гурзуфа за 6 минут, из Европы в Америку — почти за сутки.

Правда, до сих пор серьезным препятствием для автоподов остаются волны. Чтобы держать корабль над волной, нужна очень высокая «воздушная подушка», на создание которой требуются большие мощности. Но ведь можно соединить авопод с другим замечательным изобретением, рожденным в нашей стране,— судном на подводных крыльях. «Воздушная подушка» разгрузит подводные крылья, позволит кораблю двигаться с невиданной на воде скоростью — до 150—200 узлов. Работы по созданию таких «гибридных новинок» уже ведутся.



Но как вы заметили, мы в своих подсчетах совсем забыли, что наш авопод — это вездеход, и говорили о нем как об одном из видов морского транспорта. Это верно. Еще вероятнее, что авопод будет безраздельно царствовать на реках. Ведь ему не страшны мели и перекаты. Даже ручей для него — отличная автострада. Взгляните на карту рек нашей страны. Густая голубая паутина. Триста тысяч речек, многие из которых и названия не имеют. Транспортники давно поставили на них крест: мелко. Рыбаки от них отвернулись: весь промысел—раки да пескари. Энергетикам они не нужны: мала мощность потока. Дорожникам они мешают: вся речка дешевле моста через нее. Оказывается, природа ждала авоподы. Это для них она проложила сотни тысяч километров голубых дорог, связала отдаленнейшие пункты, к которым не дотянулись рельсы и асфальт. Именно по этим дорогам легче всего добраться до сокровеннейших уголков сибирской тайги, джунглей бассейнов Конго и Амазонки — до этих последних «белых пятен», пятнышек, точек планеты.

Там, где это необходимо, авоподы выйдут на берег. Пустыни, степи, тундры, ледяные поля—это тоже их стихия. Авопод может оказаться удобнейшим видом пере-

движения по зыбучим пескам или болотистой тундре.

Трудно представить авопод на наших сегодняшних дорогах. Вернее, не трудно, а непривычно. Но ведь когда-то экипаж без лошадей тоже «резал глаз». «Воздушная подушка» низкого давления сможет уменьшить запыление воздуха. Это все уже технические детали. Не о них речь. Важно главное: новый вид транспорта может применяться и в городах. (Кстати, не только город влияет на транспорт, но и транспорт оказывает влияние на город. Было время, когда никаких тротуаров не существовало. Тротуар — ультиматум транспорта жителям городов.)

Можно наконец вернуться к идее Циолковского: вагон, висящий над рельсами. В США фирма «Форд мотор компани» разработала так называемый проект «Левакар». Левакар — это вагон с плитами вместо колес. Через плиты предполагается нагнетать воздух, который создает тончайшую «воздушную подушку» толщиной всего в 0,38—0,76 миллиметра. Подсчитано, что такой вагон весом около 12 тонн сможет развить скорость до 640 километров в час. Ко всему сказанному надо добавить, что конструкция авопода проще в сравнении с другими транспортными средствами, что авопод сбережет нам тысячу тонн каучука, «пожираемого» автомобилями.

Но вернемся к будущему транспорта. Ведь именно эта тема заинтересовала нас, когда мы рассматривали старые открытки. Давайте подведем итоги.

Итак, на море возможны надводные и подводные суда. Подводные избавлены от неприятностей качки, но, бесспорно, проигрывают надводным в комфортабельности. Вода и через 1000 лет будет плотнее воздуха, а значит, скорость движения подводных судов всегда будет отставать от скорости движения надводных. О преимуществах авоподов и «гибридов» — крылатых авоподов—перед известными сегодня типами надводных судов мы уже говорили. На море будущее принадлежит им. На реках — и подавно.

На суше сейчас царствуют поезда и автомобили. Уже первая попытка американцев воплотить в жизнь на современном техническом уровне идею К. Э. Циолковского — вагон на воздушных струях — позволяет делать достаточно оптимистические прогнозы. Во всяком случае, есть основания считать, что специальные конструкции авоподов могут оказаться серьезным конкурентом железнодорожному транспорту.

Автомобиль примерно за восемьдесять лет своей стремительной эволюции приобрел массу положительных качеств: скорость, простоту управления, экономичность, комфорт. И все-таки автомобиль уже подошел к своему потолку. Судите сами. Увеличивать скорость нельзя: мешает физиология человека, водитель не успевает реагировать на внешние раздражители, не может управлять машиной. Увеличивать комфорт в общем-то некуда. Конечно, можно установить в автомобиле кинопроектор, установку для кондиционирования воздуха или бактерицидные лампы, убивающие микробов. Можно, но вряд ли нужно. Увеличить экономичность трудно. Бензиновый двигатель, как говорят инженеры, «обсосан» со всех сторон. Газовая турбина выигрыша не дает, особенно на малых скоростях. Атомный двигатель построить очень нелегко: требуется тяжелая биологическая защита от жестоких излучений реактора. Представитель компании «Форд» (той самой, которая проектирует «Левакар») заявил однажды в газете «Нью-Йорк таймс», что «сейчас постройка автомобиля с атомным двигателем невозможна». По его мнению, лишь новые достижения в металлургии и других отраслях техники могут обеспечить создание такого автомобиля. Но ведь эти же достижения могут помочь не только конструкторам атомных автомобилей, но и создателям других видов сухопутного транспорта. Допустим, однако, что атомный или некий другой совершенный автомобиль существует. Даже в этом случае на «долю» нашего авопода остаются бездорожье, распутица, гололед. Очень много работы предстоит ему на суше.

Наконец, транспорт атмосферный и заатмосферный. Ясно, что до Луны на «воздушной подушке» не добраться. Ракеты свяжут между собой небесные тела, самолеты (а быть может, и крылатые ракеты) — континенты земли. Думается, что для путешествий на расстояния более тысячи километров лучше быстроходного самолета ничего не придумаешь. В горах, в лесу, в городе самолету тесно. Тут ему на выручку приходит вертолет. За последние годы вертолеты завоевали большую популярность. Это действительно замечательная машина, и нет нужды рассказывать обо всех ее достоинствах. Совершенно ясно, что вертолетам принадлежит большое будущее. Воздушные такси-вертолеты уже существуют. Их сеть будет расширяться с каждым днем. Но вряд ли вертолетный транспорт способен заменить в городе весь наземный. Индивидуальный вертолет? А не тесно ли будет тогда в небе?

В своей книге «Предвидимое будущее» известный английский физик лауреат Нобелевской премии Джордж Томсон пишет по этому поводу: «Мы можем не учитывать в этом плане частные вертолеты, как сколько-нибудь серьезный выход из положения; водить их, по крайней мере в отдельные дни, будет нелегким делом. Даже с соблюдением всевозможных мер предосторожности риск столкновения при большом движении должен быть значительным; и даже если этот риск не стал бы превышать опасность, связанную с передвижением по нашим дорогам, последствия самого легкого столкновения, особенно при посадке или взлете, должны быть слишком серьезны. Полет—малоподходящее занятие для возвращающегося с работы усталого человека».

Конечно, в будущем изменится и сам облик наших городов. Они станут просторнее, свободная планировка уменьшит опасности, связанные с проблемой индивидуального вертолета, но в словах Д. Томсона все-таки много оправданной тревоги.

И вот итог: ракета, самолет, вертолет, авопод, может быть, автомобиль — это транспорт будущего. Уверен, найдется много желающих опровергнуть такой вывод, упрекнуть автора этих строк в чрезмерной симпатии к аппаратам на «воздушной подушке». Не знаю, может быть, я ошибаюсь. Я понимаю, что это очень субъективно, но почему-то, думая о путешествиях, которые придется совершить через много-много лет, я всегда представляю себе белый стремительный корабль, легко, свободно, весело, как неуловимая мечта в волшебной сказке Александра Грина, бегущий по волнам.



Заметки и корреспонденции

ТЕЗКИ ОСТРОВА СВОБОДЫ

Фото авторов.

Недавно среди почты из революционной Кубы встретились конверты с необычным адресом: «СССР, Куба...»

Оказалось, что в Советском Союзе есть тезки острова Свободы: в Азербайджане, в Кабардино-Балкарской АССР и в Пермской области.

У ОТРОГОВ ГЛАВНОГО КАВКАЗСКОГО ХРЕБТА

Красота и неповторимость азербайджанской Кубы покоряет как-то сразу и навсегда. Представьте себе море цветущих садов, тянущихся на десятки километров. Шоссе, ведущее от станции Хачмас до города Куба, прячется в коридоре пирамидальных тополей. От этого безоблачное утреннее небо кажется еще выше.

...Мелькают сады, белые стены одноэтажных домов, общественные постройки. Над садами, почти задевая вершины, проносится неутомимый «АНТ-2». Желто-голубой самолет выпускает два бесконечных султана дыма, ведя химическую обработку садов. Чуть поодаль «замер» на небольшой высоте вертолет.

— Производит опыление.— Шофер нашего «газика» чуть ли не до пояса высовывается из кабины.— Авиация на службе садоводов. Пчелы не справляются, ветра совсем нет. Вот и нужно создать искусственное движение воздуха.

Проехав еще немного, водитель резко тормозит.

— Плодоовощной совхоз № 12. Крупнейший в республике — две тысячи гектаров садов. Здесь, неподалеку, живет наш «дважды кубинец» Сабир Мамедов.

— Как это «дважды кубинец»?



«Дважды кубинец» Сабир Мамедов.

— Сабир недавно вернулся с острова Свободы, где около года работал в одном из кооперативов.

...На центральной усадьбе совхоза в моторе трактора копается приземистый смуглый парень. Это и есть Сабир Мамедов.

Как следует познакомиться с ним мы не успели. Послышался шум мотора: на усадьбе появился автобус с национальным флажком Кубинской Республики. К трактору подошли смуглые парни со значком, изображающим Фиделя Кастро.

— Буэнос диас, камарадос!— обрадовался Сабир. Он поздоровался и стал искать знакомых из провинции Пинар-дель-Рио, где еще совсем недавно он жил и работал в кооперативе «Лас Вегас». Все пятеро гостей, приехавших в советскую Кубу из Сумгаита, оказались «земляками». Инженер Сесар де ла Торре, диспетчер Альдо Техейро, машинисты Мигель Вера и Посьено Диаз, электрик Орландо Геррero. Встреча с посланцами острова Свободы перенесла Сабира вновь к далеким друзьям, напомнила ему о недавнем прошлом.

☆

Два года назад в ЦК комсомола Азербайджана сказали Мамедову, что Кубинской Республике нужны квалифицированные механизаторы.

Он недолго раздумывал, двадцатичетырехлетний Сабир Мамедов, командир танка в недавнем прошлом, выпускник училища механизации, поднимавший целину в павлодарском совхозе «Джамбул». Он лишь поинтересовался: когда отъезд, где можно купить «Географию Кубы» и русско-испанский разговорник?

...Красавица Гавана встречала советских ребят, как братьев.

— Вива русо! Вива СССР! — кричали парни с традиционными бородами и с автоматами, без которых трудно было обходиться молодым кубинцам в 1961 году.

Кооператив «Лас Вегас» занимает три тысячи гектаров земли. Здесь и сахарный тростник и посевы риса, проса, овощей. Много птицы, скота и совсем мало технически обученных специалистов. Ремонтные мастерские кооператива, где Сабир стал работать механиком, обслуживали разнокалиберное хозяйство: румынские тракторы, и наши «ДТ-54», и американские машины. Рядом с ними — шведские насосы, рисоуборочные комбайны, японские дисковые плуги и другие агрегаты, представленные самыми различными фирмами.

Мамедов постепенно разобрался в особенностях трактора каждой марки и вместе с инженером Константином Авериным помог начальнику мастерских Рикардо разработать график ремонта техники. Вместе с ними допоздна задерживались в мастерских кубинцы Оскар, Хозе и Мигель Аморо, Луис, Карба, Педро, Вералъдо, Алехандро, Себастиано. Именно они и стали первыми из пятнадцати трактористов, подготовленных Мамедовым за время командировки на Кубу.

☆

Однажды во время страды, накануне выходного дня, Сабир встретил озабоченного Оскара — председателя кооператива.

— Скажи, Сабир, что у вас предпринимают, когда не хватает

рабочих рук, а урожай не ждет?

— В этом случае мы объявляем воскресник и идем на работу с музыкой и песнями.

...На несколько километров протянулись заросли каньи — сахарного тростника. Канья — основная культура Кубы. С широким ножом в руках—его здесь называют мачете — Сабир занял место рядом с Хозе и Мигелем Аморо.

К обеденному перерыву по цепочке рабочих пробежала радостная весть. На плантацию приехали Фидель Кастро, президент республики Освальдо Дортикос, директор Национального института аграрной реформы Карлос Рафаэль Родригос.

Сабир впервые так близко видел Фиделя Кастро. Премьер-министр был в традиционной своей одежде. Защитная рубаха распахнута на могучей груди. Узкие брюки заправлены в высокие, до половины зашнурованные сапоги. На плечи накинута широкая, короткая куртка на «молнии», с погонами, на которых выделяются черно-красный ромб и белая звезда.



Фото Фиделя Кастро на воскреснике сделал Сабир Мамедов.

Фидель сбросил куртку и рубаху, снял с левой руки часы и компас. Он выбрал себе мачете потяжелее, надел рукавицы и вместе со спутниками присоединился к крестьянам. Как был доволен Сабир, что захватил с собой старенький «ФЭД»!

...Незаметно подошло время расставания с Кубой.

За несколько часов до отплытия на родину Сабир Мамедов и его земляк Кадым Кадымов встретили на маликоне—каменной набережной Гаваны — агронома из имения «Сан-Рамон» Хуана Альвареса Эрнандеса, ветерана борьбы за освобождение Кубы.

— А знаете ли вы, ребята, что вот это дерево,— кивнул он рукой на массивную гуапяву,— «дерево Ильича»?—И, не дожидаясь ответа, пояснил: — В день смерти В. И. Ленина, 21 января 1924 года, сюда, на маликон, пришла группа рабочих и студентов, чтобы посадить памятное дерево в честь вождя международного пролетариата: гуапяву — долговечное дерево. Оно прижилось, набрало сил, стало уверенно подниматься вверх.

К нему, к «дереву Ильича», мы собирались на сходки, делились вестями из СССР, разрабатывали планы борьбы с засильем монополий.

Когда в 1934 году к власти на Кубе пришел Батиста, он приказал уничтожить это дерево, а заодно вырубить все деревья на прилегающих улицах. Целый арсенал пил и топоров затупили подручные диктатора, пока не срубили гуапяву, посаженную в память о Владимире Ильиче.

По призыву коммунистов рабочие Гаваны провели тайные посадки вечных деревьев. И хотя мы их не называли вслух «гуапявами Ильича», не собирались на сходки и митинги, но знали: память о Ленине так же крепка, как железное дерево.

Сейчас в Гаване растут целые аллеи ленинских деревьев. Они неколебимы, как неколебима наша верность марксизму-ленинизму, дорогие друзья, сказал Хуан на прощание.

*

В кооперативе «Лас Вегас» Сабир был посланцем советской Кубы. Здесь, в Азербайджане, он хозяин. Вот почему Мамедову, как и всем его землякам, захотелось ответить друзьям с острова Свободы настоящим гостеприимством, показать все, что дорого сердцу каждого азербайджанского садовода. И Сабир пригласил Сесара де ла Торре и его спутников в краеведческий музей, кстати, работающий на общественных началах. Здесь хранится пожелтевший номер «Правды» за 5 января 1921 года. На четвертой странице газеты напечатана небольшая статья «Кубинские настроения», подписанная управделами Совнаркома Николаем Петровичем Горбуновым. В ней рассказывается о двух яблоках, преподнесенных Ленину делегатом VII Всероссийского съезда Советов от кубинского уездного ревкома.

«...Представитель беспартийного союза товарищей (так назывались раньше потребительские союзы) Кубинского уезда Бакинской губернии т. Мурза Баба-Таиров,—писал Н. П. Горбунов,—передал эти два яблока в подарок тов. Ленину от беспартийных крестьян и попросил рассказать тов. Ленину, что яблоки эти не являются простыми только яблоками, а выражают собой мечты крестьян Кубинского уезда о свободе Востока, душа которых с любовью несется к вождям революции, указавшим дорогу к освобождению Востока, по которой мусульмане пойдут до самой своей смерти».

По предложению В. И. Ленина трудящимся Кубинского уезда была подарена печатная типографская машина

22 апреля 1921 года здесь начала издаваться первая в Азербайджане районная газета.

Попробовали яблоки под названием «сарытурш», «джир-гаджи», «розмарин», «ренет шампанский» и гости с острова Свободы... Но все сорта отведать они были не в силах: ведь в садах советской Кубы культивируется до трехсот разновидностей плодов! Как людей, связанных с техникой, кубин-

ских гостей интересовал машинно-тракторный парк производственного управления.

...В колхозах и совхозах азербайджанской Кубы часто бывают посланцы молодой республики. Много полезного увезли с собой на родину агрономы Орестес Кессадо, Хозе Оскай, Хозе Вилла, Оскар Сантано. И самое главное — чувство большой дружбы двух народов. Символом этой дружбы являются и пятнадцать трактористов кооператива «Лас Вегас», которым дал путевку к штурвалу Сабир Мамедов. Символом ее является и фотовыставка «Остров Свободы», национальный флаг революционной Кубы и устав Союза молодых коммунистов, подаренные азербайджанским комсомольцам одной из кубинских делегаций.

НА ЗЕМЛЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

От Кубы азербайджанской до Кубы в Кабардино-Балкарской АССР сравнительно недалеко— каких-нибудь семьсот километров. Но добраться сюда можно лишь за сутки, воспользовавшись дважды услугами автобуса и поездом от станции Хачмас до города Прохладный.

С первых шагов нас ожидала удача. В кабинете председателя колхоза «Куба» собрался весь командный состав артели: агроном Амдул Есеноков, главный механик Хусейн Мидов, бригадиры, звеньевые, заведующие фермами горячо обсуждали виды на предстоящий урожай. Нам, собственно, оставалось только слушать и записывать.

Вот они, новые рубежи кабардино-балкарских кубинцев, которых они решили достичь в ответ на патриотический призыв усть-лабинских хлеборобов: производство зерна в 1963 году будет увеличено до 80 тысяч центнеров, продажа подсолнечника достигнет 9 тысяч центнеров, а овощей — 14 тысяч. От каждой коровы будет надоено по 2 300 килограммов молока...

Свое знакомство с жизнью горцев мы начали с молочнотоварной фермы, где много лет трудится доярка Герой Социалистического Труда Салима Паштова. У Салимы удивительно молодые, добрые черные глаза и отличное настроение. Она рада за Раю Щукову, 24-летнюю комсомолку, депутата Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР, только что вернувшуюся с первой сессии.

— Хорошо выступила, доченька,— похвалила Салима свою лучшую ученицу.— Говорила, что есть на сердце...

У Раи Щуковой пятнадцать коров. Они отлично знают свою хозяйку и отвечают доброй привязанностью на ее заботу. Самая любимая из этой семьи — Лена, дающая 18 килограммов молока в сутки. Ее рекорд пытаются превысить Роза, Боца, Майя.

— Только выделять их я не хочу,— смеется девушка,— чтобы не зазнались. А скоро моих коров переведут на машинное доение. У нас смонтированы в доильном корпусе две «елочки» и ожидается третья.

...Мы уже собирались покинуть ферму, когда на коне подъехал ее заведующий Оли Небежев.

— Весточка от наших тезок с острова Свободы! — И он показал дояркам номер «Правды» с сообщением о визите в Советский Союз Премьер-Министра Революционного правительства Кубы Фиделя Кастро. Немного погодя в красном уголке состоялась коллективная читка свежего номера журнала «Новости из Кубы».

Чем больше длилось наше знакомство с жизнью артели, тем явственнее чувствовалось, что наши кубинцы хорошо знают о делах на острове Свободы.

У колхозников «Кубы» есть друзья на острове Свободы, в кооперативе «Лас Вегас». Недавно в их адрес ушла посылка семян огурцов, лука и кукурузы «Краснодарская 1-49». К посылке приложено письмо:

«Дорогие друзья! Вы спрашиваете, что представляет собой наш колхоз и какие перемены произошли в нем за последние годы. Об этом лучше всего говорить языком цифр. Земли у нас семь с половиной тысяч гектаров. Из них пять тысяч отведено под пашню. Мы сеем пшеницу, ячмень, рожь и просо, горох, подсолнух и, конечно, кукурузу на зерно и силос. Есть у нас и сады. В них яблони, груши, персики, сливы.

В прошлом году доход артели достиг одного миллиона рублей, несмотря на засуху. В нынешнем сезоне рассчитываем получить еще большую прибыль. В этом немалая доля отводится животноводству. Общественное стадо сегодня насчитывает две тысячи голов крупного рогатого скота, пять тысяч овец, тысячу триста свиней, много птицы.

У нас более трехсот лошадей. Среди них есть призеры республиканских скачек. Дважды в год на колхозном ипподроме проводятся конноспортивные состязания. Если будете в гостях, наши лучшие джигиты Мугаз Нартоков, Асламби Кубанов и Арсен Канаметов постараются продемонстрировать огненный темперамент кабардинских скакунов.

И уж, конечно, вы не пройдете мимо нашего Дома культуры с залом на 500 мест. Здесь можно познакомиться с достижениями драматического коллектива, танцевального кружка и послушать пес-



Делегаты острова Свободы в гостях у жителей азербайджанской Кубы.

ни нашего композитора Мухамеда Карамурзова. Последнее его произведение — песня «Я люблю тебя, Куба!».

Дорогие друзья из кооператива «Лас Вегас»! Опробуйте на ваших полях наши семена. Думаем, что они дадут отличные всходы и урожай. Пусть это будет символом дружбы Кубы кабардино-балкарской и Республики Куба.

Кубинские братья и сестры! Приезжайте к нам в гости. Мы охотно передадим вам свой опыт ведения хозяйства, научим работать так, как умеют наши маяки. Желаем вам успехов в строительстве социализма.

Да здравствует советско-кубинская дружба!»



Знатная доярка Кабардино-Балкарской Кубы Салима Паштова беседует со своей ученицей Раей Щуковой (слева).

УРАЛЬСКИЕ КУБЫ

Ну, а какая она, уральская Куба?

Мы связались по телефону с редакцией пермской молодежной газеты «Молодая гвардия». К аппарату подошел редактор Борис Брюшинин. Мы попросили его рассказать о том, что представляет собой уральская Куба. К нашему удивлению и радости, он ответил:

— О какой Кубе вы хотите знать? Ведь у нас их четыре... Да-да, четыре! Верхняя Куба, Средняя Куба, Нижняя Куба и Елань-Куба. Эти поселки расположены по соседству друг с другом, в Чернушинском районе — одном из живописнейших уголков нашей области. Жители этих поселков в большинстве своем — колхозники и лесорубы. Среди них так же, как и в Кубе азербайджанской и Кубе кабардино-балкарской, есть много замечательных ребят, работающих на семилетку во имя дружбы и братства народов всех стран. И наши ребята тесно связаны с пламенными патриотами Кубинской Республики, и о них можно рассказать очень много интересного, так же как о Сабире Мамедове, Кадыме Кадымове и других парнях. Революционная Куба имеет в нашей стране 223 миллиона друзей. Но самыми близкими по праву считают себя те, кто живет в селениях Куба Пермской области, Азербайджана и Кабардино-Балкарии. Что ж, они имеют на это большее право. Ведь они тезки!

А. ПЕРЕХОДИН,
И. НАРЦИССОВ

НА ВЕКА

Есть памятники и сооружения, которые неразрывно связаны с обликом города, а подчас даже определяют его лицо и характер. Так, невозможно представить Ленинград без Медного всадника, Париж без Эйфелевой башни, Рим без древнего Колизея.

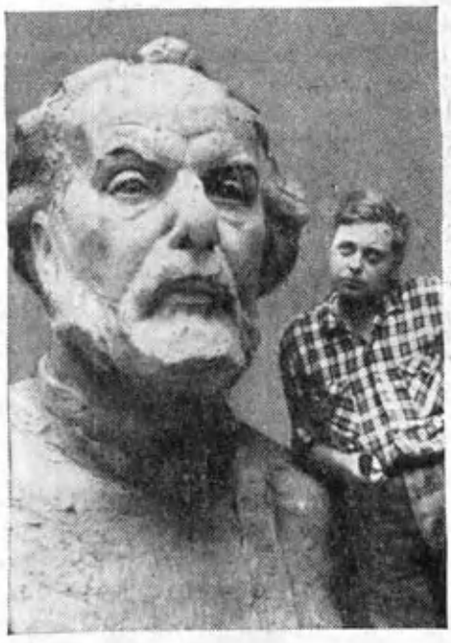
Монумент, о котором пойдет речь, еще не успев воплотиться в металл и камень, тоже уже стал своеобразной эмблемой. Его изображение можно увидеть на значках, брошках, косынках, в миниатюрных моделях из пластмассы и органического стекла. Пройдет еще несколько месяцев, и в Москве поднимется на девяностометровую

высоту грандиозное сооружение в честь освоения космоса: взлетевшая ракета опирается на мощную струю раскаленных газов, навечно закованную в металл. Взлетной площадкой для звездного корабля послужит стилобат Музея истории освоения космоса.

На Проспекте Мира, неподалеку от главного входа на Выставку достижений народного хозяйства СССР, уже ведутся строительные работы. В сооружении монумента принимают участие десятки учреждений и предприятий, сотни людей самых различных профессий. А началось все это пять лет назад.



Фрагмент горельефа для монумента в честь освоения космоса.



А. П. Файдыш у созданной им скульптуры К. Э. Циолковского.

Москвичи, да и гости столицы, наверное, помнят, как в 1958 году в помещении Центрального выставочного зала проходил смотр-конкурс проектов будущего монумента. Тогда из сотен вариантов выбрали один. Самый интересный, самый оригинальный и очень современный. Его авторы — архитекторы М. И. Барщ, А. Н. Колчин и скульптор А. П. Файдыш — отказались от привычных канонов и нашли новое, неожиданное решение: вместо традиционного многопудья бронзы и огромных гранитных глыб они предложили воздвигнуть грандиозную параболу из металла.

Незадолго до этого конкурса трое друзей как раз закончили работу над памятником Циолковскому в Калуге: статуя ученого и рядом с ней семнадцатиметровый обелиск, напоминающий ракету. Приступая к новому проекту, они, конечно, могли пойти протоптанной дорожкой: взять какую-нибудь уже получившую признание скульптуру, увеличить ее во столько-то раз, оживить архитектурным элементом — и... монумент готов. Публика уже пригляделась. Критика высказалась. Успех обеспечен... Нет, подлинное искусство — это всегда «езда в незнаемое».

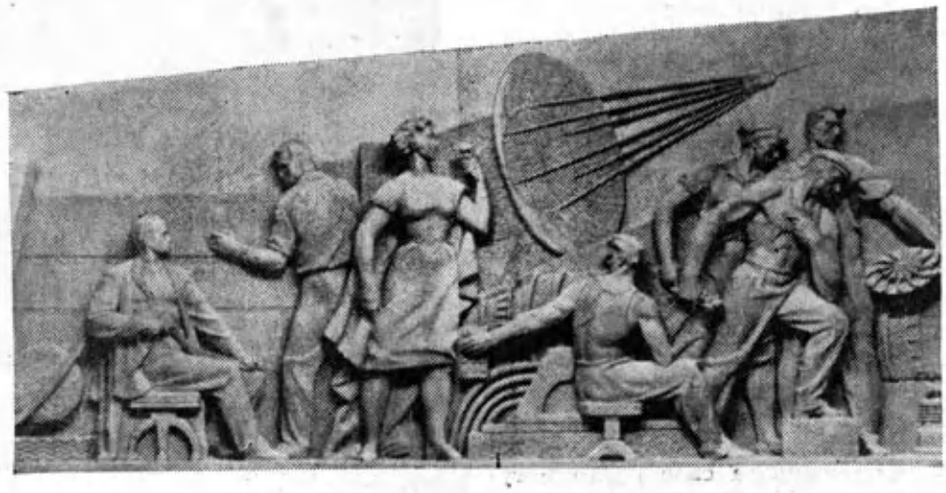
Нелегко и не сразу вырисовывались контуры будущего сооружения. Потребовались сложные расчеты и многочисленные эксперименты с моделью.

В ходе работы над монументом напрашивалось решение: поставить у подножия высотной части большую статую космонавта в скафандре и шлеме. Но его отвергли сразу же. Полет человека в космос — подвиг всего советского народа, а не одного отважного человека. Отказались и от попытки передать эту идею в скульптурах-символах. Слишком шаблонным стал прием традиционных групп — рабочий, колхозник, ученый. Решено было воплотить эту мысль в барельефах шестиметровой высоты, установленных вокруг основания монумента, на внешних стенах музея. Высота каждой фигуры — четыре с лишним метра. В древности нечто подобное создали античные мастера при сооружении алтаря в Пергаме. Но там скульпторы прославляли своих богов, их победу над силами зла. Андрею Петровичу Файдышу предстояло воплотить в бронзе человека, нашего современника. И он, как нам кажется, успешно справился с этой задачей.

Двадцать девять фигур рабочих, лаборантов, инженеров, конструкторов, ученых, изображенных в момент творческого труда, раскрывают историю доселе невиданного подвига. Скульптор удачно избежал ритмического однообразия, чередуя изображения стоящих людей фигурами сидящих.

С одной стороны барельеф увенчан знаменем с образом В. И. Ленина, зовущего людей в будущее. С другой — Родина-мать благословляет первого космонавта на полет в Неизвестность.

Перед памятником на восьмиметровую высоту поднимается



Фрагмент горельефа для монумента в честь освоения космоса.

статуя К. Э. Циолковского — духовного отца космонавтов-звездолетчиков.

Есть нечто символическое, что в сооружении этого монумента, как и в подготовке полета человека в космос, принимают участие люди самых различных специальностей. Металлурги и прокатчики должны подготовить стальной каркас для основания конструкции и огромные листы из голубовато-белого металла атомного века — титана. Инженеры-кибернетики на своих умных машинах рассчитали, как экономнее и лучше раскроить эти листы по заданным размерам. Геологи разыскали черный блестящий гранит для облицовки основания монумента-музея.

Специалисты-электрики изыскивают наиболее совершенные способы освещения, так, чтобы металлическое острие, сверкая в ночи, видно было за многие десятки километров.

...Пройдут десятилетия, века, а люди всегда будут приходить и приезжать сюда, чтобы смотреть на этот монумент, восхищаться нашей эпохой и, завидуя нам, воздать должное первым смельчакам, рискнувшим покинуть колыбель человечества — Землю.

Ю. МАКСИМОВ

КАФЕ В ТАЙГЕ

Помню, как в пятьдесят девятом году друзья решили прокатить меня к месту будущего строительства Красноярской ГЭС. Единственной дорогой тогда был Енисей—всевластный владыка дремучего царства тайги. От причала Красноярского речного порта плыли на катере сорок километров против течения. Суровая Сибирь началась сразу же за городом, и путешественнику из средней Европы пришлось преодолевать волнами наплывавшие чувства восхищения могучей природой, как катеру — стремительную енисейскую волну...

И вот четыре года спустя я вновь отправился в этот суровый енисейский край. Ехал по асфальтовой дороге и ничего не узнавал. На месте, где мы когда-то жгли костер и с волчьим аппетитом хлебали ложками прямо из котелка превкусную уху с дымком, стоит теперь городок строителей крупнейшей в мире ГЭС — Дивногорск.

Кто видел большие стройки в необжитых краях, при слове «городок» представит себе все так, как есть, ибо подобные селения, воздвигнутые людьми, которые больше думают о порученном им деле, чем о самих себе, похожи друг на друга. А для тех, кому сие не известно, придется нарисовать картину в общих чертах так, чтобы был понятен дальнейший рассказ.

Дивногорск расположен на склонах Дивных гор, то есть скалистых холмов, через которые веками пробивала свое русло могучая река. Несколько улиц устре-



Комсомольская свадьба в кафе «Вира».

Фото Е. Халдея.

мляется по холмам вверх. Их пересекает несколько «авеню» и узких улочек, которые, рассекая холмы, образуют систему террас. Иными словами, планировка почти такая же, как и в Сан-Франциско. Только кругом пока тайга и нет трамвайчиков. Внизу, на набережной, пока еще тоже не одетой в гранит,— центральная площадь города. Вокруг нее скопились двухэтажные дома из толстых сибирских бревен. В домах натисканы учреждения: управления стройкой, магазины и единственная редакция распространенной в Дивногорске газеты «Огни Енисея».

Представив себе эту картину города, попробуйте привести ее в движение. Примерно так, как снимают кинокамерой прорастающее растение... Тогда перед вашими глазами разыграется примерно такой фильм: дремучая тайга; вдруг домик тут и домик там; валятся деревья и возникает дорога; вокруг нее вырастают, как грибы в тайге, новые домики; проезжает сотня грузовиков и за ними один новенький автобус; мелькают взрывы; роется траншея для газопровода и канализации; возвышаются строительные краны и появляются крупнопанельные здания (с балконами над верхушками кедров); где был асфальт, закладываются цветочные клумбы, где была тайга, асфальтируют площадь...

Известно, что в Сан-Франциско во время золотой лихорадки на Диком Западе американского континента не было асфальта и цветочных клумб, но зато рядом с домами из толстых бревен возникали десятки и десятки кабаков, шантанов, казино. Я вспомнил хроникера тех времен — Брет Гарта, когда однажды вечером перешагнул высокий порог двухэтажного деревянного здания, расположенного примерно в тех местах, где четыре года тому назад мы развели костер и обжигали горло крепкой сибирской ухой.

Над входом красовалась надпись: «Кафе «Вира».

Я поднялся на второй этаж и одним взглядом окинул помещения этого кафе в тайге. Ничего здесь не напоминало обстановку, известную по рассказам американского писателя. Два уютных небольших зала как будто были схвачены гигантским вертолетом и перенесены сюда из благоустроенного центра городской цивилизации. Маленькие залы напомнили мне одно из тех небольших кафе пражской Малой Страны, в которых я люблю отдыхать, а порой и писать. Блестящие столики; располагающие к отдыху разноцветные кресла; неяркий свет настенных ламп; красивые шторы, скрывающие танцующих от любопытного взора луны; тихая музыка, льющаяся неназойливо из угла, и настоящий бар с венгерским сверкающим аппаратом «кафе-экспрессо».

Не только внешняя обстановка, но и спокойная, несуетливая жизнь «Виры» напомнила мне малостранские наши кафе, по которым я, правду сказать, уже стосковался. Двое парней читали газеты, двое склонились над шахматами, за одним столиком тихо спорили, за вторым четыре пары критических, немного насмешливых женских глаз наблюдали за танцующими...

Молодые девушки в белых передниках спокойно, несуетливо приносили кофе, иногда подсаживаясь к столику и включаясь в тихий спор на литературную тему. Одна официантка танцевала. Одна готовила при помощи паровой машины кофе, тщательно отмеряя дозу помолотого порошка, как и полагается дипломированному инженеру-экономисту. Директор кафе, миловидная девушка в очках,— тоже инженер. «Как это так? — спросите вы.— Это по Райкину? Мамина дурочка с высшим образованием, зацепившаяся в столичном кафе за поднос?» Наоборот. Во-первых, кафе не в столице, а в тайге. Во-вторых, кафе работает на общественных началах. Оно не только обслуживается теми, кто строит величайшую в мире ГЭС, но и построено ими самими на досуге. Все сделали молодые энтузиасты сами: от светильников с красивыми современными абажурами до узоров на занавесках.

Наблюдал я за бетонщицей, которая, войдя в гардероб в своем четырехугольном ватнике и кирзовых сапогах с маленьким чемоданчиком в руках, появилась через несколько минут в кафе в красивом вечернем платье, торжественно шагая на тоненьких каблуках. Такие чудеса, достойные сказки о Золушке, способна творить «Вира» — кафе в тайге!

Молодежь приходит сюда не пировать и не выпивать,— просто отдохнуть, встретиться. Порядки строгие: можешь заказать рюмку коньяка или бокал шампанского на весь вечер. Зато в неограниченном количестве приготовят для тебя душистый кофе. Приносить с собой можно лишь гитару. Она желанный гость. Она всегда пригодится! Уют от хорошей песни не портится.

Назавтра я пришел в кафе «Вира» еще раз. Но это был уже не такой спокойный, обычный вечер. В залы, способные принять около столиков сорок девять посетителей (пятидесятый несет общественную вахту в гардеробе), нахлынуло на сей раз минимум в три раза больше молодых строителей. (Дежурных в гардеробе на сей раз было трое.) Подобное троекратное перевыполнение плана было вызвано приходом в кафе «Вира» московских поэтов и писателей. Состоялась никем не организованная и поэтому такая удачная и искренняя встреча, интересное и веселое детище мамы-Неожиданности и папы-Экспромта.

Читали стихи, вставая со своих мест за столиком около радиолы, Константин Симонов и Роберт Рождественский, рассказывали писатели Евгений Рябчиков и Леонид Лиходеев, даже художник Орест Верейский выступил в литературном плане. Я, сознаюсь честно, пел, ибо песни понятны без перевода. Были и аплодисменты, но не это было главным. Главным было то, что слушатели запросто превращались в чтецов и что мы здесь услышали столько хороших, искренних стихов, что сами нааплодировались вдоволь, да и еще призадумались о том, что значит в новом, коммунистическом понимании творческий дух и откуда вытекает сила коммунистического искусства...

На этом репортаж из таежного кафе можно оборвать.

Если кому-нибудь покажется странным, почему он обрывается именно в тот момент, когда следовало бы описать самую гигантскую, кипучую стройку (из одного тихого ее уголка), показать захватывающий дух героизм комсомола, воздвигающего эту стройку (отталкиваясь от романтической песни, спетой при гитаре над чашкой кофе), пусть будет принято к сведению, что о том и о другом уже многое было написано и прочесть это нетрудно.

Я решился добавить к общей картине только эту малую деталь. Сделал это потому, что люди — энтузиасты, создавшие этот уголок уюта и радости, внесли яркую и приветливую черту в лицо Дивногорска. И я убежден, что их заслуга в создании красивой, счастливой жизни на диких берегах Енисея не так уж мала.

Иржи ПЛАХЕТКА,
чехословацкий публицист

«АРХИМЕД» В МГУ

Фото И. Генкина.

Стало традицией: после окончания учебного года перед зданием физического факультета Московского университета студенты встречаются с великим ученым античности Архимедом и продолжателями его дела — мыслителями всех эпох и стран, почетными гостями с других планет и видными физиками современности.

В этом году, например, среди почетных гостей находились лауреат Нобелевской премии академик Игорь Евгеньевич Тамм, Герой Советского Союза Космонавт-Два Герман Степанович Титов и другие.

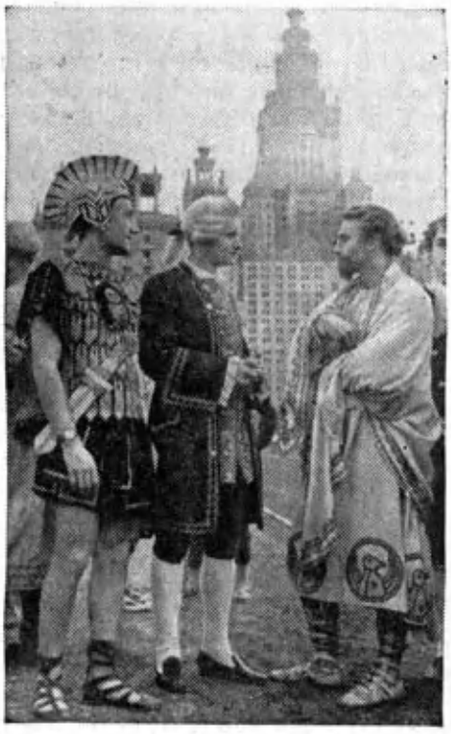
Юбиляр, несмотря на свой преклонный возраст (ему исполнилось ровно 2 250 лет), совершил космический рейс и праздновал свой день рождения на обратной стороне Луны. В составе экипажа ракеты «Архимед 1» — сам «Архимед Фидиевич», «Константин Эдуардович Циолковский», «Александр Степанович Попов», «Исаак Ньютон» и «Николай Кибальчич».

Когда ракета совершила «посадку» на площади перед физическим факультетом, Архимед вышел из люка в окружении своей свиты. Откашлявшись, он зачитал приветствие потомкам.

С традиционным Днем физика поздравил студентов Московского университета президент Академии наук СССР М. В. Келдыш. Он прислал приветственную телеграмму.

Затем собравшиеся выслушали рапорты студентов всех пяти курсов факультета. Особое оживление вызвал рапорт третьекурсников:

«О Архимед! Позволь преклонить колени перед благородным челом твоим нам — третьекурсникам, вышедшим уже из поры студенческой юности, но не умудренным еще опытом старшекурсников. Достигнув половины тернистого пути к тому, что принято именовать сияющими высотами науки, стоим мы на рубеже четвертого курса, пытаясь вдохнуть новые силы в свои ряды, поредевшие после сессий».



Слева направо: Ведущий (Г. Иванов), «Ломоносов» (Н. Пилипецкий) и «Архимед» (А. Логинов).

К Архимеду обратился его земляк — студент, приехавший из Греции.

«О мудрый старец, да будет благословенно имя твое! Я горд тем, что мы родились на одной земле, в одной стране, которая сейчас живет отблесками твоей славы. Мы, греки, вовсе не сожалеем о том, что физики МГУ присвоили себе право считать тебя своим отцом и которые не без основания полагают, что это есть бог, создавший физику и физический факультет МГУ.

Твое имя перестало принадлежать только твоей родине. Оно проникло во все страны мира и известно всем народам, хотя бы немного затронутым цивилизацией».

На празднике выступил герой-космонавт Герман Титов, пожелавший студентам университета больших успехов в учебе.

Идея такого праздника родилась впервые четыре года назад. Энтузиасты студенческой художественной самодеятельности физического факультета Валерий Капер, Александр Кесенних, Степан Солуян и другие разработали тогда первую программу. С большим успехом в дни праздника проходила опера «Архимед», созданная самими студентами. Это лирико-сатирическое произведение критиковало недостатки в обучении студентов и беспорядки в общежитии МГУ. Критика была, что называется, не в бровь, а в глаз. Многие нерадивые администраторы попадали под огонь сатирических частушек, куплетов.

С тех пор «День Архимеда» повторяется ежегодно. Но это не просто студенческий «капустник», а хорошо продуманный и четко организованный, настоящий праздник студенчества Московского университета. А почему бы не создать такие веселые и интересные праздники в каждом университете, в каждом институте? Запас остроумия у студентов неисчерпаем. Так в чем же задержка? За дело, друзья!

Анатолий НАЗАРОВ



«Ломоносов» со своей пра-пра-правнучкой Ларисой Ломоносовой, студенткой Тбилисского университета.

«АКТИВНЫЕ РЕБЯТА»



Рисунки И. Бронникова.

Милые мои, премилые девочки.

Огромный привет из села Неугомонкино. Ехала я отдыхать в эту глушь с неохотой, а теперь рада и довольна, что рискнула. Сдружилась здесь с чудесными ребятами. Масса юмора, выдумки — сущий клад в наше время. Заставь вас летом «проявлять инициативу» — ничего не выйдет. Вы будете лежать на песке, переваливаясь с боку на бок, как оладьи, болтать ногами, но у вас и мысли не мелькнет, так ли вы валяетесь.

А эти мальчишки — то, что надо. Неугомонные, будто их кто-то иголочкой покалывает, и сидеть спокойно не дает... Я прихожу на речку с маленьким Андрюшкой, черномазым сыном хозяйки дома, где я остановилась. Потом приходят ребята. Мы валяемся на песке, болтаем ногами. Вдруг кто-то из нас говорит:

— Ну, что это мы валяемся на песке, болтаем ногами? Встали, что ли, и сыграли в волейбол?

— Мяча нет.

— Достать надо. Давайте сложимся.

Сложились. Погадали на спичках, кому идти мяч покупать. Досталось мне, единственной представительнице слабого пола.

Конечно, ребята, как истые джентльмены, стали наперебой предлагать сделать это вместо меня, но я твердо отказалась.

Жребий так жребий. Чем я хуже этих симпатичных ребят, которым мне, кстати, хочется сделать приятное!

Я принесла мяч.

Погадали, кому надувать. Снова досталось мне. Я хотела уже дуть, но все запротестовали: нужно не ртом, а насосом.

Я пошла искать насос. Меня долго не отпускали. Но я все-таки проявила характер.

А они в это время играли с Андрюшкой. Становились на четвереньки и все вместе лаяли. Чудесные ребята! С такими можно и горы свернуть и детей воспитать.

Да что горы!

— Ребята, давайте сделаем волейбольную площадку. Два столба — и никаких гвоздей!

Я чуть не крикнула «ура». Андрюшка крикнул. Его качнули до макушек сосен. (А ведь могла и я крикнуть.)

— А где мы возьмем столбы?

— В лесу.

— А топоры?

— Давайте напишем в райком. Они должны помогать первичным... Нет, лучше в газету!

— Братцы, где два столба, там и четыре! Вроем четыре столба — и никаких гвоздей. Зато будет футбольное поле.

— А топор?

— А топор и не нужен. Четыре столба надо пилить пилой.

Но пилы тоже не было.

— Придется топором.

— Так и топора тоже нет.

— Напишем в газету.

— А если в газете нет?

— Наверняка нет. Откуда у них топоры?

— Зато шум поднимется, и нам сразу дадут и топоры, и пилы, и столбы. Можно будет целый стадион отмахать. И лавочки для зрителей и даже верхние перекладины. Раз-два — и никаких гвоздей...

— Вот имено «никаких гвоздей». Гвозди-то на дороге не валяются...



— Напишем в газету...

...И вдруг мы замолчали. Потом переглянулись. Потом посмотрели на Андрюшку. Малыш виновато моргал глазенками и держал в одной руке шипящий мяч, а в другой — длинный гвоздь.

Все мы, конечно, сразу расстроились.

— Где ты взял гвоздик? — с ужасом спросила я.

— На дороге,— сказал убитый Андрюшка,— там их много валяется.

И заплакал. Но ребята и тут оказались на высоте: они встали на четвереньки и все вместе залаяли. Андрюшке уже было не до слез. Он вконец успокоился и стал царапать гвоздем по песку.

— Что это ты пишешь, Андрюша? — спросили ребята.

— Я в газету пишу...

— Подожди, Андрюша,— сказала я.— Ты не пиши! Я сама напишу. Пусть все знают, какие активные ребята живут в Неугомонкине!

Вот так. Горячо обнимаю.

Ваша Галка Галкина.

Петр ШУМСКИЙ



БЫТ И... ЛОКТИ

Рисунки И. Оффенгендена.

Недавно Министерство коммунального хозяйства РСФСР выпустило книгу под названием «Дом и быт» (1962 г.). Потребность в такой книге ощущалась уже давно. Молодежь наша нуждается в добрых и полезных советах о домоводстве, благоустройстве быта, об уходе за своей внешностью, о поведении в общественных местах и т. п.

Разумеется, такие книги должны быть написаны с полной ответственностью, умно, без тени пошлости и, конечно, грамотно, чтобы не было никаких ассоциаций с известным рассказом Марка Твена «Как я редактировал сельскохозяйственную газету». В книге «Дом и быт» нет «посева гречневых блинов», «брюква не растет на дереве» и «гусаки не мечут икру». Но есть две главы, где тоже можно встретить любопытные открытия. В этих главах даются советы по так называемой декоративной косметике и поведению человека в обществе. Советы эти порою вызывают только смех и недоумение. И даются они с претензией на высокую эрудицию, глубину мысли и даже на некоторые открытия. При этом богатство авторской фантазии тесно переплетается с кокетливым языком и своеобразным стилем.

И все это преподносится в виде некоего категорического катехизиса хорошего тона, на манер старинных дореволюционных изданий.

Чего только нет в этом трактате! Мы столько живем, а до сих пор, оказывается, не знали, что «*на нашем теле локти занимают не ведущее место*» (стр. 281), а «*волосы не всегда украшают человека*». Прочитав такое, мой друг Володя Петрусь, искренне воспринимающий каждое печатное слово, мгновенно рванулся со стула и хотел было помчаться в ближайшую парикмахерскую, но я своевременно удержал его за локти (вот где они сыграли свою «ведущую» роль!).







Мы также узнаем, что «*полезно 1—2 раза в день втянуть губы внутрь рта и закусить несколько раз толщу губы зубами*». Правда, авторы не рискнули расшифровать это великое открытие. А ведь любопытно было бы узнать об их опыте.

Затем следует откровение: «*Если губы сомкнуты в гримасе недовольства или недружелюбия,— красоты мало*». А кто в этом сомневался?

«*Отвечая на частное письмо, надо стараться... вложить свою душу в письмо, благодаря чему оно станет интересным для адресата*».

Вот те на! Во-первых: почему надо «вкладывать душу» только в ответы на *частные* письма? А что, разве на служебные следует отвечать без души, пользуясь только холодными штампами и стереотипными выражениями? Во-вторых: почему «надо стараться», а не писать на самом деле от чистого сердца, искренне и чест-

но, без всякой заранее поставленной цели создать эпистолярное произведение, «интересное для адресата»? Подумайте хорошенько, уважаемые авторы, чему вы нас учите!

Далее эрудиты утверждают, что *«наиболее приемлемой формой знакомства считается знакомство через третье лицо»*. Это что же: посредством свахи или свата? Читаем далее: *«Женщина, выходящая замуж вторично, не надевает белое платье»*. А если первый брак был для нее нерадостным? И почему теперь, найдя свое счастье, она не может надеть белое платье? Что это за допотопные мещанские каноны?

«Мужчина женщине или юноша девушке ни в коем случае не должен дарить... предметы одежды или обуви. Это бестактно». Позвольте, а если он желает подарить ей красивую шаль, косынку, шарф или перчатки? Надо бы уж тогда приложить рекомендуемый перечень подарков! Регламентировать так регламентировать!

Есть в этом опусе и несколько советов молодым неандертальцам, если таковые появятся в наше время:

«При знакомстве не следует жать руку до хруста в суставах». Но это еще ничего, может быть, неандертальцу действительно это полезно знать... Однако есть фразы, которые вызывают не только смех, но и недоумение: *«И незнакомым женщинам вы обязаны оказывать внимание, уважать их. Такое отношение к «чужим» женщинам должно вытекать из принципа: в коммунистическом обществе человек человеку — друг, товарищ и брат»*. Ишь как закручено! Согласитесь: вся эта тирада выглядит как пародия на тех, кто бездумно жонглирует высокими словами!

А вот нечто новое в «методе» приема пищи. Внимание: суп и мясо необходимо есть «одновременно», а *«виноград едят, отрывая от кисти по ягоде»*. А я-то всегда ем суп и мясо не «одновременно», а от кисти стараюсь оторвать по две-три ягодки. Какое легкомыслие! Какая некультурность!

А чего стоят такие советы: *«Собираясь в гости, старайтесь одеться получше»* (а то вырядитесь еще, чего доброго, в замасленную спецовку!), *«Собираясь в театр, постарайтесь не опаздывать»* (а то каждый так и норовит прийти к середине спектакля!).

Удивительно только, почему авторы этого философского трактата не сказали, в какой все-таки руке — правой или левой — рекомендуется держать ложку и куда класть ее содержимое? С какой ноги — правой или левой — следует вставать с постели?..



Однако продолжим изучение их «труда». Мы узнаем кое-что новое и о правах руководителей: *«Директор учреждения (предприятия)... пользуется правом сказать новичку напутственное, ободряющее слово»* и даже... *«пожать руку»*. Вот оно что! Настоящее открытие!! Теперь директора вздохнут свободно. Раньше-то они и не знали, что им предоставлены такие широкие права!



А вот, например, что надо сделать, *«чтобы выглядеть хорошо»*, да еще тогда, *«когда вы устали, а вас ждут друзья»*. О, это, оказывается, очень просто: *«Как только придете с работы, откройте все окна... освободившись по мере возможностей (!) от одежды...»*

Затем, после некоторых косметических процедур, 15—20 минут вам предстоит *«провести в постели с закрытыми глазами»*. После этого вы можете вернуться к туалетному столику: *«Легкий грим... несколько скроет маленькие недостатки»*. И не забудьте... *«слегка надушить волосы и кожу за ушами (!) любимыми духами. Посмотрите на себя в зеркало. Теперь вы довольны? Улыбнулись, и лицо стало еще милее»*. (Великолепный способ влюбиться в самого себя!)



Мы, разумеется, не имели бы ничего против, если бы подобные «советы» давались авторами (а их немало: аж ПЯТЬ, да еще редактор Завьялкин) в качестве материала для самодеятельной эстрады. Но беда в том, что эти разглагольствования официально преподносятся издательством 500 тысячам читателей, как говорится, «на полном серьезе».

Нашей молодежи нужны умные, по-настоящему серьезные и реальные жизненные советы о поведении в обществе, а не легковесное чтиво о том о сем.

Авторам этого назидательного опуса следовало бы воспользоваться своими же, на наш взгляд, разумными советами, помещенными на 306-й странице:

«НЕ ХВАСТАЙТЕСЬ НИ СВОИМИ ЗНАНИЯМИ, НИ ТАЛАНТОМ... НЕ СТАРАЙТЕСЬ ПОДАВИТЬ СОБЕСЕДНИКА (то бишь читателя.— П. Ш.) ОСОБЫМИ ПОЗНАНИЯМИ — ЭТО НЕСКРОМНО».



«ЩУКА»

— Подите-ка сюда! — крикнула Елена Ивановна, заведующая машинным бюро.— С каких это пор я стала рыжей?! Да вы... Вы инсинуатор и фальсификатор!

Я крякнул — Елена Ивановна была ученая женщина.

— Лексан Владимыч! — водопроводным шепотом позвали снизу.— Ты давеча просил в лаборатории краник починить?

— Ага, ага!—радостно закивал я.

— А этого не хочешь? — И водопроводчик выразительно показал мне кулак.

Я оглянулся. Хорошо, что никто не увидел то, что я увидел.

— У меня, стало быть, вместо носа бутылка? — бурчал водопроводчик в своем мефистофельском люке.— А ты меня поил?!

Кто-то потянул меня за рукав.

— Саня, к шефу не ходи! Сам понимаешь, после вчерашнего...

Я посмотрел в спину удаляющегося друга.

— А... семь бед — один ответ!— решил я и толкнул дерматиновые врата.

— Лидочка! Как шеф?

Опережая ее ответ, щелкнул на столе селектор и пробасил:

— Если он ко мне, я занят!

— Хотите в командировку?

Лидочка сделала таинственные глаза.

— Зачем?—шепотом спросил я.

— Пусть все забудется. Шутка сказать: «Сергей Петрович — кресло с корнями»! Дернула же вас нелегкая!

...Дома я начал собирать вещи. Жена горестно вздохнула:

— Опять «Щука»?

— Она самая.

«Щука» — это сатирическая газета. Вчера я выпустил очередной номер.

Я. ЗУГМАН,
А. ФРЕНКЕЛЬ

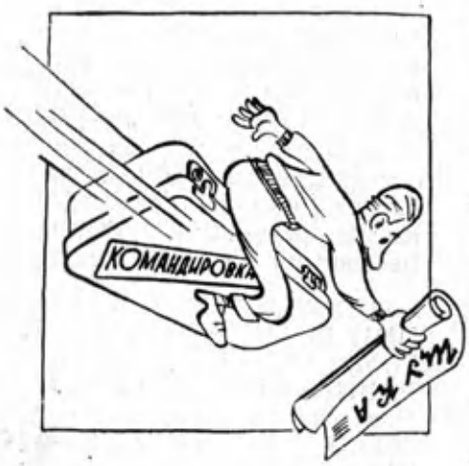


Рисунок И. Сидорова.

В НОМЕРЕ:

Им рукоплещет весь мир!
Игорь ВОЛГИН. Россия, рвущаяся в небо. Стихи 2
Фазиль ИСКАНДЕР. Звездная сестра. Стихи 3
Алексей СУРКОВ. За дело! 4

К 60-летию II съезда РСДРП
Н. К. КРУПСКАЯ. Второй съезд 6

К 70-летию со дня рождения В. В. Маяковского
Станислав ЛЕСНЕВСКИЙ. Наш Маяковский 10
Степан ЩИПАЧЕВ. 14 апреля 1930 года. Стихи 17

Рассказы молодых
Георгий ТОКАРЕВ. Десять тысяч шагов 18
Юрий ПИЛЯР. Люди остаются людьми. Роман. (Продолжение) . 25

С турецкого
Назым ХИКМЕТ. То, что ты ищешь. Московское лето. «В сибирских реках трогается лед...». День мира. Стихи . 49
Натан ЗЛОТНИКОВ. Игра. Баллада о зрячем. Трубачи. Оркестр. Тропа. Стихи 50

Рассказы молодых
Ирина РАКША. Четвертый 52
Михаил ГОЛОВЕНЧИК. Кембрийский пласт. Стихи 54
Александр РЕВИЧ. Девочка. Ущелье. Любовь моя. Птицы. Водопроводчик. Телефон. Стихи 55

С болгарского
Веселин ХАНЧЕВ. Не должно! Белый Бип. Приговор. Стихи 57
Григорий МЕДЫНСКИЙ, Виктор ПЕТРОВ. Повелевай счастьем. Повесть о подлинных документах 58
Константин ВАНШЕНКИН. Непонятливая Лика 77
Александр МИХЕЕВ. На стройке. Дрова. Дороги. Стихи 81
«Только большевики меня понимают...». Новые материалы Дома-музея К. Э. Циолковского 82

Школа и жизнь
Любовь КАБО. Поэзия и проза лучшего на свете ремесла . 85

Большое и малое
Владимир БЕЛОВ. Через годы и километры 90

На стендах «Юности»
Михаил РОЙТЕР. Молодые художники Сибири и Дальнего Востока 93

Наука и техника
Ярослав ГОЛОВАНОВ. Транспорт будущего 96

Заметки и корреспонденции
✲ А. ПЕРЕХОДИН, И. НАРЦИССОВ. Тезки острова Свободы. ✲ Ю. МАКСИМОВ. На века. ✲ Иржи ПЛАХЕТКА. Кафе в тайге. ✲ Анатолий НАЗАРОВ. Архимед в МГУ 101—108

«Пылесос» (Страницы сатиры и юмора)
«Активные ребята» (Письмо Галки Галкиной) 109
Петр ШУМСКИЙ. Быт и... локти 110
Я. ЗУГМАН, А. ФРЕНКЕЛЬ. «Щука» 112

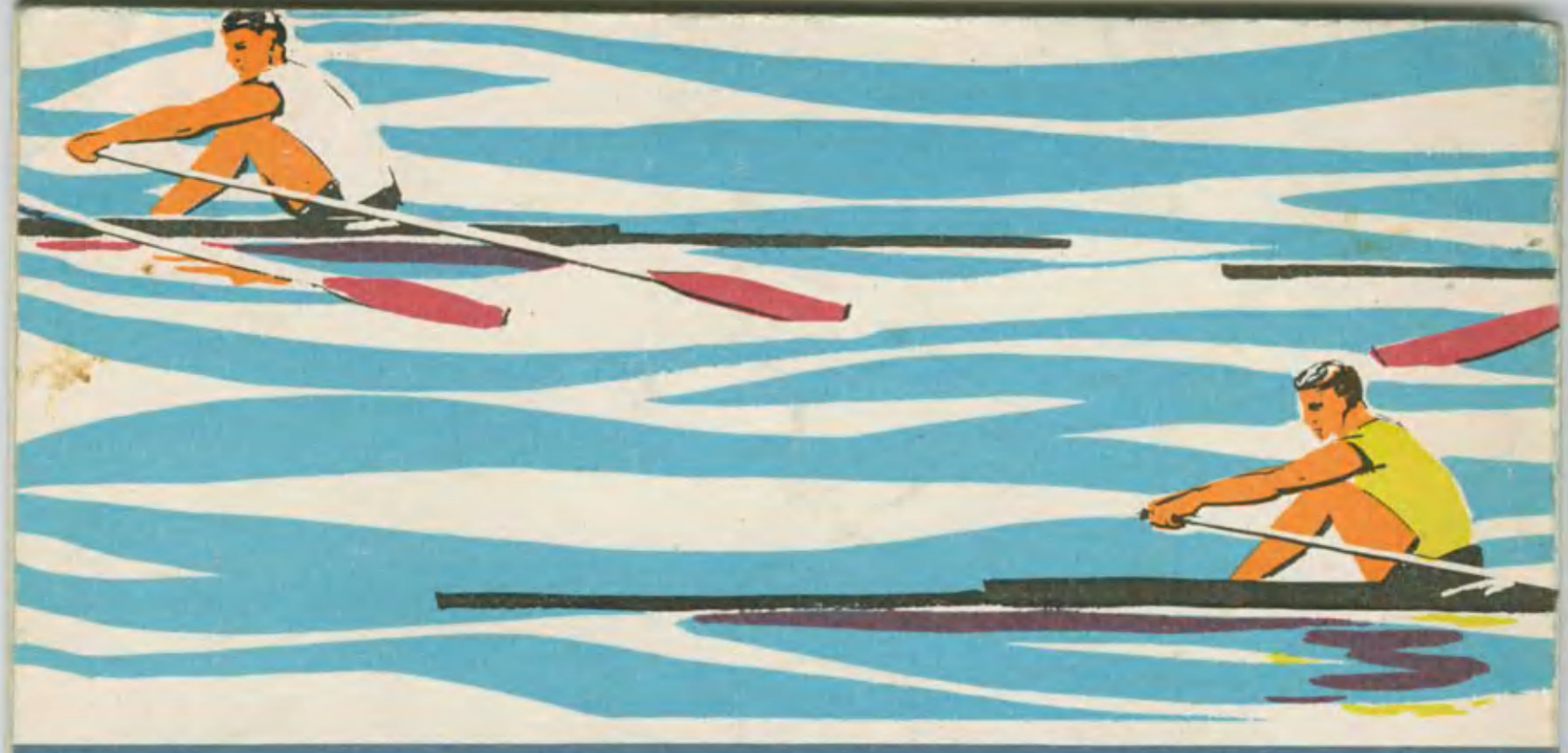
На 1-й и 4-й страницах обложки — рисунок А. ЧЕРНОМОРДИКА. На 2-й странице обложки семнадцатилетний В. Маяковский. Справа— листовки и газеты, отобранные у него при аресте в 1908 году.

Художественный редактор Ю. Цишевский. Технический редактор Л. Зябкина.

Адрес редакции: Москва, Г-69, ул. Воровского, 52. Телефон Д 5-17-83. Рукописи не возвращаются.

А 04309. Подп. к печ. 13/VII 1963 г. Тираж 600 000 экз. Изд. № 1291. Заказ № 1284. Формат бумаги 84×108¹/₁₆. Бум. л. 3,63. Печ. л. 11,89.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. Москва, ул. «Правды», 24.



Цена 40 коп.

Главный редактор Б. Н. ПОЛЕВОЙ.

Зам. главного редактора С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

Редакционная коллегия: В. П. АКСЕНОВ, В. Н. ГОРЯЕВ,
Е. А. ЕВТУШЕНКО, Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ (отв. секретарь), С. Я. МАРШАК,
Г. А. МЕДЫНСКИЙ, М. П. ПРИЛЕЖАЕВА, В. С. РОЗОВ.

Индекс
71950